

НОВЫЙ МИР

4

МОСКВА
1945

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1945 г.

№ 4

Год издания XXII

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — Берлинское шоссе, стихотворения	2
КОНСТ. ФЕДИН — Первые радости, роман	5
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — Три стихотворения	37
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Письма из Закавказья	38
ИВ. ЕФРЕМОВ — Рассказы о необыкновенном	64
АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ — Казачья песня, стихотворение	86
ЛЕОНИД КОРОВОВ — Украинские партизаны. (Из дневника военного корреспондента)	87
А. КОВАЛЕНКОВ — В лесу, стихотворение	116
СЕМЕН ГУДЗЕНКО — Из новых стихов	117
Н. КОРОБКОВ — Разгром Пруссии в войне 1756—1762 гг.	118
Акад. В. Л. КОМАРОВ, член-корреспондент Академии наук СССР Н. А. МАКСИМОВ, проф. Б. Г. КУЗНЕЦОВ — Жизнь и общественное мировоззрение К. А. Тимирязева	131
А. ДЕРМАН — Военные книги для детей	141

ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ

Ф. ГЛАДКОВ — Заметки писателя	148
-------------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

А. МАКАРОВ — Вечные памятники	156
Н. ЗАМОШКИН — Книга-свидетель	157

БЕРЛИНСКОЕ ШОССЕ

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

★

Понравилась немцу береза,
Ее молодая кора,
Которая в первых морозах
Чуть-чуть розовеет с утра.

В прозрачных лесах Подмосковья
Пришелец березу спилил,
Людской и березовой кровью
Он горькую землю полил.

Но сказку хранили деревья,
Шептался разгневанный лес:

Аленушка, волк и царевич,
Кривые тропинки чудес.

Таинственна русская сказка,
Врагу не пойдет она впрок.
На крест нахлобучена каска,
Могилы стоят у дорог.

Взвихрилась старинная вьюга:
— Не трогай чужой красоты!
От Волги до самого Буга
Хватило берез на кресты.

★

Нет, я вашей страны не ругаю,
Теплым ветром ее дыша.
Может быть, она неплохая
И для вас совсем хороша.

Здесь немало красивых женщин
И лукавых немало глаз,
Здесь морозы зимою меньше,
Чем в сибирских краях у нас.

Так красива тоска по небу,
Что пришла из иных веков,
И в костелах окаменела,
Не добравшись до облаков.

Мы не жалуемся на встречу:
В этом домике среди руин
Жарко дышат голландки-печи
И белы облака перин.

Можно спать на сырой соломе,
Холодать и недоедать...
Но мечту о родимом доме
На перины — как променять?

Потому в любом разговоре
Мы твердим: а у нас! у нас!
Наше счастье и наше горе
Мы не можем забыть сейчас.

Там, в далекой, милой сторонке
Жизнь — с начала и до конца.
Там, у русских березок тонких
Остаются наши сердца.

Мы гордимся той светлой высью,
Где стоит наш советский дом.
Потому и на вашей Висле
Мы о Волге своей поем.

★

★

От удара одного снаряда
Два солдата умирают рядом.

В сапогах один, другой в обмотках.
Разные эмблемы на пилотках.

Но шинели разного покроя
Политы одною алой кровью.

О делах последних человечьих
Говорят они на двух наречьях.

Но одни знакомые истоки
В их словах печальных и жестоких.

Одному родные эти земли,
А другой дыханью ветра внемлет —

Может быть, до рокового срока
Принесет он весточку с востока.

Два солдата схожи и не схожи.
Губы их белы в предсмертной дрожи,

В коченеющих руках зажаты
Одинаковые автоматы.

Ненависть одна вела их в битву
И одним врагом они убиты.

Сквозь огонь и смерть несут живые
Знамя дружбы Польши и России.

★

В доме крохотную девочку
Эвой-Иолантой звали.
В темноте, не разглядев еще,
На руки ее мы брали.

Погоди. Ты только с улицы,
Зимним ветром заморожен.
Вот смотри, она простудится,
Будь с ней очень осторожен.

Лучше дай поняичу я ее,
Так соскучился по ласке.

Голубые или карие
У твоей девчонки глазки?

... От шинелей пахнет вьюгами,
Только русский говор нежен.
Смотрит девочка испуганно
На небритого жолнежа.

Наши Гали, Тани, Шурики,
Вы простите лейтенанта,
Что, задумавшись, важмурились,
Няичит Эву-Иоланту.

ПИСЬМО В РОССИЮ

Как живете там, в России,
Ненаглядные, дорогие.
Там, за реками, за горами,
Как живете в разлуке с нами?
Наши матери постарели,
Наши милые повзрослели,
Горе тронуло их. Ну что же,
Нам такими они дороже.
Руки в трещинках и занозах,
Чтобы в танках и бомбовозах
Мы почувствовали, узнали
Ими созданные детали.
Все для фронта, все для победы.
Небогаты ваши обеды,
Ваши платья старей моды —
Наряжаться ли в эти годы?

Голоса ваши всюду слышим
И глаза ваши всюду видим,
Хоть нечасто и кратко пишем
И порою вас тем обидим.
Не сердитесь! Гремят моторы,
Задыхаясь, летят просторы,
Я пишу эти строки скоро
На крыле брентранспортера.
Заживают старые раны,
Проплывают новые страны,
Но опять повторяют губы
Имя родины и любимой.
Мы все те же.
Мы однолюбы.
Оттого и непобедимы.

ДВЕСТИ КИЛОМЕТРОВ

До Берлина осталось двести.
Это путь нашей честно! мести.

По-немецки поет пурга,
Наши танки идут на врага.

Заметались черные тени,
Грузовик упал на колени.

Поднимают руки дома,
Как кликуша, кричит зима.

Знаю я: наш путь до Берлина —
Не одна заправка бензина,

Не три танковых перехода —
Ведь войне уже четыре года.

В нашей жизни бывало много —
И атака и контратака.

Стих мой мчится с танками вместе.
До Берлина осталось двести.

Ночь. Огонь. Лихорадка погони.
Голос юноши в шлемофоне.

Говорит он тихо и просто:
До Берлина сто девяносто.

Как мечтаю я, чтоб скорее
Эти стихи устарели!

★

★

Ты будешь жить в стране богатой,
В стране, отстроившейся вновь,
Где будет молодость крылатой
И безмятежною любовь.

Окопы зарастут цветами.
На месте пламени войны —
Пшеницы золотое пламя
На все четыре стороны.

Вернувшийся с позиций воин
Пройдет с тобою по полям.
Что ж, он любви твоей достоин,
Дели с ним радость пополам.

Но в час своей победы вспомни
С открытой совестью, без мук,

Какой был ласковый и скромный
Давнишний твой, твой первый друг,

Мальчишка из десятилетки,
Что так светло тебя любил.
Он не вернулся из разведки,
А позже в поле найден был

Растерзанный, с лицом как вата,
Почти распяты на штыке,
С твоею карточкой, зажатой
В окаменевшем кулаке.

Будь счастлива. Но дай мне слово
Хранить его в душе своей.
Ты можешь позабыть живого,
Но мертвых забывать не смей.

БОЙ

Немцы идут в атаку под колокольный
звон.
Взбесившиеся сирены воют со всех
сторон,
Лед на реке грохочет, в воздух взлетает
мост.
Пьяные гранадеры, качаясь, шагают в
рост.

Немец в юбке и кофте, вопя, бежит
вперед.
Он спотыкается, падает, кофту рвет
на груди.

Кричит он: «Вперед, солдаты!
Германия вас зовет».
И падает, сбитый пулей, на хрусткий
уличный лед.

Уральские самоходки заняли новый
квартал.
Повсюду разбитый камень и
вывороченный металл.
Лежит ничком у подъезда в женской
одежде труп,
Застыла желтая пена у перекошенных
губ.

Видны из-под пестрой юбки
солдатские сапоги.
Мундир под оранжевой кофтой —
пехотных значков круги.
Так вот кто бежал перед цепью, ведя
окающий взвод,
Воля: «Спасайте, солдаты, Германия
вас зовет».

Германия в рваной кофте, надетой поверх
ремней,
Такой мы ее узнали, в атаках
столкнувшись с ней.
Качаются мертвой хваткой сцепившиеся
дома,
Летит из разбитых окон лохмотьями
сажи тьма.

По лужам крови и водки идет
уральский металл.
Тяжелые самоходки вползают в новый
квартал.

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ

Дожили! Дожили! Только подумай,
Сколько шагать и страдать нам пришлось.
Город немецкий, седой и угрюмый,
Острою готикой вычерчен вкось.

Ходим по улицам мы, повторяя:
Дожили, взяли, добились, дошли
До оголтелого этого края,
До ненавистной немецкой земли.

Здесь будут кончены страшные войны.
Можно сегодня без слез на глазах
Вспомнить о наших друзьях беспокойных,
Вспомнить о наших покойных друзьях.

Как умирали в неволе девочки —
Ненависть дрожью по телу — не
страх.
Кровь запекалась сургучной печатью
На опаленных молчаньем губах.

Как умирали солдаты у Дона,
Как отстояли просторы страны,
Чувствуя сердцем, душой непреклонной
Ветер пронзительной этой весны.

Бились недаром, страдали недаром,
Глохли недаром от всех канонад.
Перед последним жестоким ударом
Я оглянусь на мгновенье назад.

Вижу Москву в озаренье салюта,
Вижу сибирских заводов огни,
Вижу сиянье скупого уюта,
Вижу к победе летящие дни.

Вижу домов сталинградских руины,
Верю в грядущее их торжество.
Нам остается итти до Берлина
Семьдесят пять километров всего.

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ

Роман

КОНСТ. ФЕДИН

★

Посвящается Нине Фединой

1.

Девочка-босоножка лет девяти трясла на коленях грудного ребенка, прижав его к себе и стараясь заткнуть ему разинутый рот хлебной жовкой в тряпице. Ребенок вертел головой, подбирал к животу голые ножонки и дергался от плача.

— А ну тебя, — рассерженно прикрикнула девочка и, положив ребенка на каменную плиту крыльца, встала, отряхнула колени, прислонилась к теплой стене дома и сунула руки за спину с таким видом, будто хотела сказать: хоть ты изойди криком, я на тебя даже глазом не поведу!

Шел один из последних дней пасхи, когда народ уже отгулял, но улица еще дышит усталой прелестью праздника, и немного жалко, что праздник уже почти кончился, и приятно, что конец не совсем заступил и, может быть, доведется еще гулянуть. Снизу, с берега Волги пробирались деревянными кварталцами завыванья похмельной песни, которая то сходила на-чет, то вдруг всплескивала себя на такую высоту, откуда все шумы казались пустяками — и гармоника с колокольцами, где-то далеко на воде, и беззаберный трезвон церкви, и слитный рогот пристаней.

На мостовой валялась раздавленная скорлупа крашенных яиц — малиновая, лазоревая, пунцовая и цвета овчинно-желтого, добываемого кипячением луковой шелухи. Видно было, что народ ползгал вволю и тыквенных, и подсолнечных семечек, погрыз и волоцких, и грецких орехов, пососал карамелек: ветром сдуло бумажки и скорлупу с круглых лысин булыжника в выбоины дороги и примело к кирпичному тротуару.

Девочка глядела прямо перед собою. Была полая вода, уже скрылись под нею песчаные острова, левый луговой берег как будто придвинулся, потяжелел, а мутная, шоколадно-навозная Волга раскалывалась поперек надвое, от берега к берегу, живой,

точно из шевелящегося битого стекла, солнечной дорожкой. Пахло молодыми тополиными листочками, сладким илом берега, глением запревших мусорных ям. Мухи жужжали, отлетая от стен и снова садясь. Все насыщалось теплом весны, ее ароматом, ее звуками, ее кирпичной тротуарной пылью, закрученной в поземные вороночки ветра вместе с праздничным сором.

Природа часто переживает важные перемены и очень многозначительно отмечает их странным выжидательным состоянием, которое разливается на все окружающее и волнует человека. Весна, когда она совершит перелом, задерживается на какое-то время, приостанавливается, чтобы почувствовать свою победу. Поторжествовав, она идет дальше. Но эта остановка чудесна. Природа оглядывает себя и говорит: как хорошо, что я бесконечно повторяюсь, чтобы снова и снова обновляться!

Девочка пропиталась этой минутной самоглядкой весеннего дня. У нее были темные синие глаза, не вполне сообразные с белобрысой головой, большие и не быстрые, тяжелее, чем обычно для такого маленького возраста, поэтому взгляд ее казался чересчур сосредоточенным. Косица в палец длиной затягивалась красной тесемкой, платье в полинялых рыжих цветочках было опрятно.

Ребенок все орал и сучил ногами, а девочка не могла оторваться от невидимой точки, в которой не было ничего и наверно заключалось все вместе — песня, трезвон, огромная река и солнце на ней, запахи деревьев и жужжание мух.

Вдруг она повернула голову.

На безлюдной улице раздалось цоканье подков с звонким срывающимся лязгом железа о булыжник. Серый конь в яблоках, покрытый синей сеткой с кисточками по борту, рысисто выбрасывая ноги, мчал пролетку на дутых шинах, и по-летнему, в белый кафтан, одетый извозчик, вытянув вперед руки, потрясывал дрожа

щами синими вожжами с помпонами посередине. Он осадил лошадь у самого крыльца, перед девочкой, и с пролетки неспеша сошли двое седоков.

На первом была надета черная накидка, застегнутая на золотую цепочку, которую держали в пастях две львиные головы, мягкая черная шляпа с отливом вороного пера, и сам он казался тоже черным — смуглый, с подстриженными смоляными усами. Второй легко нес на себе светлое, цветом похожее на горох, широкое ворсистое пальто, песочную шляпу с сиреневой лентой, и лицо его чуть рыхлое, но молодое, довольное было словно подкрашено пастелью и тоже легко и пышно, как пальто и шляпа.

— Ну вот, — маслянистым басом сказал человек в накидке, — это он и есть.

Они закинули головы и прочитали жестяную ржавую вывеску, висевшую над крыльцом: «Ночлежный дом». Они медленно оглядели фасад двухэтажного здания, рябую от дождей штукатурку, стекла окон с нефтяным отливом, кое-где склеенные замазкой, козырек обвисшей крыши с изломанным водостоком.

— Ты что же, нянька, смотришь, — видимо строго сказал человек в пальто, — поспине младенец-то, надорвется.

— Нет, — ответила девочка, — он визгун, мой братик. Он, как мама разродилась, так он и визжит. Меня с ним на улицу выгоняют, а то он всем надоед.

— Где же твоя мама?

— В ночлежке.

Человек в пальто помигал, как-будто у него закололо глаза, дернул легонько девочку за косицу, спросил:

— Кто это тебе ленту подарил?

— Мама. У нее много. Она насобирает тряпок по дворам и надевает ленток разных.

— Зачем?

— А чепчики шить. Она чепчики шьет и торгует на Пешке.

— Как тебя зовут?

— Меня Аночкой.

— Кто у тебя отец, Аночка?

— Крючник на пристани. А вы — господа?

Господа переглянулись, и черный, распахивая накидку, сказал своим необычайным маслянистым голосом:

— Славная какая девчоночка, прелесть.

Он похлопал ее кончиками пальцев по щеке.

— Где же твой отец сейчас, на пристани или дома?

— У нас дома нет. Он тут, в ночлежке. Он с похмелья.

— Пожалуй, начнем с этого, Александр, — сказала человек в накидке. — Проводи нас, Аночка, к папе с мамой.

И он первый, повода из стороны в сторону развеивающейся накидкой, вошел в ноч-

лежку, а за ним вбежала с ребенком Аночка и двинулся холеный человек в пальто

Извозчик по-лошадиному раскосо взглянул на них, приподнял зад, вынул из-под подушки козел хвост конского волоса на короткой ручке, прыгнул наземь, заткнул полы кафтана за пояс и принялся хозяйски обмахивать хвостом запыхавшиеся крылья пролетки.

2.

Молодой, уже известный драматург Александр Пастухов приехал в конце зимы 1910 года на родину, в Саратов, получить наследство по смерти отца, зажился и сдружился с актером городского театра Егором Павловичем Цветухиным.

Наследства, говоря точно, не было ни какого. Отец Пастухова, заметный в городе человек, жил довольно бессмысленно тыкаясь во все направления в поисках заработка, числился то по службе эксплуатации на железной дороге, то по службе тяги, пробовал издавать дешевую газету и даже выставляла свою кандидатуру во вторую Государственную Думу по списку кадетов, но все проваливалось и только один хорошо делал — носил дворянскую фуражку с красным околышем, да все переизкалдывал, вплоть до старинного кабинета когда-то вывезенного из поместья в город. Вот ради этого кабинета и прилетел Александр Пастухов на отцовское гнездовье и поселился на старой квартире, откуда да прежние годы ходил в реальное училище.

Теперь, когда нагрязнула известность одна драма Пастухова шла в Москве, другая — в Петербурге, он видел себя не тем мальчишкой, каким недавно бегал за гимназистками, но совершенно новым, ответственным, возвышенным человеком, и потому воспоминания, обступившие его на знакомых улицах, в пустых комнатах дома, где раньше кашляла и рычал пропитой октавой старик, трогали его, и он все время испытывал что-то похожее на грустную влюбленность. Он выкупил кабинет, позвал столяра, наводнившего дом горелой кислятиной клея и произвительной вонью полукрупки, и все жил, жил, никуда не торопясь, размышляя — не явился ли он из этот свет с особым предназначением и куда поведет его звезда, кивгущая ему с загадочной высоты, едва он начал привередливую сочинительскую жизнь.

Пастухов сошелся с Цветухиным не потому, что тяготел к актерам. Он высмотрел в Егоре Павловиче человека особой складки, хотя несомненного актера, что признавала и театральная публика, любившая сцену так, как ее любят только в провинции. Цветухин сохранил в себе жар семинариста, читавшего книги потихоньку о ректора, и привел с собою из семинарии завоеванную театральную жизнь вечную

дружбу с однокашником по имени Мефодий, который служил в театре на довольно мрачных выходных ролях. Но в отличие от актеров, поглощенных суетою и болями театра без остатка, Цветухин отвлекался от своей славы в эмпирию, мало уясненные им — в изобретательство, в культуру и тайны физической силы, в психологию и музыку. Это были увлечения наивные и может быть, в конце концов, именно театральные, но этот театр был совершенно непохож на службу с ее антрепренерами, газетными редакторами, самолюбивыми актрис, долгами буфетчику, сонной скукой дежурного помощника пристава во втором ряду партера. Это была, пожалуй, репетиция, постоянная репетиция страшно интересной роли в каком-то будущем неизвестном спектакле. Роль созревала из музыкальных, психологически сложных находок и воплощалась в телесную силу, в мускулы, пригодные для победы над любой волей, вставшей на дороге. Цветухин часто встречал в своих фантазиях какого-то человека, поднявшего на него руку. И вот он сжимает эту руку злодея, ставит его на колени или отбрасывает на пол и проходит мимо, спокойный, величавый, с накидкой на одном плече. Что это за человек, почему он стал на дороге Цветухина, Егор Павлович не знал и не останавливался на таком вопросе, — победил, поставил врага на колени и пошел дальше, может быть изобретая какие-нибудь крылья, может быть упражняясь на скрипке.

Но и настоящий театр, вплоть до аншлагов на кассе и суфлеров, Цветухин принимал на свой особый лад. Он считал, что публика может переживать только то, что пережито сценой, и старики-актеры посмеивались над ним, находя, что он заражен московской модой на Станиславского, а пригодное в Москве, по мнению стариков, не годилось в провинции, где зритель предпочитал, чтобы его страстно потрясли, а не только чувствительно трогали.

Цветухин придумал поход в ночлежный дом для изучения типов, потому что театр готовил «На дне», и где же как не на Волге можно было увидеть живых босяков, уже больше десятилетия царствовавших в русской литературе. В театре отнеслись к выдумке Цветухина с презрением.

— Кого ты хочешь сделать из актера? — спросил трагик. — Видел меня в «Короле Лире»? Ну вот. Меня сам Мариус Мариусович Петгилла целовал, за моего Лира. Что же я, королей играю, а какого-то голодранца не изображу? Неправильно, Егор. Пускай репортеры ездят в обжорный ряд, бытовые картинки рисовать. У актера в душе алтарь, понимаешь? Не пятнай его грязью жизни. Тебе художественники покоя не дают. Ты вон и усы не бреешь, под Станиславского. А думаешь, почему Художе-

ственный театр на Хитров рынок ездил? Потому что он перед интеллигентами заробел. Интеллигенты пойдут, проверят — верно галяхи сделаны или неверно. А я так сыграю, что галяхи будут в театр приходиться проверять — правильно они живут, как я показываю, или неправильно? Я для толпы играю, а не для интеллигентов, Егор.

— Так уже играли, как ты играешь, — сказал Цветухин. — Надо играть по-другому.

— А зачем?

Весь театр задавал этот вопрос — зачем? Аншлагов больше будет? Неизвестно. Актеров больше любить будут? Неизвестно. Жизнь станет легче? Неизвестно. Зачем делать то, что неизвестно?

— Искать надо. — убеждал Цветухин.

— Мудро, — отвечивал трагик. — Ищи в своей душе. Там все. Там, брат, даже царство божие. А ты галяха не можешь найти.

Тогда Цветухин рассказал о своем намерении Пастухову.

— Очень хорошо, — сказал Пастухов, не долго думая и только приглядываясь к другу. — Поедем. А потом позавтракаем. Под редисочку.

— Я настрою Мефодия, он приготовит, — обрадовался Егор Павлович, — он там от ночлежки поблизости живет. Поедем!

3.

Взобравшись на второй этаж, гости очутились в большой комнате, тесно заставленной нарами. Аночка пробежала вперед, к розовой ситцевой занавеске, отлеявшей дальний угол, и юркнула за нее. Цветухин и Пастухов внимательно озирались.

Комната освещалась обильно, промытые к празднику окна открывали огромный размах неба в ярко-белых облачках и ту стеклянную дорогу, что лежала поперек Волги, от берега к берегу. Но свет не веселил эти пажоки нищеты, а только безжалостно оголял их убогое и словно омертвевшее неряшество — вороха отрепья, ведра с промятыми боками, чапашки, рассованные по углам. Видно было, что скарб этот здесь презирался, но был нужен и с ним не могли расстаться.

У окна женщина в нижней сорочке старательно вычесывала голову, свесив на колени глянцевые русые волосы. У другого окна зычно храпел на нарах оборванец, раскинув босые ноги и руки — желтыми бугристыми ладонями вверх. Голову его покрывала дырявая жилетка, наверно — от мух.

— Царь природы, — сказал Пастухов, обмерив его медленным взглядом.

— Неудачное время: пустота, — сказал Цветухин.

Розовая занавеска тревожно приоткрылась, чей-то глаз сверкнул в щелке и тот-

час исчез. Цветухин остановился перед занавеской и с почтительной улыбкой, беззвучно постучал в колыхнувшийся ситец, как в дверь.

— Можно войти?

Низенькая, большеглазая женщина, перетирая мокрым фартуком бело-розовые сморщенные пальцы, стояла за корытом, с одного края наполненным мыльной пеной, с другого — горюю разноцветных лоскутов. Рядом с ней Аночка усердно раскачивала люльку с братиком, который попрежнему орал. Приподнявшись на локоть и свесив одну ногу с нар, хмуро глядел на вошедших широкой в груди и плечах мягкотелый мужик, похожий на Самсона. Он был волосат, светлые кудри на голове, колечки бороды и усов, пронизанные светом окна, казались мочалью цвета, были тонки и шевелились от каждого его грузного вздоха.

— Вы к нам? — спросила женщина.

— Да. Разрешите, — сказал Цветухин, открывая темную, такого же вороного отлива, как шляпа, шевелюру, так что было похоже, что он сменил одну шляпу на другую.

— Мы — познакомиться. Посмотреть, как вы живете.

— Некуда и посадить вас, господа. Хоть сюда вот пожалуйста, — всполохнулась женщина и вытерла фартуком край нар.

— Подвинь ногу-то, — сказала она мужику.

Осматривая угол и вдруг отдуваясь, как в бане, Пастухов проговорил с таким небрежно-безразличным видом, будто он давным-давно знаком и с этим углом, и с этими людьми и состоит с ними в совершенно приятельских отношениях:

— Эфиры у вас очень серьезные. Мертвых выносите.

— Окна мыли — все простудились, теперь сквозняком опасаются. Народ все простылый, уж каждый непременно чем-нибудь хворает. И зиму и лето живем в стоячем воздухе.

— Любопытствовать на бедность пришли? — вдруг хрипло спросил мужик.

— Да, познакомиться с бытом и положением, — ответил Цветухин, деликатно заминаясь.

— В таком случае позвольте представить семейство Тихона Парабукина, — прохрипел мужик, не меняя позы, а только заболтав спущенной ногой в широкой, точно юбка, посконной синей штанине и в лапте. — Мадам Парабукина, Ольга Ивановна, труженица, дочь Анна, своевольница, сын Павлик, шести месяцев от рождения, и вот он сам Тихон Парабукин, красавец сорока лет. С кем имею честь?

Пастухов мелко помигал и стал разглядывать Парабукина в упор странным, дымчатым взглядом небольших своих зеленоватых глаз, клейко-устойчивых, неотвязных. Цветухин не выдержал молчания.

— Мы хотим ближе изучить ваше положение. То-есть, в ваших интересах, в интересах бедного класса.

— Не туда адресуетесь. Мы — не бедный класс. Мы, так сказать, временно впавшие в нужду. Дочь моя, по наущению матери, повторят, что ее отец — крючник.

— Крючник и есть, — вмешалась Ольга Ивановна, — что это? — И она толкнула ногой залягшее на полу кожаное заплеچه — принадлежность всякого грузчика.

— Извините. По сословию — никогда. По сословию я человек служилый. И живу, как все служилые люди — семьей, в своем помещении, со своим входом. Вот возьму — воздушный звоночек проведу и медную карточку приделаю к занавеске, как на парадном, чтобы все понимали.

— Очень интересно вы говорите, — небрежно сказал Пастухов и присел на вытертый край нар. — Послушайте меня. Вы человек с образованием и поймете, что я скажу. Мы — не какие-нибудь благотворители, которым делать нечего. Мы — актеры. Играем в театре. Понимаете?

— Так, так, — отозвался Парабукин и аккуратно спустил с нар другую ногу.

— Мы просим вас показать нам выдающихся людей ночлежки. Ну, этаких львов, о которых бы по всей Волге слава шла. У вас наверно есть свои знаменитости?

— Львы-то? Львов нет. Собаки есть. Собак вам не требуется? — спросил Парабукин и, опустив голову, помолчал. — А скажите, кустюмы вы покупаете не будете? Для театра.

— Что продаете?

— Не желаете ли? — предложил Парабукин, зашипнув кончиками пальцев обе свои широленные штанины и потряхивая ими на вытянутых ногах.

— Нет, кустюмы мы не берем, — серьезно сказал Пастухов.

— Ну, что же, может пожертвуете толику на сооружение храма во имя преподобной великомученицы Полбутылии, — поклонился Парабукин.

— Это пожалуйста. Чем будете закусывать?

— Поминованием вас за здравие. Спасет Христос, — опять поклонился Парабукин и на этот раз — много ниже, так что кудри свисли до колен.

Пастухов долго шарил по карманам своих легких и пышных одеяний, а хозяйка угла ждала, что он там найдет, следя за ленивыми и великолепными его движениями.

— Послушай, Егор, — с крайним удивлением и тихо сказал Пастухов, — оказывается, у меня нет ни копейки!

Парабукин торжествующе хмыкнул.

— Узнаю папашу. Точь-в-точь.

— То-есть, какого папашу? — недовольно выговорил Пастухов.

— Вашего папашу, покойного Владимира Александровича господина Пастухова. Он всю жизнь забывал деньги дома. Подойдешь к нему: Владимир Александрович, выручите рубликом на лекарство. Он вот этак приложит пальчик к фуражке: извини, братец, скажет, портмонеет дома оставил.

— Ага, — неопределенно произнес Пастухов. — Вас что же Владимир Александрович лично знал?

— А как же? Когда он по эксплуатации служил, я в его ведении находился — контролером скорых поездов. Вот мадам может подтвердить: иначе как во втором классе Парабукины не ездили... А вас я сразу признал — вылитый папаша, гладкий такой портрет. Да видно вы вроде меня в нужду впали — в актеры-то пошли, а?

— Ну вот лепта на построение вашего храма, — сказал наконец Цветухин, кладя на край корыта полтинник.

Едва Парабукин потянулся за полтинником, как Ольга Ивановна быстро схватила монету и зажала ее в кулаке.

Все благодушие точно рукой сняло с Парабукина. Он вскочил и, как кот, неслышно шагнул к жене.

— Ты брось. Давай сюда.

— Постыдись людей, — сказала Ольга Ивановна, отстраняясь.

Парабукин наступал:

— Мне дали, а не тебе. Мои деньги. Ну! Он говорил глухо, с тупой сдержанностью, которая не обещает надежды на уступку.

Тогда неожиданно, словно забегая вперед событий и стараясь уверить всех и себя, что она тоже никогда не уступит, Ольга Ивановна закричала:

— Всю пасху пропьянствовал! Кровосос! А я целыми днями на помойках тряпье собирай, да тебя корми?! Из мусора не вылезай, от корыта не отходи, ночами из рук иголку не выпусти!

— Отдай, говорят, — угрожающе перебил ее крик Парабукин.

Он хотел уцепить жену за локоть, но она увернулась, вытянула руку, разжала пальцы, и в тот же миг Аночка схватила у нее с ладони полтинник и сунула его себе в рот, за щеку.

Хмель будто ожил в голове Парабукина. Он покачался на месте, мягкое тело его обвисло, руки бесцельно взметнулись и тяжело упали. Он тряхнул большой волосатой своей головой и пробормотал, пожалуй, самому себе:

— Ах, ты так, обезьяна... Погоди...

Вдруг он взвопил:

— Забирай своего горлодера, живо! Пошла с ним вон! Слышала? Пошла наружу!

Павлик что было силы орал в люльку. Аночка с привычной ловкостью вытащила его и бросилась за занавеску.

Не взглянув на гостей, Парабукин решительно устремился за дочерью.

— Куда, куда? — вскрикнула Ольга Ивановна.

Она стала ему на дороге, он оттолкнул ее и сорвал край занавески.

— Удержите его, господа, удержите! — кричала Ольга Ивановна.

Она кинулась за ним.

Цветухин и Пастухов, раздвинув занавеску, молча глядели и им вслед.

В комнате попрежнему вычесывала голову женщина. Она даже не шевельнулась. Оборванец, все так же раскинувшись, храпел под жилеткой.

Парабукин скрылся за дверью. Ольга Ивановна бежала между нар с криком:

— Помогите, господа! Он ее прибьет, он прибьет девочку!.. Беги, Аночка, беги!

— Пойдем, — сказал Цветухин, — что же мы стоим?

— Спектакль, — отозвался Пастухов с усмешкой, больше похожей на угрюмость, — и мы посмотрим, милый Егор, смотрим спектакль.

4.

Как только Аночка расслышала, что ее догоняет отец и что мать кричит — беги, она пихнула за щеку вынутый было полтинник, бросила на крыльцо Павлика и побежала. Она обогнула ночлежку и понеслась вверх по взвозу, притрагиваясь на бегу к заборам и стенам, как делают все дети.

Парабукин мчался по пятам. Лапти его гулко хлопали по подсохшей земле, синяя посконь штанов трепыхалась флагами сигнальщика, пыль клубилась позади. Он легел с такою прытью, будто от бега зависело все счастье жизни. С каждым шагом укорачивалось расстояние между ним и Аночкой, и он уже протянул руку, чтобы взять ее, когда она, ухватившись за угол дома, стремглав повернула на другую улицу.

Рысак под синей сеткой, почувяв крепкие вожжи и прищелкиванье хозяйского языка, быстро догонял Парабукина. Придерживаясь за козлы, став на подножку, готовый бог знает к чему, свешивался с прележки Цветухин. Его друг ни капли не терял из своего немного картинного достоинства, сидя ровно и прямо, и только по глазам его можно было видеть, что он с телесным удовольствием и досыта кормит, насыщает свое прожорливое любопытство. Два-три прохожих зазевались на бурное, хотя молчаливое зрелище. Убегающая от галаха девочка не очень привлекла бы к себе внимание, если бы не рысак с примечательными седоками, какие редко появлялись в этом малолюдном квартале.

Дом, мимо которого бежала Аночка, был городской школой — тяжеловесное белое здание с каменными заборами по бо-

кам, откуда вымахивали ввысь три престарелых едва распустившихся пирамидальных тополей.

У открытой калитки школы стоял юноша в двухбортной куртке технического училища, надегой на белую ластиковую рубашку с золочеными пуговками по воротнику.

Увидев заstraщенную девочку и гнавшегося за ней крючника, он посторонился и показал на калитку. Аночка с разбега перескочила через порог во двор, а он сразу встал на прежнее место, загородив собой калитку.

Парабукин задыхался, голова его дрожала, кудри переливались на солнце спутанным клоком выгоревшего сена, полное бледное лицо лоснилось от пота.

— Пусти-ка ты, техник, — выдохнул он, протягивая руку, чтобы убрать с пути неожиданное препятствие.

Нельзя было в этот момент проявить нерешительность — так жаден был разгон, так кипело стремление Парабукина схватить почти настигнутую и вдруг ускользнувшую девочку.

— Убери руки, — спокойно и негромко выговорил юноша.

— Ты кто такой?.. распоряжаться...

— Я здесь живу.

— А мне черт с тобой... где ты живешь... Пошел с дороги... Это моя дочь... что ты ее прячешь?

— Все равно, кто. Во двор я тебя не пу-
щу.

Парабукин отставил назад ногу, вздернул рукав и замахнулся.

— Попробуй, — сказал юноша так же спокойно, только пожеще.

Жесткость проступала во всем его крепком уже по-мужски сложившемся теле. Он был невысок, даже приземист — из тех людей, которых зовут квадратными: угловато торчали его резкие плечи, круто выступали челюсти, прямые параллельные линии волос на лбу, бровей, рта, подбородка будто вычерчены были рейсфедером, и только взгляда, может быть, коснулась живописная кисть, тронув его горячей темной желтизной. Он не двигался, уткнув кулаки в пояс, закрывая калитку распоясанными локтями, и в поджаром, сухом его устое видно было, что его не легко сдвинуть с места.

Парабукин опустил руку.

— Откуда ты такой, сатаненок!

Извозчик осаживал не успевшего распалиться подтанцовывающего рысака. Цветухин соскочил на тротуар.

— Сколько вас, против одного? — с презрением метнул на него взгляд Парабукин. Он все еще не мог отдышаться. С нетерпением, злыми рывками он раскатал засученный рукав, словно объявляя капитуляцию.

— Скандал не состоялся, — проговорил

Цветухин. — Стыдно все-таки отцу запугивать ребенка. Так я думаю.

— Позвольте мне, господин актер, написать, как вы думаете, — ответил Парабукин, вытирая рукавом лицо и в то же время делая нечто вроде книксена. — Другой полтинника вы мне не пожертвуете, нет? Или, может, пожертвуете? Похмельиста человеку надо? Требуется, спрашиваю, похмельиста, а?

— Видите вон голубой дом, — спросил неожиданно Цветухин, — вон, угловой, в конце квартала?

— Это Мешкова-то?

— Не знаю чей...

— Я-то знаю: Мешкова, нашего хозяина, которому ночлежка принадлежит.

— Ну вот рядом флигелек в два окошечка. Зайдите сейчас туда, я дам опохмелиться.

— Это что же... на самом деле?.. Или шутите?

— Ступайте, мы сейчас туда подедем.

Улыбается ведь иногда человеку фортуна и, пожалуй, как раз когда он меньше всего может рассчитывать на улыбку! — эта надежда бесхитростно осветила лицо Парабукина и, глянув на молодого человека, он махнул рукой, снова вполне благодушно.

— Повезло тебе, техник, благодари бога.

— Вот что я благодарю, — сказал юноша и оторвал от пояса кулаки.

Цветухин, распахивая накидку, шагнул к нему.

— А я хочу отблагодарить вас за смелый поступок. Я — Цветухин.

— Извеков, Кирилл.

В рукопожатии они ощутили сильную хватку пальцев друг друга и мгновение померились выдержкой.

— Ого, — улыбнулся Цветухин, — вы что, гимнастикой занимаетесь?

— Немножко... Я вас узнал, — вдруг покраснел Кирилл.

— Да? — полуспросил Егор Павлович с тем мимолетным по виду искренним недоумением, с каким актеры дивятся своей известности и которое должно означать — что же в них, в актерах, находят столь замечательного, что все их знают?

— Вы поберегите девочончку, куда ей угрожает родитель, — с деликатностью переменял он разговор. — Славная девочонка, правда?

— Я отведу ее к нам. У меня мать здесь учительницей.

Они распрощались таким же стойким мужским рукопожатием, и Кирилл с увеличением посмотрел вслед пролетке, пока она отъезжала к мешковскому дому. Потом он вошел во двор.

У забора, в жесткой заросли акаций, сидела на земле Аночка. Обхватив колени и положив на них голову, она неподвижно смотрела на Кирилла. Грусть и любовь

ство больших глаз делали ее взор еще тяжелее.

— Что испугалась?

— Нет, — ответила Аночка. — Папа ведь меня не бьет больно. Он добрый. Он только пострашает.

— Значит, ты от страха бежала?

— Да нет! Я бежала, чтобы он деньги не отнял.

И она, разжав кулачок, показала полтинник.

— Ну, тогда ступай к себе домой.

— Я еще маненько посижу.

— Почему же?

— А боязно.

Кирилл засмеялся.

— Тогда хочешь к нам, побыть немножко у моей мамы?

Она потерла о голую коленку полтинник, полюбовалась его наглым блеском на солнце, ответила, помедлив:

— Немножко? Ну-ну.

Он взял ее за руку и, с видом победоносца, повел через двор к старой одностворчатой двери. Аночке бросились в глаза узорчатые завитки больших чугунных петель, прибитых к двери шпигирями с сияющими, как полтинники, шляпками, и она ступила в темные сени с прохладным кирпичным полом.

5.

Пастухов и Цветухин вошли к Мефодию — в его тесовый домик из единственной комнаты с кухней, который был тотчас назван хозяином так, как звала такие домики вся Волга:

— Наконец пожаловали ко мне, в мой флигерь. Милости прошу.

— Кланяйся, — сказал Цветухин.

— Кланяюсь, — ответил Мефодий и нагнулся в пояс, тронув пальцами крашевый пол.

— Принимай, — сказал Цветухин, накрыв сброшенной с плеча накидкой всего Мефодия, как попойой.

Мефодий захватил в горсть пепочку накладки, позвенел ею, топнул по лошадиному и слегка заржал. Ради полноты иллюзии он стал на четвереньки.

— Шааи! — сказал Цветухин, как извозчик.

Пастухов снисходительно кинул свое великолепное пальто на спину Мефодию, водрузил сверху шляпу, и Мефодий осторожно отвез одежду на кровать, в угол.

Вернувшись, он стал рядом с приятелями, удивившись толстыми губами, которые не безобразили, а были красивее всего на его лице, изуродованном меткой пониже переносицы. Метка была наказанным любопытством: мальчишкой он смотрел в щелку за одним семейным приключением, рука сорвалась, опрокинув ящик, на который он опирался, и Мефодий упал носом на ключ, торчавший из дверного

замка. Целую жизнь потом он, если не рассказывал, то вспоминал эту историю.

Все трое — гости и хозяин — блаженно оглядывали стол, занимавший середину комнаты. Редиска румянилась сочными бочками, либо пряча, либо высывая наружу белые хвостики корешков. Лук метал с тарелок иссиня-зеленые воздушные стрелы. Огурцы были настолько нежны, что парниковая зелень их кожицы отливала белизной. Розовые ломти нарезанной ветчины по краям были подернуты сизовато-перламутровым налетом, их сало белело, как фарфор. Две бутылки золотисто-желтого стекла, погруженные в миску с подтаявшим снегом, были украшены кудрявой ботвою редиски. Стол накрывала мужская рука — это было ясно видно. Из кухни от русской печи пряно струился в комнату аромат горячего мясного соуса.

У Пастухова раздувались ноздри. Изменившимся голосом, чуть-чуть в нос, он буркнул скороговоркой:

— Послушай, Мефодий: ты — фламандец.

Он занес руку над бутылью, но приостановился и заново окинул взглядом стол:

— Масло?.. Есть... Соля?.. Есть. Горчица? Ага. Хлеб?.. Хлеб! — прикрикнул он, — Мефодий, где хлеб?

Мефодий поднес хлебницу с московскими калачами, приговаривая в растяжку:

— И похвалил я веселье, ибо нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться... Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердца вино твое. Так сказал Соломон.

Цветухин на иерейский лад повысил ноту:

— Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что сие есть доля твоя в жизни и трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Так сказал Соломон.

— Попы несчастные. — с гримасой боли вздохнул Пастухов и, быстро вырвав бутылку из снега, обернул ее салфеткой и налил водки.

Они дружно выпили, провозгласив спич в одно слово: поехали! — опять серьезно оглядели снедь, точно не решаясь разрушить на столе чудесный натюрморт, и принялись за редиску. Пастухов ел зарзательно вкусно — грубо и просто, без жеманства, как едят крестьяне или баре: с хрустом перекусывал редиску, намазывал на нее масло, обмакивал в соль на тарелке, разрывал пальцами дужку калача и провожал куски в рот решительным, но неторопливым движением. Щеки его были бледны, он отдавался еде, он вкушал ее всюю плотью.

— Ты похож на певца, Александр, — засмеялся Цветухин, любуясь им.

— А как же? — сказал Пастухов и широко обвел рукой стол: — Награда жизни. Я люблю людей, которые угощают, как прирожденные хлебодары.

Он взглянул одобритительно на Мефодия, помолчал и добавил:

— Умница... Здоровье Мефодия!

Они чокнулись, произнесли свой краткий спич: поехали! — и в это время услышали звяканье дверной щекотки. Мефодий вышел в сени и, тотчас возвратившись, сообщил, что какой-то галах говорит, будто ему велели притти.

— Крючник, такой кудрявый, да? — спросил Цветухин. — Зови его сюда.

— На кой чорт он тебе нужен? — сморщился Пастухов.

— Зови, зови.

Парабукин вошел согнувшись, будто опасаясь стукнуться головой о притолоку. Улыбка, с которой он обращался к своим новым знакомым, была просительной, но в то же время насмешливой. Глаза его сразу остановились на самом главном — на бутылках с водкой — и он уже не мог оторваться от них, точно от какой-то оси мироздания, перед ним фантастично возникшей. Было понятно, что не требуется никаких слов, и все последующее произошло в общем молчании: Мефодий принес чайный стакан, Цветухин налил его до краев, Пастухов положил хороший кус ветчины на калач, Тихон Парабукин быстро обтер рот кулаком и принял стакан из рук Цветухина молитвенно-тихо. Он перестал улыбаться в тот момент, когда наливалась водка, лицо его выражало страх и предельную сосредоточенность, как у человека, выслушивающего себе приговор после тяжелого долгого суда. Пил он медленно, глоток за глотком, прижмурившись, застыв, и только колючки светлых его кудрей чуть-чуть трепетали на запрокинутой голове.

— Здорово, — одобрил Пастухов, протягивая ему закуску.

Но Парабукин не стал есть. Он содрогнулся, потряс головой, крепко вытер ладонью лицо и с отчаянием проговорил:

— Господи, господи!

— Раскаиваетесь? — спросил Пастухов.

— Нет. Благодарю господа и бога моего за дарование света.

— Давно пьете? — спросил Пастухов.

— Вообще или за последний цикл?

— Вообще, — сказал Пастухов, засмеявшись.

— Вообще лет десять. Совпало как раз с семейной жизнью. Но не от нее. Не семья довела меня, а правильнее сказать — я ее.

— Пробовали бороться?

— С запоем? Нет. Тут больше Ольга

Ивановна выступает, с борьбой. Видели, как она у меня денежку конфисковала? А я не борюсь. Зачем?

— Пьете сознательно, да?

— А вот вы как пьете, бессознательно?

— До потери сознания, — сказал Мефодий.

Парабукин улыбнулся уже совсем безбоязненно. Лицо его расцветилось, самсонова сила ожила в нем, он стоял прямой и выросший. Пастухов не сводил с него клейкого взгляда, без стеснения, в упор изучая его, точно перед ним возвышался каменный атлант.

Цветухин положил на грудь Тихона ладонь.

— Красота, Александр, а?

— Верно, — согласился Парабукин. — Ольга Ивановна когда простит меня, положит так вот голову (он похлопал по руке Цветухина и прижал ее к своей груди), скажет: Тиша, мой Тиша, зачем ты себя мучаешь, такой красивый. И залагает.

Глаза его вспыхнули от слезы, он вздохнул с надрывом.

— Действует водочка? — полюбопытствовал Пастухов.

— Зачем ты себя мучаешь? — продолжал Парабукин мечтательно. — Остановись, Тиша, скажет Ольга Ивановна, вернись к прошлому: как хорошо — ты будешь контролером поездов, я тебе воротнички накрахмлаю, Аночка в школу пойдет, я буду за Павликом смотреть. Остановись.

— А вы что? — спросил Цветухин.

— А я говорю: эх, Ольга Ивановна! Идет смешанный поезд жизни, как его остановить? И может зашел наш с тобой поезд в тупик, в мешковский ночлежный дом, и нет нам с тобой выхода. Она мне: может это, говорит, не тупик, а станция? Да, говорю я, станция. Только приходится мне на этой станции грузчиком кули таскать. Нет, говорит Ольга Ивановна, те, которые считают нашу ночлежку станцией, те бьются за жизнь, а ты не бьешься. Бейся, говорит, Тиша, умоляю тебя, бейся.

Парабукин опять вскрикнул и потянулся к пустому стакану.

— Еще глоточек разрешите.

Пастухов отнял у него стакан.

— Нет, — сказал он, — довольно.

Он отвернулся от Парабукина, на лице его мгновенно появилось выражение брезгливой скуки, он уныло смотрел на еще не разоренный стол.

— Так вы нам порекомендуете какого-нибудь красочного человека из обитателей вашего дома? — спросил Цветухин весьма мягким тоном.

— Дом этот не мой, дом этот — Мешкова, — сердито ответил Парабукин. — К нему и обращайтесь. Он здесь проживает, вы на его дворе находитесь.

— До свиданья, — сказал Пастухов, резко поворачиваясь на стуле и почти всовывая в руку Тихона закуску, которой тот не касался — калач с ветчиной. — Мефодий, проводи.

Парабукин ушел, выпятив грудь и с такой силой шагнул через порог в сени, что задрожала и скрипнула по углам тесовая обшивка дома.

— Нахал! — проговорил Пастухов.

Когда Мефодий сел за стол, трапеза возобновилась в благоговейной тишине. Захрустели на зубах огурцы и редиска, поплыл запах потревоженного зеленого лука, заработали ножи над ветчиной, взбулькнула водочка. «Поехали», — сказали приятели в первый раз — негромко, «поехали», — произнесли во второй — погромче, «поехали», — спели хором — в третий. После чего Пастухов засмеялся, отвалился на спинку креслица и начал говорить, пощелкивая редиску, как орехи:

— Дурак ты, Егор Цветухин! Дурак! Все эти оборванцы — ничтожные бездельники. А кто-то придумал, что они — романтики. И все поверили и создали на них моду. И ты попался на удочку — вместе с другими внушаешь галахам, что они — какие-то поэтические гении. Теперь ты видишь этого волосатого хама? Хам и алкоголик. Больше ничего. Разве ты нашел в нем что-нибудь новое? Знакомые персонажи.

— Я их не поэтизирую, Александр, я все это делаю для искусства, — сказал Цветухин гораздо серьезнее, чем требовал снисходительный тон Пастухова.

— То-есть как? Ты хочешь точнее воспроизвести на сцене вот такого волосатого пропойцу? Для чего спонадобилась тебе точность? Чтобы сделать на подмостках второй ночлежный дом? Для чего? Ступай сходи на Верхний базар, там есть второй ночлежный дом. Какое дело до этого сцене, театру, искусству?

— Знаю, знаю, — воскликнул Цветухин, — это ты — насчет мопса: Гёте сказал, что если художник срисует с полной точностью мопса, то будет два мопса вместо одного, а искусство ровно ничего не приобретет.

— Ну, вон какой ты образованный! Двадцать, тридцать лет назад Золя всем своим трудом проповедывал точное перенесение действительности в романы. Он ездил на паровозе, чтобы затем изобразить в книге машиниста, спускался в шахты, ходил в веселые дома. И я недавно перелистывал старые французские журналы и нашел карикатуру, напечатанную после выхода его романа «Париж». На мостовой, под копытами лошади лежит бедный Золя, в своем пенсне со шнурочком, без цилиндра, и под карикатурой написано: господин Золя бросился под фиакр, чтобы затем жизненно опи-

сать чувства человека, которого шиб извозчик...

— Хорошо, — блаженно пропел Мефодий и налил водки.

Посмеялись, выпили, немного пожевали — аппетит был уже притушен. Пастухов угостил из большого кожаного портсигара папиросами, и в дыму, обнявшем приятелей серыми ленивыми рукавами, Цветухин произнес с искренним изумлением:

— Ты — консерватор, Александр. Ты повторяешь то, что говорят у нас самые отсталые люди сцены, рутинеры. Как ты можешь отрицать, что артист должен изучать подлинную жизнь? Это — мракобесие!

— Не страшай меня словами, Егор. Я — художник и слов не боюсь. Слов боятся только газетчики, потому что они придают им больше значения, чем они могут иметь.

Пастухов вынул из нагрудного кармана маленькую красную книжечку, перелистал ее, но не нашел, что хотел, и продолжал спокойно, не торпясь:

— Мне передавали, будто Лев Толстой кому-то там, может быть, за чайным столом, недавно сказал: чтобы быть художником слова, надо, чтобы было свойственно высоко подниматься душою и низко падать. Тогда, сказал Толстой, все промежуточные ступени известны, и художник может жить в воображении жизнью людей, стоящих на разных ступенях.

— Как хорошо! — вскрикнул Мефодий, схватившись опять за водку. — Это лучше, лучше, чем про Золя! Посильнее. Это — здорово хорошо, а? Правда, Егор, а?

Он слушал разговор упоенно, открыв большой толстогубый рот, но во взгляде его заключалось не только желание ничего не упустить из разговора, но и улыбка человека, видящего больше, чем ему показывают.

Пастухов опять покопался в книжечке и слегка торжественно разгладил стыканную нужную страничку.

— А вот что я выписал из Бальзака: «Одно из зол, которому подвержены выдающиеся умы, это то, что они невольно постигают всё, — не только добродетели, но и пороки».

— Какая связь? — передернул плечами Цветухин. — И что здесь противоречит изучению жизни?

— Ты не видишь связи? Толстой говорит, что художнику должно быть свойственно высоко подниматься душою и низко падать. Бальзак говорит, что выдающийся ум постигает добродетель и порок невольно. Связь в двух словах — свойственно и невольно. Оба говорят о чем-то прирожденном художнику или выдающемуся уму, говорят о том, что постижение высокого и низкого является

их свойством по природе, что добро и зло постигается ими помимо их воли. Жизнь воображения — вот сущность художника или выдающегося ума. И — заметь — Толстой говорит: подниматься и падать душою. Душою, дорогой мой Егор, то есть тем же воображением, а не как-нибудь еще. Иначе получится карикатура на Золя. Получится, что низко пасть — значит совершить подлость не в воображении, а в быту, украсть, чтобы постичь душу вора. Вот этакому изучению жизни Толстой и Бальзак и противоречат.

— Почему же Бальзак называет злом это невольное постижение выдающимся умом добродетели и порока?

— Почему? Я думаю...

Пастухов вдруг ухмыльнулся и протодушно ляпнул:

— Я, правда, не думал. Мне это сейчас пришло на ум, нечаянно. Но вот что я твердо знаю: реалисты Бальзак и Толстой нас обманули. Это — самые фантастичные художники из всех, какие были. Они все выдумали, все сочинили. Они совсем не занимались копированием подлинной жизни. Книги их — плоды тончайшего воображения. Именно поэтому они убеждают больше самой жизни. И я исповедую одно: мой мысленный взор есть бог искусства. Мысленный взор, вездесущая мысль, понимаешь? Я вижу мысленным взором любой ночлежный дом, так же, как вижу египетского фараона, как вижу мужичью клячу или члена Государственной Думы. Вездесущей мыслью я поднимаюсь и падаю, совершаю добро и зло. В воображении своем, в фантазии подвержен прекрасному и отвратительному, ибо я — художник.

Он поднял рюмку.

— За художника, против копировщика. За Толстого, против Золя. За бога искусства — воображение!..

— Поехали, — закончил Мефодий.

Они начинали пьянеть. Закуски распознались по столу все шире, обращаясь из приманки в отбросы, окурки плутали по тарелкам, не находя пепельницу. Мефодий достал из печи жаровню с тушеным мясом, табачный дым отступил перед паром соуса, пышущего запахом лаврового листа и перца, аппетит ожил, голоса поднялись и зашумели, фразы укоротились, бессмыслицы стали казаться остроумными, веселыми.

— Ты — пьяная затычка, Мефодий, — сказал Пастухов, — но у тебя есть вкус. Я тебя обожаю.

— Я пьяница? — спросил Мефодий польщенно. — Никогда! Пьяница пьет, чтобы пить. Я пью, чтобы закусывать. Я владею собой, я — господин своему слову! А разве у пьяницы слово есть?

— У него есть слово, — хохотал Цветухин. — Скажет: конечно, больше не пью!

И два дня маковой росинки в рот не возьмет!

— Послушайте, глухие тетери, — говорил Пастухов. — Вслушайтесь! Какой язык, а? Маковая росинка! Если бы у меня была водочный завод, я выпустил бы водку под названием — «Росинка». И внизу, под этим словом, на этикетке, написал бы в скобках, мелко-мелко: «Мако-ва-я».

— Ты стал бы Крезом! — кричал Цветухин. — Какой сбыт! «Росинка»!

— Росинки хотите? Росинки накапать? — бормотал Мефодий и, наливая рюмки, приговаривал: — солонинка солонина, а ветчинка дорога! Душа моя росинка и дешева и хороша!

За шумом они не сразу расслышали стук в окошко — настойчивый, солидный. Мефодий вышел в сени и долго не возвращался. Тогда за ним последовали и друзья.

У дверей стоял человек в добротном пиджаке, застегнутом на все четыре пуговицы, в котелке, с тростью, усеянной разбежавшимися глазами сучков и с серебряным набалдашником. Его борода, расчесанная на стороны, пушистые брови и затиснутые под ними твердые глаза, статная посадка округлого тела — все было исполнено строгости и особого достоинства людей, убежденных, что они не могут ошибаться. Ему было немного за сорок, в русской бороде его лежали первых два седых волоса.

— Меркул Авдеевич, наш домохозяин, — сказал Мефодий.

Мешков приподнял котелок.

— Извините, господа, беспокойство. Вот этот голубчик говорит, будто приглашен сюда вами. Однако уклоняется ответить — для какой надобности.

На крыльце сидел Парабукин, расставив колени и положив на них локти. Он все еще держал калач с ветчиной, общипанной с одного края, и отгонял стайку мух, суевившуюся вокруг лакомого куска. Он поднял голову. Было что-то виноватое в его взгляде снизу вверх.

— Полстаканчика не поднесете? — попросил он.

— Ни маковой росинки, — отрезал Пастухов.

— Слышал, голубчик? — проговорил Мешков, легонько тронув набалдашником плечо Тихона. — Ступай со двора, нечего тебе тут делать, ступай, говорю я.

Парабукин грузно поднялся и по очереди оглядел всех. Наверно Цветухин показался ему сочувственнее других, он остановил на нем взор и улынулся протестно, но актер покачал головой, — нет, нельзя было ждать богатой милости от этих бессердечных людей!

— Да вы съешьте бутерброд, что вы его в руках мнете? — сказал Цветухин.

— Это... это мое собственное дело, это — как я захочу, — ответил Парабукин и, переваливаясь на согнутых коленях, шагами крючника пошел к калитке.

Цветухин обернулся к Пастухову и потряс указательным пальцем.

— Понял?

Пастухов молча мигал на него как будто ничего не разумеющими глазами.

Мешков проводил Тихона до калитки, аккуратно закрыл ее на железную щеколду и опять снял котелок, откланиваясь.

— Нет, нет, пожалуйста теперь к нам, — вскинулся Мефодий. — Да нет, уж не обесцудите, пожалуйста к бедному квартирному, раз в год.

— Просим, просим, — с легкостью изображая радушие, приговаривал Цветухин.

— Не отказывайтесь, прошу вас! Пригубите, по случаю отходящего праздника, маковой росинки!

Так они, раскланиваясь и расшаркиваясь, ввели в комнату с достоинством упиравшегося Меркурия Авдеевича Мешкова.

6.

По-разному можно жить. Но редко отыщется человек, который на вопрос советчи — как он живет? — ответил бы, что живет вполне правильно. Даже тот, кто привык обманывать себя, и то найдет на своем жизненном пути какую-нибудь зазубринку, неровность, оставленную ошибочным шагом, привычным пороком или несдержанной страстью. А люди, способные наедине с собою говорить правдиво, так хорошо видят свои ошибки, что — в интересах самосохранения — предпочитают утешать себя поговоркою о солнце, на котором, как известно, тоже есть пятна.

Меркурий Авдеевич искренне признавал, что он не без греха, поскольку все смертные грешны. И он не только считал себя грешником, но и каялся в прегрешениях усердно, каждый год, иногда на первой, иногда на четвертой — крестопоклонной, гораздо реже на страстной неделе великого поста, смотря по тому, когда удобнее позволяли дела. Однако если трезво рассудить (а Меркурий Авдеевич рассуждал очень трезво), то каяться — не перед богом и духовным отцом, конечно, а перед собою и перед людьми, особенно перед людьми, — каяться было не в чем. Потому что Меркурий Авдеевич жил правильно, то-есть так, как повелевала ему совесть, и опираясь на устои, поддерживающие земное бытие.

Он говорил, что главным таким устоем полагает трудолюбие, и действительно требовал от всех трудолюбия и сам любил

трудиться, ни одних суток не пропустив, с мальчишеских лет, без труда, без того, чтобы сегодня не прибавить камушка к тому камушку, который был отложен вчера. Такой образ жизни был впитан его кровью настолько глубоко, что всякий другой представлялся ему противоестественным, как голубю — обитание под водой, и он мог уважать только людей, в трудах откладывающих камушек за камушком, прогрессивно и как бы математично стремящихся в таком занятии к назначенному пределу, которым является мирная кончина человека.

Меркурию Авдеевичу принадлежала лавка москательных и хозяйственных товаров на Верхнем базаре и два земельных участка, расположенных по соседству, недалеко от Волги. Участки эти он называл «местами», один — малым местом, другой — большим. На малом месте находился собственный двор Мешкова сплошь из деревянных построек, окрашенных синей масляной краской. Тут стоял двухэтажный дом — обитель крошечной семьи Меркурия Авдеевича (у него была только одна дочь — Лиза) и молодых приказчиков мешковской лавки; затем — два флигеля — первый маленький, где проживал Мефодий, и второй надворный, побольше, отданный в наймы слесарю железнодорожного депо Петру Петровичу Рагозину; наконец — домашние службы — погребцы с сушилками, куда в летнее время перебирались на житьево приказчики. Большое место частью оставалось пустопорожним и заросло бурьяном и розовыми мальвами, а частью было занято каменным строением, в котором издавна помещался ночлежный дом, и большим мрачным лабазом, приобретенным Меркурием Авдеевичем вместе с канатным производством. Отсюда, из лабазы, в теплые дни расплывался щеко-чущий, волглый и смолянистый запах деревянной баржи и вылетали песни женщин, трепавших старые канаты на паклю.

Владения собирались Мешковым потихонечку-помаленечку, но не без огорчений. Ему, например, был мало приятен ночлежный дом — хозяйство неопрятное и беспокойное, но переустройство здания под какую-нибудь другую надобность требовало бы непомерных расходов. Лабаз едва покрывал земельную ренту, но возводить на его участке новое строение еще не пришло время. Самое же чувствительное огорчение состояло в том, что Меркурий Авдеевич хотел бы расширить большое место до размера всего квартала, а за ночлежным домом, вплоты к пустырю, покрытому бурьяном и мальвами, простирался участок со старинным зданием начальной школы, и городская управа — хозяйин этого богатства — не думала им поступиться. Поэтому Мешков не взлю-

бил школу, с криком и озорством мальчишек, с учителями — как ему казалось — чересчур независимого вида, и эта нелюбовь даже дивила его самого, уважавшего грамоту и особенно — ученость.

Он действительно уважал ученость всякого рода и, называя врачей медиками, судейских чиновников — юристами и преподавателей естественной истории — натуралистами, выговаривал эти звания с каким-то пугливым реверансом в голосе. Но светская образованность была для него недосыгаемо-чуждой и почтение к ней, пожалуй, ограничивалось внешней робостью, вот этим нечаянным оседанием, реверансом голоса. Проникновенно было его уважение к учености духовной: книжниками, начетчиками церковными он покорялся с тех ранних лет, когда начал откладывать первые копеечки впрок. Еще торговым учеником у москательщика, вырсывая стружкой воды из чайника восьмерки по полу, перед подметанием лавки, Мешков любил проминать мудреные слова проповедей, слышанных в церкви и сделавшихся первоисточником его просвещения. Теперь, в зрелые годы, он захаживал, иной зимний вечер, в кеновию — тесное монашеское общежитие — послушать отличительные состязания миссионеров с инакомыслием, во всяких толках которого Мешков разбирался, как в кредитках. Посреди низкой церкви, за наоями, в прыгающем озарении восковых свечек, обтирая пот с пухлых лиц, монахи предавали сраму стоявших за такими же наоями единоверцев либо старообрядцев. Вечера напролет раздавались здесь рычания на «развратников православия», и люди, заросшие бородами, усыми, и с косицами до плеч, яростно доказывали, что «брадобритие и стрижение усов благочестию христианскому ни мало не противно, да еще иногда и нужно, паче же усов подстрижение». И такие же волосатые люди, причислявшие себя к «брадоподвижникам», потрясая книгами Кормчей, стоглавым, Иосифовским служебником, доказывали, что «греха брадобрития мученическая кровь загладити не может». Мешков тщательно складывал в бережливую свою память протеренные семинарными ходы таких споров — с положением истины и противоположениями, со всеми «понеже первое» и «понеже второе». Многие из любимых умствований запоминал он дословно и, придя домой, повторял с точностью супруге — кротчайшей Валерии Ивановне, например, так:

— Послушай, Валуша, как иеромонах Зиновий излагает довод по растению власов естественному. Понеже власы суть дело естества, а не сила веры, они растут у нас так, как трава осока и трости на местах влажных; следовательно сами по

себе спасения или святости не составляют. Можно и остриженному иметь добрую душу, а напротив с бородами и с усами бьют нечестивые и злодеи. Итак, что за противность оные брить и подстригать? Мудро, Валуша? А раскольники извиваются, не хотят покориться истине. В бороде, говорят, образ божий состоит и брить ее незаконно. Тогда отец Зиновий рази их ответом: никак; ибо а) бог есть дуб бестелесный, а потому ни брады, ни ус не имеет; б) как младенцы и жены бород не имеют, то аки бы они и образа божия не причастны? Премудро сказано, Валуша премудро!

И любясь остротой своей памяти, торжествуя над пригвожденными еретиками, Меркурий Авдеевич разглаживал бороду, смеялся и восклицал:

— Вот нелепости брадозащитников!

Религиозную ученость он считал старшей, а светскую науку младшей, и если бы между ними существовала зависимость, подобная семейным узам, в его книжной этажерке, наверно, убавилось бы церковно-славянской печати. Но наука была, по его размышлению, блудным сыном, который не собирался возвратиться в отчий дом. Поэтому к почитанию образованных людей у Меркурия Авдеевича прибавлялась осторожность: бог их знает, не состоят ли эти самые медики и натуралисты в родстве с беспоповцами, какими-нибудь «самокрещенцами» или «погребателями»? Подальше от них — и дело будет надежнее.

И поэтому в дом к Мефодию, к веселому своему квартиранту, Меркурий Авдеевич входил с интересом, но настороженно, тем более, что не только узнал актера Цветухина и не только в Пастухове тотчас заподозрил птицу редкостную, может быть такую, каких не видывал, но вдобавок заволновался приглашением выпить, а в этой щекотливой области он управлял собою не совсем уверенно.

— Пожалуйте, — сказал Мефодий, поднося ему пузатую рюмку, так полна налитую, что вода струилась по пальцам.

— Что вы, — ответил он, и голос его сделал реверанс. — Я не употребляю вина. Почти совсем не употребляю.

И тут он встретился глазами с Пастуховым.

7.

Перед Меркурием Авдеевичем сидел молодой, но — из-за полноты и видимой рыхлости тела — казавшийся старше своего возраста человек. В дородности и спокойствии его лица закладывалось некоторое превосходство над тем, кого он в эту минуту наблюдал, но его рот и щеки приподнимала любезная, гипсовая улыбка, а глаза совершенно не были связаны ни со

спокойствием лица, ни с обязательностью улыбки — любопытные щучьим любопытством, жадно-холодные глаза. Заглянув в них, Мешков испытал состояние, которое мог бы определить словами: ну, пропал! Но ему было приятно и почти лестно, что вот сейчас гипсовая улыбка дрогнет и необыкновенный человек обратится к нему, очевидно, с просвещенным разговором.

И правда, лицо Пастухова ожило, взгляд соединился со всеми другими его чертами, и он потянулся с рюмкой к Мешкову.

— Бросьте вы, пожалуйста, говорите пустяки! — сказал он деликатно и в то же время панибратски. — Ну кто это поверит, что вы не пьете водки? Скопец что ли вы какой-нибудь или барыня из Армии спасения?

Нет, Мешков как будто и не слышал подобного! Речь была ничуть не похожа на то, что он ожидал от образованного человека, и, однако, полна необычайности. «Скопец» особенно поразил его, и он рассмеялся.

— Тогда с праздником, — проговорила она, откинув церемонии.

Он развел на стороны усы и выпил залпом.

— Светлую заутреню где слушали? — спросил Пастухов, уверенный, что именно с таким вопросом надо прежде всего обратиться к Мешкову.

— Имею привычку стоять пасхальную утреню в церкви старой семинарии, — ответил Меркурий Авдеевич, с удовольствием убеждаясь, что попал, и правда, на большого умника.

— Ну как, бурсаки петь не разучились?

— Нет, поддерживают обычай. Христос воскрес по-гречески пропели трубно: Христос анэсти эки некрон.

— Ах, трубно? — улыбнулся Пастухов.

— Это — наше слово, бурсацкое: трубными гласы взываем, — сказал Цветухин.

— Я помню, вы еще семинаристом «Разбойника благоразумного» певали, — почтительно сказал Мешков.

— Вы меня узнали?

— Как же не узнать такой известности? В театры я не хожу, но вы и сюда появляетесь, и в храме вас случалось видеть. Передавали, вы и этой пасхой на клиросе извоили петь?

— Да, пел.

— Что ты говоришь, Егор? — изумился Пастухов. — Стихиры пел?

— Стихиры.

— Это зачем же?

— То-то, Александр, что мы — бурсаки. Нас тянет. Юность вспоминается, каникулы семинарские. Пасха — это такое волнение, — все разоденутся, галстухи вот этикие накрутят, приготовят к отъезду корзинки, завяжут постели: утреня и обедня — последняя служба. Отпоешь и—

домой, в отпуск, кто куда, — в уезд, по селам, вон из семинарии, на волю! К батям. Весь, бывало, дрожишь от счастья.

— До чего верно, Егор! — умилился Мефодий. — Именно, весь дрожишь! Переживаешь, как на сцене.

— Ничего ты никогда на сцене не переживал, — усмехнулся Пастухов.

Но Мефодий говорил, не слушая его.

— До сих пор, если я не надену сюртук, как прежде, в семинарии, мне и пасха не в пасху.

— Подумаешь, актер! — упрямо перебил Пастухов. — Переживает на сцене! Что переживает? Сюртук переживает!.. А в твою, Егор, бурсацкую лирику не верю. Так просто — мода. Нынче все великие актеры на клирос ходят. Апостола читают. И ты подражаешь моде. От художественников своих — ни на шаг. Они в ночлежку — ты за ними. Они на клиросы за ними. Им на подносе просвирки подают — и ты ждешь, когда тебе поднесут. Ото всего этого кислыми щами разит. Поимаешь?

— Нет, не понимаю, — трезво и недоменно ответил Цветухин. — Не понимаю, что ты озлился?

— То, что ты подражаешь моде. То, что врешь, будто стихиры поешь из переживаний. Ты их поешь из тщеславия.

Он потер в пальцах хвостик редиски, понюхал пальцы, бросил хвостик на стол, сказал брезгливо:

— Душком пахнет.

Мефодий сердито налил всем водки, точно в наказание.

— Актеру тщеславия стесняться нечего, — произнес он наставительно, высоко приподнимая и опуская рюмку. — Если у нас не будет тщеславия, какие мы актеры?

— А какой ты актер? — опять поддразнил Пастухов.

— Я — тень актера. Тень великого актера — Цветухина!

Пастухов долго не говорил, изучая Мефодия остановившимся взором.

— Тень актера? А тщеславие у тебя — не тень.

Подражая его взгляду и так же выдерживая паузу, Мефодий сказал:

— Да ведь и у вас оно не маленькое, Александр Владимирович...

— Мы тоже должны любить славу, — признал Пастухов. — Иначе у нас ничего не получится. Слава — наш локомотив.

— А кем вы будете, извините любознательность? — спросил Мешков, не упустивший из разговора ни звука и особенно захваченный пастуховской манерой говорить — властной и пренебрежительной.

— Я сочиняю всякую чепуху для этих вот удавов, — он мотнул головой на обоих актеров, — а они меня душат.

Все засмеялись и потянулись чокнуться, а Мешков произнес осевшим до шопота голосом:

— Следовательно, я нахожусь в среде талантов. Разрешите в таком случае — за танты.

Он и эту рюмку выпил залпом и тотчас ощутил, будто откуда-то через уши вбежал в голову веселящий, предупреждающий ток.

— Все-таки, — уже настойчиво сказал Мешков, — с кем имею удовольствие?..

— Ах, нету вам покоя! Я Александр Пастухов. Говорит это вам что-нибудь?

Меркурий Авдеевич взялся обеими руками за край стола. Как он мог сразу не узнать в этом снисходительном лице единственного наследника Владимира Александровича Пастухова? Тот же бесовственный взгляд, та же небрежная речь, что и у отца. И даже хохоchet, как отец: прямо с серьезности — в хохот, точно взорвется что внутри. А щеки, холёные щеки, несмотря на молодость, так и скатываются книзу на подбородок. Да, да, видно все неприятное перенято сыном от родителя, и немудрено, что у Меркурия Авдеевича засосало подложечкой от неутешной обиды.

Он вспомнил, что Владимир Александрович умер его должником, не признавая долга, и что заставить его признать долг было нельзя. Дело началось еще когда Пастухов служил в Управлении дороги. Пастухов выписал требование на хозяйственные товары, которые Мешков должен был поставить дороге, и получил некоторую комиссию от поставщика, конечно, негласную. Товар был поставлен, а контроль дороги признать требование в полной сумме отказался. Мешков долго искал с дороги убытки, но безуспешно. Так как дело было проиграно, он предложил Пастухову возвратить комиссию, но, во-первых, к тому времени Пастухов ушел с дороги, а во-вторых, получение комиссии было недоказуемо, о чем он преспокойно и сказал Мешкову с глаза на глаз. Бессилие перед неблагородством поступка лишило Меркурия Авдеевича покоя. Он жил правильной, честной жизнью и мучительно требовал того же от каждого. Получение комиссии за заказ было обычным способом служащих дороги, и то, что поставщик давал деньги, а делавший заказ брал деньги, не мешало им считать друг друга людьми порядочными. Это делалось по-джентльменски, ко взаимному удовольствию, и было похоже на музыкальный бой часов, который только сопровождает течение времени, но никакого влияния на время иметь не может. Однако если бы остановился бег самого времени, то к чему было бы заниматься музыкальной игрой? Мешков так и считал, что ввиду несостоявшейся сделки, есте-

ственно должно отпасть и сопровождение ее аккомпанементом. Этого требовало именно джентльменское понимание дела. Но Пастухов совершенно лишен был таких идеальных понятий. Он находил, что коммерция есть риск, и отвечает за риск только коммерсант. И он заявил Мешкову: что вы хотите от меня, Меркурий Авдеевич? Вы хотите сказать, что я получил от вас взятку? Но я никогда не посмел бы обвинить вас в том, что вы даете взятки: я слишком уважаю вашу репутацию честного человека. И после этого он продолжал с улыбкой приветствовать Мешкова на улице, любезнейше поднося два пальца к красному околышу своей дворянской фуражки.

Вот эта улыбка и разбередила обиду Меркурия Авдеевича, едва он услышал имя — Александр Пастухов. Не выпуская из рук края стола, он сказал:

— Как же, Александр Владимирович, как же — имя ваше мне весьма знакомо. За покойным Владимиром Александровичем я число должок.

— Вы что же так говорите, — усмехнулся Пастухов, — уж не собираетесь ли получить отцовский должок с меня?

— А как вы думаете, Александр Владимирович? Хранить добрую память покойных возложено ведь на наследников.

— Самое лучшее для памяти моего отца — это если вы оставите о ней заботу.

— Единственно на вашу заботу рассчитываю, Александр Владимирович.

— Так вот к вашему сведению, — не без злости проговорил Пастухов. — Я от отца только рассохшийся шкаф получил да кресло от трех ножек. Никаких его обязательств я не принимаю, потому что ничего не наследую. Давайте выпьем за упокой его души и на том кончим.

— Нет, — ответил Меркурий Авдеевич, отстраняя свою рюмку, — нет, батюшке вашему о моем спокойствии не было дела и за его упокой кушайте без меня.

— Ну это уж вы не по-христиански! — точно обрадовавшись, воскликнул Пастухов, и с ним вместе неожиданно засмеялись его приятели.

— Не по-христиански? — хмуро сказал Меркурий Авдеевич, приподнимаясь и отодвигая ногами стул. — Христианство желает мне преподавать?

Пришла, видимо, очередь засмеяться ему, и движение его лица как будто начало улыбку, но приостановилось. Кровь помутила глаза, они выпятились из раздвинувшихся век, и в то же время навис бровей сплошным мрачным козырьком опустилась над переносицей. Заново ощутил Меркурий Авдеевич прилив горячего тока к ушам, точно хватил залпом спиртного, но в этом токе уже не было ничего веселого. Мешков знал: стоило ему поднять голос, как уже нельзя будет

удержать рвущегося наружу крика, и если попытаются остановить крик, то завопит самое сокровище в нем и непокориможивучее существо: ярость. Он удержал себя еще более пьянящим, чем этот ток, напряжением. Он не крикнул. Он удушил голос вина. Он дал языку пересбрать за стиснутыми зубами обличающие, может быть, способные кого-то уничтожить слова: — образованные господа, артисты, юристы! Вот, вот, — юристы! Он шагнул по крошечной скрипучей комнате, оглядел этих юристов — непринужденных господ, посмотрел за окно на улицу, обернулся, произнес очень тихо, чтобы только не крикнуть:

— Нет, господа... насчет христианства... я не позволяю...

Он опять взглянул в окно, стараясь перебороть себя, и, хотя взор его был застлан гневом, он увидел со странной яркостью свою дочь — Лизу, которая шла, не торопясь, в сопровождении молодого человека, да, да, молодого человека, ученика технического училища Кирилла Извекова, шла по солнечной стороне улицы, в праздничном гимназическом коричневом платье, с сиреневым бантом на груди, по форме Мариинской гимназии, шла с кавалером так, будто не существовало родительского дома, который видел ее всеми своими окнами и синими воротами, и калиткой, и замершим, остановившимся отчим взором Меркурия Авдеевича, — о боже мой, видел ее, да, видел ее, свою Лизу, гуляющей с кавалером, сыном школьной учительницы Извековой — тоже непринужденной, как эти господа, независимой, а может быть и неблагонадежной женщины — натуралистки, конечно, натуралистки! Они ведь все — натуралисты. Юристы! Дочь Меркурия Авдеевича фланировала по улицам с кавалером! — да-с, другого слова Меркурию Авдеевичу не подвернулось, и не могло подвернуться, и он отвесил с негодованием:

— Я не позволю, господа, извините, не позволю фланировать!

С этим словом он выбросился — не вышел и не выбежал, а выбросился вон, схватив котелок и трость и только на бегу пригибаясь, отдавая поклон:

— Имею честь... господа!

Пастухов живо поднялся и шагнул к окну. Он увидел, как Мешков распахнул калитку и как она захлопнулась, звякнув припрыгнувшей щеколдой.

— Вот с кого надо писать! — быстро сказал он, грубо проводя ладонью по лицу, как будто утираясь после охлаждающего умыванья.

— Так это же — не фантазия, а сама жизнь, — воскликнул Цветухин.

Пастухов чиркнул спичкой, шырнул ее в угол, не закулив, повел взглядом на мутный потолок и стены, не видя ниче-

го, а словно удаляясь за пределы низкой комнаты.

— Все равно, — проговорил он умиротворенно. — Пыль впечатлений слежалась в камень. Художнику кажется, что он волен высечь из камня то, что хочет. Он высекает только жизнь. Фантазия — это плод наблюдений.

— Значит, галахи пригодятся, согласен?

— Годится все, что нравится публике.

— А искусство, Александр?

— Сначала — публика, потом — искусство.

— Александр! Ах, Александр!

Пастухов произнес, как снисходительный наставник:

— Егор, милый, я тебя люблю! Ты чудесный провинциал!. Но пойми — потакать требуется публике. И ты ведь только потакаешь ей своими галахами... Понял?

— Очень даже, — сказал пьяненький Мефодий, — безусловно разумеется да же...

8.

Ковровая скатерть была усеяна листьями и цветами, и податливая поверхность ее напоминала песчаное речное дно под ногою, когда входящее в воду. Аночка перелистывала большую книгу, а дойдя до картинки, засовывала руку под переплет и гладила ладонью скатерть.

— У вас каждый день скатерть на столе или только по праздникам? — спросила она.

— По будням у нас другая скатерть, — ответила Вера Никандровна, улыбаясь. — Что тебе больше нравится, скатерть или картинки?

— Картинки нравятся для ума, а скатерть — трогать.

— Ты не сказала нам, почему не ходишь в училище.

— А вы спрашиваете — учишься или не учишься? Я и сказала, что не учусь.

— Ишь, какая ты точная.

— Не потому, что я точная, а потому, что про что меня спрашивают, про то я отвечаю.

— Ты наверно хорошо училась бы.

— Разве вы знаете?

— Я — учительница.

— Разве учительницы все наперед знают?

— Все, конечно, нет. Но я вижу, тебе было бы легко учиться.

— Меня мама вот той осенью, которая была перед зимой, совсем отдала в училище. А потом она захотела родить Павлика и взяла меня назад, чтобы я нянчила братика. Ведь папа на Волге зимой не работает, а мама еще больше, чем всегда, шьет. Она, знаете, чепчики, если с прошивками, продает по двугривенному, а если без прошивок, то по гривеннику. Ма-

ма меня выучила петли метать, когда чепчик делает на пуговичке, а когда на тесемках, то я умею тесемки пришивать.

Аночка перестала говорить, засмотревшись на раскрашенную картинку в полный лист книги. Вера Никандровна с сыном стояли по сторонам от нее, следя за ее лицом, переменчивым от любопытства, с приподнятой верхней губой и опущенными тяжелыми вздрагивающими веками. Она чувствовала себя непринужденно и подробно, громко вздыхая, осмотрела жилище Извековых, когда ее привел Кирилл. Подвальная квартира с чугунными коваными решетками на окнах, как у старых церквей, показалась ей чрезвычайно интересной. В большой комнате она остановилась перед книжным шкапом, и очень была удивлена, что в маленькой комнате обнаружилась еще целая горка с книгами.

— Это все читанные книги, или только так? — спросила она и, узнав, что книги есть всякие, и есть даже читанные-перечитанные, сказала:

— Мама говорит, если бы она не работала, то все время читала бы. Вы, наверно, никогда не работаете?

В обеих комнатах она сосредоточенно изучала постели, накрытые белыми одеялами, и потом утвердительно спросила:

— Наверно, там спите вы, а тут вы, да? А мы спим так: папа с мамой и с Павликом, а я — на сундучке, отдельно.

У Кирилла она пересмотрела на стенах картинки, но они ей не понравились: висели какие-то одноцветные бородастые дедушки и огромный рисунок из непонятных белых черточек на синей бумаге.

— Что это?

— Разрез парохода, — сказал Кирилл.

— Как — разрез? — удивилась она, переводя взгляд с чертежа на Кирилла и на его мать. Они засмеялись, и Кирилл спросил:

— Не веришь, что пароход можно разрезать?

Аночка отошла молча от парохода, взглянула в кухню, со вздохом покачала головой на широкую русскую печь:

— У нас в ночлежке кухни нет, а еще когда мы жили на квартире, когда я была немножко больше Павлика, мама говорит — у нас была кухня. А теперь, как Павлик родился, так мама купила керосинку и делает тюрю для Павлика или кашку. А нам с папой, когда купит на Пешке пирог с ливерком, тогда тоже разогревает на керосинке. Во всей ночлежке у нас у одних керосинка. Все как есть у нас просят, только мама ни за что не дает. И верно: на всех ведь не напасешься...

Ей предложили посмотреть книгу с картинками, она быстро села на диван, разглядела на коленях платье, показала Ве-

ре Никандровне по очереди растопыренные пятерни, переложив с одной ладони на другую полтинник:

— Чистые. Я недавно мыла.

И вытерла руки еще, для верности, об живот.

Картинка, на которую она засмотрелась, изображала улицу, забитую толпой пестро-разодетых людей, махавших руками и приплясывавших. В воздухе над ними реяли яркие зеленые, красные шары, вилась и клубилась змеями бумажные ленты; сброшенные на толпу другими людьми, с балконов больших домов.

— Они в жмурки играют? — спросила Аночка.

— Нет, это — карнавал, — ответил Кирилл.

— А почему они все завязались?

— Они не завязались. Это на них маски.

— Зачем?

— Чтобы не узнать друг друга.

— А зачем у них дырки прорезаны? Они ведь все видят.

— Все равно они узнать не могут друг друга.

— Они — артисты?

— Почему не артисты? — спросила Вера Никандровна. — Разве ты знаешь, что такое артисты?

— Знаю. Которые притворяются, — не раздумывая, ответила Аночка.

— Притворяются? И ты видела когда-нибудь артистов?

— Видела. К нам вот только-что приезжали. Один вот такой вот, черный.

Она показала пальцем на пляшущую черную маску в развевающейся накидке и вдруг фыркнула в кулачок, как школьница на уроке.

— Он подарил папе полтинник, а мы с мамой взяли да отняли у папы.

— Он тебя пожалел, а ты смеешься над ним, — сказал Кирилл, тоже посмеиваясь.

— Значит, в театре ты артистов не видела? — попыталась Вера Никандровна. — И в балаганах тоже не была, нет?

— Я у мамы просила на карусели меня сводить, она все обещает да обещает, а сама не идет.

— Кирилл, ты ведь собирался на карусели, возьми ее с собой. Когда ты идешь?

Он помедлил, одергивая складки рубашки, стягивая их за спину в сборчатый хвостик, торчавший из-под тугого пояса — как было модно у всех мальчиков.

— Я думал — завтра. Но наверно я пойду не один.

Он сказал это просто, однако. Вере Никандровне тотчас представилось, что она не хотела этого говорить, что она вмешалась в его особую жизнь, которая все заметнее начинала складываться в стороне от дома, где именно — она еще не могла уловить. Несомненно было, что Кирилл обходил разговоры, способные прояснить

ее догадки о новых его интересах, или привязанностях, или увлечениях. Она в душе гордилась, что воспитала сына на основе взаимного уважения, то-есть тем, что они не только любили, но и уважали друг друга, и в особенности, конечно, тем, что она уважала сына. В раннем детстве она внушала ему самостоятельность, незаметно подсказывая, что воля сына по своей природе не может помешать свободе матери, что желания родителей и детей естественно совпадают. Она была убеждена, что эта хитрость даст превосходный результат. И правда, Кирилл действовал всегда так, как хотел, и поэтому у него не было надобности что-нибудь скрывать. Ложь возникает там, где требуется принуждение. Она — горький плод насилия. Вера Никандровна никогда не принуждала сына к тому, чего он не хотел. И Кирилл платил ей за свою независимость полным доверием.

Такое воспитание она считала мужским и дорожила достигнутым, особенно потому, что вырастила сына без мужской помощи (отец Кирилла утонул в Волге, захваченный на лодке бурей).

Вера Никандровна понимала, что наступила зрелость: сыну пошел девятнадцатый год, он переходил в последний класс. Она понимала, что зрелость — это перемены. Она ждала перемен. Но ей никогда не приходило на ум, что с этими переменами исчезнет, скажем, откровенность. Что появление скрытности и будет переменной. Она не могла заговорить с Кириллом о том, что он неоткровенен. Ей было ясно, что такое допущение, высказанное вслух, нанесет удар зданию, которое она тщательно строила так много лет. Она делала вид, будто ничего не переменялось, но ее поразило, что Кирилл способен ко лжи и утайкам. Это обнаружилось так. У него заболели глаза. Стали краснеть веки, и краснота отличалась странным оттенком сероватого, иногда багрового цвета. Болезнь сначала напугала, потом ей нашлось объяснение, после чего она показалась уже не такой страшной — глаза были засорены, опытные люди советовали промывать их чаем в глазной ванночке. Но когда домашнее средство не помогло, пошли в лечебницу. Врач произвел полагающиеся расспросы и, между прочим, захотел знать, не имел ли большой дело со свинцом, с каким-нибудь реактивом свинца или, может быть, со свинцовой пылью. Кирилл сказал — нет, не имел, но — подумав — припомнил, что в токарной мастерской училища, действительно, занимались обработкой цинковых деталей. Доктор поглядел на него весьма пристально и спросил — какие же детали вытачиваются из цинка, он что-то не слышал, для чего? Собственно, ни для чего, с технологическими целями, для пробы инструмента на мягком металле, — ответил Кирилл и

мельком поглядел на мать, находившуюся тут же, в глазном кабинете. И по тому, как он посмотрел на нее и затем сразу отвернулся, Вера Никандровна вдруг поняла, что он солгал. Она испугалась своего открытия, тотчас решила, что заблуждается, но с того момента, как решила, что заблуждается, неволью начала следить — всегда ли сын говорит правду. Доктор определил болезнь как свинцовое отравление и высказал намерение заявить, где следует, чтобы в техническом училище получше думали о здоровье своих питомцев. Вере Никандровне почудилось, будто докторское заявление смutilo Кирилла, но тут же она увидела, что он вовсе не смущен, а расстроен болезнью, да и сама она была повергнута в страшное беспокойство об его здоровье. Болезнь благополучно прошла, а впечатление от открытия, сделанного в кабинете врача, не ушло. Сердечность отношений между матерью и сыном, конечно, не исчезла, не могла исчезнуть, но едва заметным пятном обозначилась новая пора в нерушимой близости, как обозначается конец лета первым желтым листом, еще скрытым от взора яркой зеленью.

Вот и теперь — словно закружился падающий желтый лист, напоминая, что все проходит, мелькнул, исчез, и опять, как всегда, Вера Никандровна смотрит в лицо сыну тем чистым взглядом, который говорит: я в тебя попрежнему верю и убеждена, что ты ничего от меня не таишь.

— Я пойду погуляю, — сказал Кирилл, накидывая на плечи куртку.

— Ты ведь гулял недавно.

— Я только постоял за калиткой.

Кирилл пошел из комнаты увесистыми шагами еще не сложившейся походки. Он вообще придавал своему телу видимость тяжелого, хотя оно было легко, а движения его — быстры от природы.

Он не успел выйти за дверь. Ее отворила неуверенная рука, и Парabuкин заглянул в комнату из темноты сеней. Его мягкая грива слегка шевелилась на сквозном ветерке, шаровары колыхались, как юбка, он был смутно виден и похож на великаншу.

— Кто это? Что вам надо? — забормотала Вера Никандровна.

— Папа, — вскрикнула Аночка, выпрыгивая из-за стола.

— Вон ты где хоронишься, — сказал он кротко, переступая порог. — Здравствуйте, хозяйка, извините, я — за дочкой. Что ты тут?

— Мне картинки показывают.

— Картинки? Тоже — хлеб-соль, спасибо. На-ка, возьми.

Он дал Аночке общипанный по краям бутерброд с ветчиной.

— Пойдем домой. Благодарите за гостеприимство.

— Может мы ее не пустим с вами, —

без уверенности произнесла Вера Никандровна.

— Не пустим? Кем вы будете, что к родителям ребенка не отпустить?

— Вы с ней жестоко обращаетесь. Разве можно?

— Пусть она скажет, как с ней обращаются. Спросите у нее. А? Что же вы не спрашиваете, а?

— Скажи, хочешь итти с отцом или не хочешь? — тихо и ласково проговорила Вера Никандровна.

Аночка оторвала зубами кусок калача, рот у нее был полон, она затала головой и, шлепая ступнями по полу, приблизилась к отцу. Стоя рядом с ним, она смотрела на Веру Никандровну, как на человека, которого видят впервые и не особенно хотят узнать. Парабукин торжественно притянул Аночку к себе.

— Ешь ветчину, ветчину-то ешь, — поучал он, тыкая пальцем в бутерброд, — что ты один калач кусаешь?

Он грянул гривой и закинул голову, без слов утверждая свою отчую власть, свое превосходство над чужими людьми.

— Скажи спасибо за гостеприимство, — повторил он настойчиво и вызывающе.

Тогда Вера Никандровна обрела свою учительскую строгую нотку:

— Вы говорите о правах родителя, а зачем вам нужны права? Вы свою дочь даже учиться не пускаете. Она — способная девочка, ей надо в школу.

— Благодарю покорно. Я тоже с образованием, а если что делаю не как другие, то не оттого, что глупее.

— Так вам должно быть совестно.

— Как кто захотел своим умом жить, так его совестью страшают.

— И это вы — при дочери? — ахнула Вера Никандровна. — Значит, вы своим умом решили девочку неграмотной оставить?

— А если вы такая совестливая, возьмите, научите ее грамоте.

— Возьму и научу.

— И научите.

— И научу.

Кирилл неожиданно громко рассмеялся, и его смеху сразу отозвалась Аночка, отвернувшись и заткнув ладонью рот. Взрослые увидели себя петухами и наверно заговорили бы на другой лад, если бы в этот момент не раздался детский плач и Ольга Ивановна, с Павликом на руках, не влетела бы со двора в сени и затем в комнату.

— Простите, пожалуйста, я вас очень прошу, — заговорила она на бегу, еле переводя дух, поправляя дрожащими пальцами растрепавшиеся косицы волос и моргая огромными своими выпяченными глазами, — очень прошу извинить Аночку... Я все время ее искала, куда она могла убежать?... Извините, что она не одета... И я тоже не одета... Тише, Павлик,

чш-чш-чш! Возьми его, Аночка, он у тебя утихнет... Как же ты, милая, к чужим людям, ведь это нехорошо! Ах, бедная моя... И ведь все из-за тебя, Тиша, ну как тебе не стыдно? Что это такое, что это, а?... Извините нас, мы очень вам благодарны! Я вижу — вы помирили отца с дочкой. Ах, какой стыд, Тиша...

Она не могла удержать сыпавшейся из нее речи, порываясь ко всем по очереди, испуганная и обрадованная, что, в сущности, все окончилось не так плохо, как она думала. Все глядели на нее, неподвижные и стесненные ее неудержимым чувством.

— И вы ее кормите, вы ее еще кормите бутербродами, — не унималась она, кланяясь Вере Никандровне, — спасибо вам, и пожалуйте извините всех нас. Спасибо, спасибо. Аночка, дай Павлику калачика, он перестанет кричать. Пойдемте, пойдемте...

Она начала выпроваживать за дверь дочь и мужа, оглядываясь и извиняясь. Вера Никандровна перебила ее:

— Я обещала сводить вашу дочку на карусели. Вы ничего не имете? Тогда пришлите ее завтра к нам, хорошо?

— Ах, я так благодарна, так благодарна, — рассыпалась Ольга Ивановна.

Извековы вышли их проводить. Парабукин, неловкий и будто растерявшийся, на прощанье спросил у Кирилла с детской любознательностью:

— Вы давеча и правда стали бы драться со мной, у калитки?

— Если бы полезли, конечно стал бы.

— Чудак, молодой человек! Да ведь я на пристани тужи по двенадцати пудов таскаю. Рояль один на спине держу.

— Ну что же, — пожал плечами Кирилл, — в своем доме стены помогают. Справился бы как-нибудь...

Он усмехнулся и стал глядеть, как растянулось через двор странное шествие: девочка с кричащим младенцем на руках, огромный, рыхлый Самсон следом за нею и позади — маленькая быстрая женщина, которая все говорила, говорила, говорила.

— Удивительная семья, — сказала Вера Никандровна.

— Да, правда, удивительная, — ответил он. — Так я пойду погуляю.

— Пойди, погуляй.

И так же, как они вдвоем глядели за Парабукиными, так она одна смотрела теперь вслед сыну, пока он переходил двор, постоял в калитке, раздвинув локти, и пока не исчез на улице.

Неужели он все-таки мог от нее утаивать что-нибудь?

В городе был большой бульвар с двумя цветниками и с английским сквером, с павильоном, где кушали мельхиоровыми ло-

жечками мороженое, с домиком, в котором пили кумыс и yogurt. Аллеи, засаженные сиренями и липами, вязами и тополями, вели к деревянной эстраде, построенной в виде раковины. По воскресеньям в раковине играл полковой оркестр. Весь город ходил сюда гулять, все сословия, все возрасты. Только у каждого возраста и каждого сословия было свое время для посещения бульвара и свое место, приличное для одних и недопустимое для других. Бульвар назывался Липками, и под этим именем входил в биографию любого горожанина, как бы велик или мал он ни был. В новом цветнике, открытом со всех сторон солнцу, слышались пронзительные крики: «гори-гори ясно, чтобы не погасло» и стрекотание неутомимых языков: «вам барыня прислала туалет, в туалете — сто рублей, что хотите, то купите, черно с белым не берите, да и нет не говорите, что желаете купить?» В английский смекере, после заката, упиваясь густым дурманящим ароматом табака, безмолвно сидели дамы с зонтиками и серьезные мужчины, в чесучевых кителях, читающие романы Амфитеатрова. По утрам кумысный домик привлекал людей со слабыми легкими, и пятна солнца, прозвываясь сквозь листву на столики, освещали около недопитых стаканов неподвижно лежащие бледные длиннопалые руки. На праздники являлись послушать военную музыку приказчики, мастеровые и толпою стояли перед раковинной, аплодируя, крича «бис», когда оркестр сыграет марш «Железнодорожный поезд». В аллеях продвигались медленными встречными потоками гуляющие пары, зажатые друг другом, шифуя подошвами дорожки и наблюдая, как откупоривают в павильонах лимонад, как роится мошкара под газовыми фонарями и дымчато колышется поднятая с земли пудра пыли.

Нет, не здесь встречались Лиза и Кирилл. В городе был другой бульвар — маленький прямоугольник зелени в переулке, недалеко от волжского берега. Тут тоже теснились подстриженные акации у деревянной ограды, и сирени переплетали жгуты своих стволов, напоминавшие обнаженные мышцы, и росли вязы и старились липы. Но тут не продавали мороженого и не было павильонов, не играл оркестр и не пили кумыса. Тут обреталась одна сторожка с мусорным ящиком в форме пианино, к которому сторож прислонял метлу и пару лодочных весел, да было врыто несколько низеньких зеленых скамеек вдоль единственной аллеи, пронзившей бульвар из конца в конец воздушной стрелою. Бульвар носил общеизвестное в городе прозвище — Собачьи Липки, и в его тень заглядывали только случайные прохожие — помахать перед носом фуражкой или платочком, вытереть

лысину, передохнуть и — шагать дальше по своим житейским делам.

Собачьи Липки вошли в историю Лизы и Кирилла так, как большие, настоящие Липки входили в истории множества молодых людей — незабвенным, почти роковым обозначением самых дорогих переживаний на пороге юности. Здесь, когда ни Лизе, ни Кириллу еще не исполнилось шестнадцати лет, он передал ей первую записку, сочиненную на чердаке училища, где гнездились голуби, под хлопьями крыльев этих домовитых птиц, при дневном свете слухового окна. В записке трепетало его сокровенное чувство, но если бы ее прочел преподаватель словесности, раскрылась бы другая тайна: перед тем, как забраться на чердак, с бумагой, пером и чернильницей, он только что кончил читать «Героя нашего времени», и записка к Лизе по словам получилась не менее трагичной, чем прощальное письмо Веры к Печорину, а по смыслу она была полна солнечных надежд. Она была передана Кириллом при расставании, из ладони в ладонь, и Лиза спросила в испуге:

— Что это?

— Записка, — сказал Кирилл, чуть слышно.

— Кому?

— Вам.

— Зачем?

— Прочтите дома, — едва выговорил он, боясь, что она ее не возьмет.

Но она покраснела, сунула записку под передник, на грудь, и убежала, а он стоял, дыша, как наслу вынырнувший из воды человек.

Они не встречались очень долго, а когда опять встретились, Лиза отдала ему записку назад и проговорила с гневом:

— Как вы смели... как вы смели написать мне «на ты»! Перепишите всё «на вы»!..

Теперь, спустя два года, он стал уже настолько взрослым, что улыбался, вспоминая историю с запиской, но тогда требование рассерженной Лизы пробудило в нем небывалую ответственность, и он старательно исполнил его — переписал свое признание «на вы».

В то первое лето их встреч они открыли в Собачьих Липках свою особую аллею — между зарослями старых сиреней и стеною акаций — узенькую тропу, сокрытую даже от глаз сторожа. Здесь Кирилл впервые взял руку Лизы, и она не отняла ее, и они начали ходить по своей аллее, волнуясь от этих робких прикосновений друг к другу, обрадованные и счастливые. Здесь, в конце лета, Лиза выговорила слово, возмущившее ее в начале лета, едва она увидела его написанным на клочке бумаги: — ты. Здесь, на другое лето, Кирилл сорвал распутившийся султан белой сирени и, осторожно приложив

его к груди Лизы, рядом с ее гимназическим бантом, сказал, что к коричневому платью очень идет белый цвет. И когда Лиза брала сирень, она прижала его пальцы к своей маленькой груди, и оба они секунду стояли, как оглушенные. А потом она спрятала султан под передник, чтобы не попасться сторожу.

У них была излюбленная скамейка в дальнем конце аллеи, за сторожкой. Они вели там рассуждения по очень спорным вопросам, например: является ли совесть абсолютным понятием или бывают разные совести, допустим — совесть нищих, совесть гимназистов и техников, совесть женщин и мужчин. Да и вообще не выдумка ли это — совесть, — вдруг сомневался Кирилл. И Лиза шопотом возражала:

— Ты с ума сошел! Когда человек краснеет, ему же ведь совестно...

— Нет, я говорю философски.

— И я говорю философски. Раз кровь бросается в лицо или ты не можешь спать от раскаяния, значит что-то существует? Это «что-то» есть совесть.

— Ну, если раскаяние—это функция...— говорил он, задумываясь, и разговор терлся в дебрях отвлеченностей, как уплывающие в туман паруса.

Чаще говорилось о том, что станет, когда они будут вместе. Это так и называлось, из года в год: когда мы будем вместе. Каждый подразумевал под этим что хотел, но оба думали, что прекрасно понимают друг друга. Им вообще казалось, что они все знают друг о друге и давно-давно живут один для другого. Оба они скрывали свои встречи от домашних, Кирилл — потому что находил, что мать не требует отчета в его личных делах, Лиза — потому что боялась отца.

Но в третье лето, или, вернее—с приходом третьей весны, они обсудили самый важный вопрос — пора ли открыть тайну? Лиза кончала гимназию, Кириллу оставалось учиться год, они уже видели себя студентами, в маленьких комнатах, или может быть — неужели? — в одной комнате, где-то в Москве. Решено было, что Лиза сначала признается матери. Это будет ничуть не страшно: во-первых, Валерия Ивановна кое-что уже подозревает, во-вторых, она так добра и, значит, в-третьих, она подготавливает к новости Меркурия Авдеевича. Кириллу не составит никакой трудности объявить обо всем Вере Никандровне.

— Я просто поставлю ее в известность, — сказал он даже слегка небрежно.

— Тебе вообще легко, — заметила Лиза, — ты ведь и тайну легко держал. А я все время мучаюсь ею. Ведь это все равно, что говорить неправду.

— Огромная разница! — решительно возразил он. — В первом случае молчишь, а во втором говоришь.

— По-моему — все равно: молчать о правде или говорить неправду... Скажи ты мог бы скрыть от меня правду?

— Н-ну... если это ради какой-нибудь очень важной цели... наверно мог бы.

— А сказать неправду?

— Почему ты спрашиваешь?

— Нет, скажи.

— Солгать? Разве я тебе когда-нибудь лгал?

— Никогда! — негодуяще сказала Лиза но тут же вкрадчивым голосом спросила: — и не будешь?

— Почему ты спрашиваешь? — уже с обидой повторил он.

— Так просто, — ответила она почти нехотя и, немного помолчав, заговорила словно о чем-то совершенно отдаленном:

— Ты с Петром Петровичем знаком?

Кирилл вдруг сбился с шага, быстро взглянул на нее, отвел глаза и пошел медленнее.

Разговор происходил на улице, в тот день, который они назвали днем Независимости. Кирилл увидел Лизу возвращавшейся поутру домой от обедни, подошел к ней, и это было так неожиданно, смело и весело, что они внезапно приняли три решения: провозгласить день Независимости; пройти в тот же день открыто по улице мимо дома Мешковых; а на другой день, в честь Независимости, отправиться вдвоем на карусели. У Лизы стучало сердце, когда они — нарочно неторопливо, нога в ногу шагали по улице, где всякий кирпичик на тротуаре и всякий сучок в заборе был ей знаком и где стоял ее родной дом. Она все ждала — вот-вот ее окликнет голос отца, неумолимо-строгий голос, звук которого мог повернуть ее судьбу, и она была уверена, что добрый глаз матери, наполненный слезою, горько глядит за ней из окна. И ей было страшно и стыдно. Но они прошли мимо дома и ничего не случилось. И так же чинно шествуя по улице, Кирилл рассказал Лизе про случай с Аночкой, про знакомство с Цветухиным, и потом они обсудили, как лучше открыть дома тайну, и начали разговор о правде и неправде, и Кирилл вдруг сбился с шага.

— Какой это Петр Петрович? — по виду спокойно отозвался он на ее вопрос.

— Рагозин, — сказала Лиза.

— Да, — ответил он безразлично, — знаком. Так, как мы все знакомы с соседями по кварталу. Кланяемся.

— Ты у него не бываешь?

— Зачем мне бывать?

— Вот и солгал! — торжествуя и пораженно воскликнула Лиза.

— Нет, — сказал он жестко, еще больше замедляя шаг.

— Я вижу по лицу! Ты победил! Что ты скрываешь? Я знаю, что ты у него был.

— Вот еще, — упрямо проговорил он. — Откуда ты взяла?

— А ты заходил на наш двор с толпой мальчишек? Помнишь, на второй день пасхи, когда к нам пришла болгарин с обезьянкой и с органчиком и привел за собой целую толпу зевак, помнишь?

— Ну, и что же — заходил. Посмотрел на обезьянку и ушел. Я даже, если хочешь, заходил больше, чтобы на твои окна посмотреть, может быть, думал, тебя увижу, а вовсе не из-за обезьянки. Нужна мне обезьянка!

— Вот и неправда. Еще больше неправда. Я стояла в окне и смотрела на представление. Могу тебе рассказать, что делала обезьянка, все по порядку. Сначала она показывала, как барыня под зонтиком гуляет, потом — как баба за водой ходит, потом — как пьяный мужик под забором валяется...

— Я вижу, ты все на обезьянку смотрела. Немудрено, что меня потеряла, — усмехнулся Кирилл.

— Я тебя отлично видела, пока ты стояла позади толпы. А вот ты ни разу не подняла голову на окно. Ни разу! Иначе ты меня увидел бы. Меня позвали дома на минутку, я отошла от окна, а когда вернулась, тебя уже не было.

— Надоело смотреть на ломанье, я и ушел.

— Куда?

— На улицу, домой.

— Я сейчас же побежала посмотреть на улицу, тебя не было. Ты исчез, не уходя со двора. Куда же ты делся? Можно было уйти только к Рагозину.

— Ну, Лиза, причем тут Рагозин? — повеселев, улыбнулся Кирилл, и его нежность смягчила ее. Успокоенная, но с оттенком разочарования, она вздохнула:

— Все-таки я убедилась, ты можешь скрыть от меня правду.

— Я сказал — бывает правда, которую не надо говорить.

— Как, — опять воскликнула Лиза, — может ли быть две правды? Которую надо и которую не надо говорить?

Она резко повернулась к нему, и так как они как раз заходили в Собачьи Липки, то перед ней, как на перевернутой страничке книги, открылась улица, пустынная улица, по которой шел единственный человек, и она узнала этого единственного человека мгновенно:

— Отец! — шепнула она, забыв сразу все, о чем говорила.

Она вошла в ворота бульвара, потеряв всю гибкость тела, залубеневшая в своем форменном платье, вытянувшаяся в струнку. Но тотчас она бросилась в сирени, густыми зарослями обнимавшие аллею.

— Тихо! — строго произнес Кирилл, стараясь не побежать за нею.

— Тихо, Лиза! Помни — день Независимости!

Он подтянул на плечо сползавшую куртку, которую с весны носил внакидку, что отличало мужественных взрослых техников от гимназистов, реалистов, коммерсантов, и медленно скрылся там, где шумела, похрустывала тревожно раздвигаемая Лизой листва.

Когда Меркурий Авдеевич подошел к бульвару, аллея была пуста. Он сразу повернул назад. Вымеривая улицу непреклонными шагами, вдавливая каблуки и трость в землю, как будто любую секунду готовый остановиться и прочно стоять там, где заставит необходимость, он слушал и слушал возмущенным воображением, что скажет, придя домой, жене, Валерии Ивановне. Он скажет:

— Потворщица! Что же ты смотришь? Когда бы дочь твоя фланировала с кавалерами в Липках, на большом бульваре — была б беда, да не было б стыда! Кто не знает, что Липки есть прибежище легкомыслия и распушенности? Но Липки-то общественное место. Там шлятют не одни ловеласы, там найдешь и приличного посетителя. Туда даже чахоточные ходят, за здоровьем, не только-голь-шмоль и компания. А что такое Собачьи Липки? Как этакое слово при скромном человеке выговорить? Кусты — вот что такое твои Собачьи Липки! Кусты и больше ничего! И в кустах прячется с мальчишкой срамница твоя Елизавета. Вот какое ты сокровище вырастила своим потворством. Нет у твоей дочери ни стыда, ни совести!

Так Меркурий Авдеевич и скажет: нет у дочери ни стыда, нет у нее ни совести! Нет.

10.

Блестящее сединой огромное кучевое облако падает с неба на землю, а ветер свистит ему навстречу — с земли на небо: это льялка перекидных качелей взвизывает наверх и потом несется книзу — ух! ух! плещутся девичьи визги, вопят гармони, голоса парни:

Плыл я верхом, плыл я низом,
У Мотани дом с карнизом...

Барабаны подгоняют самозабвенное кручение каруселей, шарманчики давно оглохли, звонки балаганов сияются перезвонить друг друга — площадь рычит, ревет, рокочет, кромсая воздух и увлекая толпу в далекий мир, где все подкрашено, все поддельно, все придумано, в мир, которого нет и который существует тем прочнее, чем меньше похож на жизнь.

Паноптикум, где лежит восковая Клеопатра, и живая змейка то припадет к ее сахарной вздымающейся груди, то отстранится. Панорама, показывающая потопление отважного крейсера в пучине океа-

на, и в самой пучине океана — надпись: «Наверх вы, товарищи, все по местам, — последний парад наступает! Врагу не сдастся наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!» Кабинет «Женщины-паука» и кабинет «Женщины-рыбы». Балаган с полугаем, силачом и балериной. Балаган с усекновением, на глазах публики, головы черного корсара. Балаган с танцующими болонками и пуделями. Театр превращений или трансформации мужчин в женщин, а также обратно. Театр лилипутов. Дрессированный шотландский пони. Человек-аквариум. Хиромант, или предсказатель прошлого, настоящего и будущего. Американский биоскоп. Оранг-утан. Факир. Все эти чудеса спрятаны в таинственных глубинах — за вывесками, холстинами, свежим тесом, но небольшими частицами — из форточек, с помостов и крылец — показываются для завлечения зрителя, и народ роится перед зазывалами, медленно передвигаясь от балагана к балагану и подолгу рассчитывая, на что истратить заветные пятаки — на Клеопатру, крейсер или оранг-утана?

В народе топчутся разносчики с гигантскими стеклянными графинами на плечах, наполненными болтающимися в огне солнца ядовито-желтыми и оранжево-алыми питьями. Подпоясанные мокрыми полотенцами, за которые заткнуты клейкие кружки, они покрикивают тенорками: «прохладительное, усладительное, лимонное, апельсинное!» А им откликаются из разных углов квасники и мороженщики, пирожники и пряничники, и голоса снуют челноками, прорезывая шум гулянья, поверх фуражек, платков, шляп и козынок. Сквозь мирный покров пыли, простирающийся над этим бесцельным столпотворением, здания площади кажутся затянутыми дымкой, и Кирилла оглядывается на все четыре стороны и видит за дымкой — казармы, махорочную фабрику, тюрьму, университет. Ему уже хочется отвлечься от пестроты впечатлений, он выводит Лизу из толчи, они останавливаются перед повозками мороженщиков, и он спрашивает:

— Ты какое будешь — земляничное или крем-брюле?

Они берут «смесь», и он, ловя костяной ложечкой ускользающие по блюдцу шарики мороженого, говорит:

— Я помню, что тут делалось, когда я был маленький. Знаешь, осенью здесь топили извозчики. Лошадей вытаскивали из грязи на лямках. А весной пылица носилась такая, что балагана от балагана не увидишь. Каруселей было куда больше, чем сейчас. Меня еще отец водил сюда, сколько лет назад. Давно...

— Ты не любишь размять мороженое? — спросила Лиза, — оно тогда вкуснее.

— Нет, я люблю твердое.

— Ну что ты! Когда оно подтает, оно такое маслянистое.

— Это университет прижал балаганы в самый угол, — сказал Кирилла. — Он скоро совсем вытеснит отсюда гулянья. Может, мы с тобой на последних каруселях. Тебе нравится здание университета? Да? И мне тоже. Оно такое свободное. Ты знаешь, его корпуса разрастутся, перейдут через трамвайную линию, вытеснят с площади карусели, потом казармы, потом тюрьму...

— Что ты? — сказала Лиза, — тюрьму никогда не вытеснят.

— А я думаю — да. Смотри, как все движется, все вперед и вперед. Ведь недавно мы с тобой на конке ездили. А теперь уже привыкли к трамваю. И не замечаем, что в пять раз быстрее. И живем уже в университетском городе. И может быть не успеем оглянуться, как не будет никаких казарм, никаких тюрем...

— Совсем?

— Совсем.

— Нет, — опять возразила Лиза, — это называется утопией.

— Я знаю, что это называется утопией. Но я сам слышал, как у нас спорили, что мы никогда не дождемся университета. А все произошло так скоро. Ведь верно?.. Давай еще съедим шоколадного и сливочного, хорошо?

— Балаганов будет жалко, если их задушит университет, — сказала Лиза.

— Университет ничего не душит. Он будет посадить свободу, — произнес Кирилла, подвинувшись к Лизе.

Она посмотрела на белые стены тюрьмы долгим грустным, немного влажным взором и, машинально разминая мороженое, спросила:

— Почему у одного здания на окнах решетки, а у другого какие-то кошелки?

Он убавил голос насколько мог.

— С кошелками это каторжная тюрьма. Там больше — политические. Свет к ним проходит, а они ничего не видят, только кусочек неба, если стоят под самым окном. А с решетками — обыкновенный острог. В девятьсот пятом году я видел, как через решетки махали красными платками. У тебя есть знакомые политические?

— Нет. Я очень боялась бы.

— Боялась? — не то с удивлением, не то обиженно переспросил он.

— Я наверно показала бы такому человеку несмысленным.

— Почему? Ты могла бы говорить о чем захотела. Все равно как со мной.

— Что за сравнение? Я не могла бы ни с кем говорить, как с тобой. А у тебя разве есть такие знакомые?

— Есть, — ответил он, озираясь. — У меня есть.

— Рагозин? — спросила она быстро.

— Фамилии в таких разговорах не называют.

Ей показалось, он произнес это с некоторой важностью, и, промолчав, она опустила глаза в тарелочку. Мороженое уже растаяло на солнце.

— Я не хочу больше, — сказала она.

— Ты ведь любишь такую размазню.

— Но теперь я не хочу.

Они расплатились с мороженщиком. Незаметно их снова втянул упрямый людской вал, откатывая от одного балагана к другому, и, чтобы народ не разделил их, они взялись за руки.

— Если гуляний не будет, все-таки жалко, — заговорила Лиза.

— Главное в движении, — отозвался он в тот момент, как их остановила толпа перед балаганом, где представлялось усекновение головы черного корсара королем португальским.

Их сдавили со всех сторон жаркие, разгоренные тела и, повернув Лизу лицом к Кириллу, прижали ее к нему так, что она не могла шевельнуть пальцем. Она разглядела в необыкновенной близости его темные прямые брови и булабочные головки пота над ними и над верхней прямой и смелой губой. Он был серьезен, и ей стало смешно.

— Да, главное в движении, — повторила она за ним, еще пристальнее рассматривая его губы. — У тебя — усы. Я только сейчас вижу.

Он сказал, не замечая ее улыбки, почти строго:

— Все движется. Когда исчезнут балаганы, народ пойдет в театры.

— Ну, театр — совсем другое! Я страшно люблю театр. Так люблю, что отдала бы за него все.

— Зачем? — спросил Кирилл еще строго.

— Чтобы быть в театре.

— Играть?

— Да.

— Ты мне никогда не говорила.

— Все равно этого не будет, это только так, фантазия, — сказала она, вздохнув, и он ощутил ее горячее и легкое дыхание, овевшее все его лицо и чуть напомнившее запах молока.

Так же, как она, он рассматривал ее близко-близко. Каждая ресничка ее была видна в отдельности, зеленовато-голубой цвет ее глаз был чист и мягок, подбородок, слегка вздрогнувший — нежен, волосы тонки, слишком тонки и полны воздуха. Она жмурилась от солнца и откидывала голову чуть-чуть назад, чтобы лучше видеть его, а он так хорошо, так ясно видел ее. Она постаралась высвободить свои руки, а он нарочно держал их и был доволен, что толпа продолжала давить колышась.

— Ты не похожа на актрису, — сказал он.

— А какие актрисы?

— Другие. Ты лучше.

Ей удалось повернуться, им обоим хорошо стал виден балаган. Раздвигая холщевые занавеси входа, оттуда неожиданно пошел народ, шурясь после темноты и нажимая на толпу. Вспокоенный колокол, подвешенный на деревянную гяголь, забил к началу нового представления, и на высоком помосте, как на эшафоте, показался португальский король. Облаченный в парчевый кафтан, с короной на мочальных волосах, заплетенных в косицу, он воссел на трон, под самый колокол. Заложив ногу на ногу — в белых нитяных чулках и в золоченых туфлях с загнутыми ми-по-татарски носочками — он высморкался в красный платок и начал неспеша обтирать мокрую шею. У него была борода в виде кубика, отклеившаяся с одного бока, и на щеках — румянцы, как китайские яблочки.

Едва притих колокол, из народа крикнул кто-то:

— Пал Захарыч, ну, как?

Павел Захарович, в ситцевой рубашке и в картузе, сразу нашел окликавшего и бурно заработал локтями, стараясь выплыть из толпы, которая уже видела казнь корсара, и вплыть в толпу, которая казни не видела.

— Оттяпали, — с удовольствием и певуче проголосил он, так что все люди вокруг обернулись и стали его слушать. — Оттяпали начисто! Кровищи-и-и, ми-лый мой! Палач, заплечный мастер, кудри его буйные вот так вот на руку намотал и секирой по шее ка-ак маханет! — так башка начисто! И он ее в корзинку — швырк, она так, брат, на дно — стук, точно колода, и тело без головы рухнуло и боле не встало. Оборвата веселая жизнь, конец, значит, отгулялась! Палач перчаточки скидывает и — в корзинку их, следом за башкой. И ручки обтер — я, мол, не при чем, мне что прикажут. А король...

Тут Павел Захарович погрозил пальцем на короля португальского, и толпа разом обратила головы, следуя его жесту.

— Вон тот, сидит в короне — он и носом не повел: приказал казнить разбойника и своего слова царского не переменял ни на малость. Глядит, ехидна, как вольная кровушка с секиры на землю капает и хоть бы что... Эх, брат! Поди сам посмотри, право. Не пожалеешь, ей богу, право...

Колокол опять забил всполох, и на помост перед народом вышел усатый палач в красном хитоне по колена, в цилиндре и стал обок с королем. Народ волной перевалился ближе к помосту.

В эту минуту Лиза увидела Веру Никандровну, появившуюся с толпой из балагана. Тотчас вспомнив отца и то, что он ни слова пока не сказал о вчерашнем, и

что еще предстоит самое тягостное, она почувствовала тоскливую боль, тихо наплавшую к сердцу. Она не могла ничего выговорить и предупреждающе сжала руку Кирилла, но он неверно понял и ответил благодарным пожатием. Никуда нельзя было уйти в этой давке от разговора, о котором Лиза старалась не думать. Не сводя глаз с Веры Никандровны, она, наконец, сообразила, что та видит их тоже и прибирается к ним.

Кирилл вдруг обрадовался:

— Вот мама. Как хорошо. Сейчас я тебя представлю.

Вера Никандровна была не одна — она вела Аночку, приглаженную и праздничную, стараясь защитить ее от толкотни. Уже до того, как Кирилл произнес: это — Лиза, познакомься, — Вера Никандровна смотрела на нее тем всевидящим, безжалостным и стремительным взглядом, каким глядят только матери, осматривая девушку, которая может все пошатнуть и перевернуть в судьбе сына. Лиза вспыхнула, похорошела от смущения, но оно не длилось и минуты, потому что немедленно завязанный разговор ступшевал мысли, волновавшие всех, кроме Аночки. Присутствие ее оказалось очень к месту, отвлекая на себя общее внимание.

— Понравилось тебе? — спросил ее Кирилл.

Она ничего не могла ответить: в глазах ее еще темнела только что покинутый сумрак, подсвеченный желтыми, мигающими огнями, и в огнях ей продолжали чудиться страшные, бесшумные люди, как в ночном видении. Их жизнь — в этих огнях — летела так быстро и в то же время была так странно-медленна, что Аночка могла бы повторить каждый шаг палача, каждый вздох корсара, каждое мановение короля. Они были величавы и грозны. Могла ли она ответить на вопрос — понравилась ли она ей? Они подавили ее.

— Она даже закричала, когда разбойнику отрубили голову, — сказала Вера Никандровна. — Я раскаиваюсь, что повела ее в этот ужасный балаган. Ей было очень страшно. Но она так просила, что нельзя было устоять.

— Нет, нет! Не раскаивайтесь! — вскрикнула Аночка, схватив за руки Веру Никандровну и прижимаясь к ней. — Мне не страшно, правда, правда. Я ни капельки не боялась.

Она вздрагивала, рот ее непрерывно двигался, она то облизывала, то кусала губы.

— Конечно, Аночка, нечего бояться, — сказал Кирилл, — ты ведь знаешь, что это все нарочно.

— Нет, не нарочно, а по-правдышному, — решительно ответила Аночка.

— Ничего не по-правдышному. Что же ты думаешь, корсару на самом деле голо-

ву отрубили? И кровь-то не настоящая льется, а из клюквы.

— Нет, не из клюквы.

— А из чего же?

— Из крови.

— Ну, ты совсем маленькая.

— Нет, не маненькая. Там большие си- дели и все поверили. Потому что правда Там и артисты были, которые к нам вчера приезжали.

— Да, — сказала Вера Никандровна, — Цветухин сидел рядом с нами. И, знаешь, Кирилл, очень аплодировал. Я уж удивлялась — неужели ему может понравиться?

— Вон он выходит, — перебил ее сын выпрямившись, словно боясь, что его могут не заметить.

Цветухин держал под руку Пастухова который хохотал и отряхивал белый костюм, — они оба были в белом с ног до головы и очень выделялись из толпы, особенно — панамы с желтой у одного и оранжевой у другого ленточками. Они выходили последними и не вместе с публикой, а из какой-то занавешенной лазейки, откуда являлись на помост лицедеи. Народ уже рассеялся и клубился кучей только перед королем и палачом, разглядывая их облачения и секиру, с запекшими следами чего-то красного на изогнутом лезвии. Оттесненные этой кучей за вав, Цветухин с Пастуховым остановились перед Извековыми. Кирилл снял фуражку, Цветухин поздоровался с ним, узнал Аночку, похлопал по плечу:

— Вчерашняя знакомая, Александр, узнаешь? Вси, я вижу, подружился? — сказал он Кириллу.

— Да. Это моя мама, позвольте представить. Это — Лиза Мешкова. Вас я не называю, потому что вы всем известны.

— Мешкова? Дочь того Мешкова? Меркурия Авдеевича? — спросил Цветухин.

— Да, — чуть слышно вздохнула Лиза.

— Александр, — дочь того Мешкова, — сказал Цветухин.

Пастухов, подавая руку, продолжал отряхиваться и оглядывать свой костюм. Он обратился ко всем сразу, как к давнишним приятелям, на которых можно и не обращать внимания, разговаривая:

— Ходили смотреть эшафот. Чудовищная машина, скажу вам. Чорт знает что. Перемазались в клюкве, живого места не осталось. Ужас, что такое!

— Слышишь, Аночка. Я говорил, — никакой крови нет, а есть клюква, — сказал Кирилл.

Аночка косилась на Пастухова почти враждебно. Он помигал на нее, перевел глаза на Кирилла, проговорил с поучением:

— Никакой клюквы, молодой человек, да будет вам известно. Самая настоящая пиратская кровь, пролитая настоящим палачом его величества. Ты права, девочка.

Это только называют клюквой кровь, чтобы не было чересчур страшно.

Он взял Аночку за подбородок.

— Смотри, Егор, — лицо. Сирена. Женщина-рыба, ха!

— Мы видели женщину-рыбу, — с выражением превосходства похвалилась Аночка, уверенная, что над ней никому не удастся пошутить.

— Ну, хочешь сделаться рыбой? — спросил Пастухов.

— Вы противоречите себе, — произнес Кирилл сухоовато. — Если кровь настоящая, то и сирена настоящая. Как же можно Аночку превратить в сирену?

— Вы полагаете? — серьезно спросил Пастухов, и тогда Кирилл продолжал с достоинством:

— Конечно. Но ведь всем же известно, что эти фокусы основаны на игре зеркал...

— Да? — еще серьезнее сказал Пастухов и потом, помолчав, внезапно, на свой лад, захохотал, вытер ладонью лицо и уже небрежно, процеживая сквозь зубы слова, вымолвил:

— Советую вам, молодой человек, бросить всё разъедающий скепсис. Излишний рационализм, говоря научно, вот что это такое. Я верю в то, что показывают с подмостков. Верю, что женщин можно превращать и в рыб, и во что угодно. Хотите стать женщиной-рыбой? — вдруг улыбаясь, повернулся он к Лизе.

— По темпераменту — нет, — ответила она, загоревшись.

Все посмотрели на нее. Краска еще больше разлилась по ее лицу, она увидела, что Кирилл тоже вспыхнул, и заторопилась поправиться.

— Я просто вспомнила, что одну подругу в нашем классе прозвали Карасихой за ее флегматичный темперамент. Я же совсем не флегма, правда, Кирилл? И уж если превращаться, то во что-нибудь другое.

— В паука хотите? — деловито предложил Пастухов.

Всем стало весело. Вера Никандровна почувствовала прилив гордости за сына и расположения к Лизе, как будто он выдержал важный экзамен, а Лиза помогла ему в этом.

— Вам, правда, понравилась пантомима? — улыбнулась она Цветухину.

— Очень. Я в восторге от корсара, особенно, когда он, перед тем, как войти на эшафот, отказался просить о помиловании. Как он сыграл! Чудо!

Цветухин ударил себя в грудь, показал яна ноги, в землю, поднес руку к лицу Пастухова и указательным пальцем поводил у него под самым носом из стороны в сторону. Это означало: ты хочешь, португальское твоё величество, чтобы я встал перед тобой на колени? — шалишь!

Король увидел со своего помоста игру Цветухина, взглянул на палача, они оба засмеялись, и кто-то из толпы сказал: — смотри, тоже артисты!

— А вы в котором балагане представляете? — спросила Аночка.

— Я? — под общий смех воскликнула Цветухин. — Я представляю в самом большом балагане. Подрастешь, приходи смотреть.

— Вы — разбойник?

— Страшный разбойник. Меня все бьется.

— Я не боюсь, — сказала Аночка, поднимая голову.

Цветухин обнял ее. Говоря с ней, он все время глядел на Лизу. Что-то общее казалось ему в том, как они слушали его. Только в Аночке было больше недоверия, в Лизе — трепетного любопытства.

— Вы любите театр? — вдруг спросил он у нее.

— Очень, — опять чуть слышно сказала она, ей было кривтно, что колокол, вновь ударивший свой отчаянный набат, почти заглушил ее ответ. Как будто ожидая, что она повторит его, Цветухин шагнул к ней и произнес громко, но так, что едва ли кто-нибудь слышал, кроме нее:

— Будете в театре, заходите ко мне. Прямо — за кулисы.

Она не ответила.

Пастухов тронул его за локоть:

— Пойдем. Мы решили с ним обойти все балаганы, — добавил он, начиная протастья.

Когда они отошли, Цветухин спросил:

— Заметил, Александр, как она опускает глаза?

— Девочка?

— Не девочка, а девушка.

Пастухов промолчал. Пройдя несколько шагов, Цветухин оборотился назад. В толпе уже не видно было ни Лизы, ни Извековых.

— Прекрасная девушка, — сказал Цветухин.

Пастухов сделал вид, что не слышит.

— Правда, говорю я, какая чудесная девушка, эта Мешкова?

Пастухов помигивал на встречных квасников, лотошников, балаганных зазывал. Вдруг он остановил Цветухина и, не говоря ни слова, ткнул пальцем в вывеску. На вывеске было изображен черный пудель на задних лапах, с тростью и белыми перчатками в зубах.

— Понял?

— Что?

— Понял, что это такое?

— Ну, что? Кобель с тросточкой.

— Так вот это ты и есть, — сказал Пастухов убежденно.

Они покосились друг на друга и оба улыбнулись, Цветухин — с беглым оттенком растерянности.

11.

В октябре девятьсот пятого года, во время еврейского погрома Петр Рагозин был взят полицией на улице с группой боевой дружины, стрелявшей по громилам. При аресте никакого оружия у него не оказалось, но угодливый свидетель утверждал, что Рагозин стрелял и ранил в толпе ломового извозчика. Однако принадлежность арестованного к боевой дружине доказана быть не могла. Продержав Рагозина год в тюрьме, его отправили — за участие в уличных беспорядках — на три года в ссылку.

В тот день, когда он уходил с этапом, умер от скарлатины его двухлетний сын, но он об этом узнал не скоро. Его жена, маленькая женщина — Ксения Афанасьевна, или Ксана — беленькая с приподнятыми бровками и точеным носиком, с острыми локотками и узко вытянутыми, как челнок, кистями рук, рядом с Петром Петровичем могла сойти за его дочь. Он был ширококостный, сухой. На длинных слегка покривленных его ногах громоздилось объемистое туловище с большим наклоном вперед, так что казалось, будто оно того и гляди свалится с ног наземь. В момент ареста он был лет тридцати, но его большое лицо в плотной щетинке русой бороды и с усиками колючком, играло доброй, все понимающей безмолвной улыбкой, какая встречается у бывалых, умудренных возрастом людей, так что ему давали и за сорок. Переваливаясь рядом со своей Ксаной, он родительски оберегал ее наклоненным своим корпусом, и она принимала эту защиту естественно, как существо слабое, хрупкое. Улица любила глазеть на них, посмеиваясь и бормоча рагозинское прозвище: Вавилонское колесо, либо просто — Вавилон. Посмеивание это утратило всякую язвительность, а сделалось трогательным, когда у Ксаны появился ребенок и по праздникам Петр Петрович, больше прежнего клонясь вперед и ступая на цыпочки, начал носить его, завернутого в стеганое лоскутное одеяло, с уголком кружевной простыни, обозначавшим место, где должна была находиться голова младенца.

— Эвон Вавилон, покати! свое семейство, — подшучивали соседи.

Они считали Рагозиных счастливой, даже нежной парой. И правда, Ксана запомнила только единственную грубость мужа — в то несчастное утро погрома.

Она стояла тогда с соседями перед воротами, держа икону — чтобы погромщики не приняли дом, в котором она жила, за еврейский. Черная орава, размахивая гвоздями, свища и воя по-волчьи, катилась дорогами, а кое-кто из старательных охотников до крови забегал во дворы, вынюхивал следы попрятавшихся евреев или брошенные ими квартиры, и толпа кидалась

на обнаруженную добычу и крушила подряд — человеческие кости, оконные рамы, кричащих детей, этажерки с посудой — оставшая позади себя ползущий смрад пожаров. Вдруг из-за угла выбежало несколько человек, развертываясь цепочкой поперек дороги. «Бей в упор» — негромко приказал чей-то голос. Ксана не заметила, как Петр Петрович, стоявший все время рядом с ней, у ворот, зашел в дом. Она увидела его, когда он неожиданно появился крайним в цепи и быстро пошел с людьми, ни разу не оглянувшись. Ксана сунула кому-то икону и бросилась за ним. Она схватила его, но он продолжал шагать, не вынимая рук из карманов, не оборачиваясь, мятликовой своей развалкой. Она вцепилась в его пиджак. Он шагал дальше. Она повисла на нем, крича — «Петя, Петенька! Родненький!» Он волочил ее, как будто не замечая тяжести. Она взвизнула: «Подумай о ребеночке нашем, Петрь!» Он оборотился, отодрал ее пальцы от пиджака, с озлоблением толкнул ее на тротуар и ушел. Лежа на земле, она слышала щелканье револьверной стрельбы и, уткнувшись лицом в ладони, заплакала.

Петр Петрович не вернулся домой. Для Ксаны это было, конечно, неожиданностью, но она поняла ее, как неизбежность, подготовленную другими неожиданностями — тем, что он ушел от нее, не сказав ни слова, тем, что с необъяснимой жесткостью оттолкнул ее, тем, что стрелял в людей из револьвера, тем, что никогда ей не обмолвился об этом револьвере. Целый год по праздникам она ходила в острог, к воротам, обитым железными листами, крашенными в бездушный зеленый цвет, как острожная крыша, и через квадратное оконце с решеткой боязливо просовывала стражнику узелки гостинцев для перердачи подследственному Петру Рагозину. Локотки ее делались все острее, пальцы — тоньше, но она удивлялась своей выносливости и говорила про себя, что стала двузначной. Нанявшись работать в чулочную мастерскую, она переехала на новую квартиру — в крошечный надворный флигелек мешковского дома, и когда узнала, что мужа ссылают, словно еще больше ожесточилась в упорном стремлении пересилить судьбу.

Ранней свиной осенью после томительной болезни умер ребенок. Ночью он умер, а поутру она пошла провожать мужа.

Этап уходил с товарной станции, и Петр Петрович еще раз увидел задымленное депо и свой цех, в котором слесарничал до ареста. Высокий старик-рабочий из цеха пришел проститься и передал Петру Петровичу на дорогу табачку. К товарному поезду прицепили два тюремных вагона. Один из них заняли уголовными, уходившими в каторгу. Они явились в цепях и когда перебирались через пути, тяжело

поднимая ноги над рельсами, звон железа стал слышнее всех звуков станции, но не мог заглушить их: попережнему вскрикивал маневренный паровоз-кукушка, стучали буфера, по-охотничьи пели рожки сцепщиков, устрашающе шипел в депо отработанный пар. И это был страшный спор: жизнь прошла, прошла — твердило железо цепей, жизнь идет, идет — кричало и пело железо станции. И спор терзал, терзал Ксану, и она думала только об одном: устоять, удержаться на ногах, не рухнуть на землю, как в то несчастное утро погрома.

— Он уже, наверно, хорошо говорит? — спрашивал Петр Петрович о сыне.

— Да, он хорошо говорит, — отвечала жена.

— А про меня спрашивает?

— Спрашивает.

— Озорной?

— Да, он озорной.

— А как спит? Спокойно?

— Спит очень спокойно.

— Не мешает тебе, как прежде?

— Нет, не мешает.

— Ты поцелуй его от меня.

— Поцелую.

— Зубы у него все вышли, да? Ты покрепче поцелуй-то его.

— Поцелую покрепче.

Так они расстались. Поезд с тюремными вагонами незаметно затерялся между других поездов, неподвижно стоявших или медленно передвигаемых. Товарищ Петра, старик, перед тем, как распрощаться с Ксенией Афанасьевной и уйти к себе в цех, заглянул ей в сухие глаза и оторопел: показалось, что это она отсидела год в тюрьме, а не Петр Рагозин. И вдруг Ксения Афанасьевна обратилась к нему с неожиданной просьбой: помочь ей похоронить ребеночка.

— Какого ребеночка?

— Сынка моего покойного.

— Как сынка? Разве ты не о нем сейчас с Петром толковала, поцеловать обеща-лась?

— Приду домой — поцелую. Он у меня дома на столе лежит.

Тут у старика язык присох к гортани.

Нашлись добрые души, которые помогли ей в горе. Но в горе-то ее и узнали, и слава о ней не лежала — в нарушение поговорки, — а потихоньку катилась из уст в уста и дошла, наверно, до умных людей.

Уже на третью зиму, как Ксения Афанасьевна жила бобылкой, к ней завялился тот самый высокий старик, который провозил Петра Петровича и потом помог хоронить ребенка. Начав с дальнего разговора, он привел к тому, что есть у него дело, требующее верного человека.

— В чем же надобна верность?

— А чтобы молчать.

— Молчать я умею.

— Видал. Знаю. Потому и пришел.

На другой день Ксения Афанасьевна привезли на салазках две кадучки, замотанные старыми одеялами, и спустили их в погреб, установив на березовые поленца, как полагается для зимних солений. Так эти кадучки и стояли завернутыми в одеяла, и Ксения Афанасьевна вспоминала о них только спускаясь в погреб за квашеной капустой. Ход на погреб был закрытый, прямо из сеней.

Ближе к весне, как-то в сумерки, к ней подошел на улице ученик технического училища и спросил, когда к ней удобнее заглянуть — ему поручили передать пакетик. Что за пакетик — он будто бы толком не знал, — просили занести, потому что он недалеко живет. Ксения Афанасьевна успела только заметить, что у техника пресекался голос, и он все откашливался, точно подбодряясь. Поздно вечером он принес что-то вроде почтовой посылки. Растегнувшись и сняв фуражку, он туго протирал мокрый лоб скомканным платочком и молчал.

— Пакетик-то, видно, не легок, что вы так умаялись? — улыбнулась Ксения Афанасьевна.

— Если вам тяжело будет — убрать, я помогу, — ответил гость.

Ксения Афанасьевна попробовала поднять пакет и насилу оторвала его с пола.

— Что же это? Ведь больше, наверно, пуда?

— Не знаю, — ответил гость. — Просили только сказать, что вам известно, куда надо пакет поместить.

Он начал застегивать шинель, сосредоточенный, каждой черточкой лица недвигимо отвергающий всякие распросы. Ксения Афанасьевна опять улыбнулась.

— Давно этим занимаетесь?

— Чем?

— Гимнастикой, — сказала она, кивнув на пакет.

— Гимнастику я люблю с детства.

— С детства разносите таинственные посылки?

— Что же тут таинственного? Мне поручили, я вас знаю, принес, передал — и все.

— Ну, а если я не приму? Я-то ведь не знаю, от кого это?

Вместо ответа, он протянул руку, прощаясь и этим как будто отклоняя шутки там, где все было слишком серьезно. В дверях он приостановился, подумал, спросил вполголоса:

— Правда, что ваш муж к будущей зиме вернется?

— Должен вернуться. Осенью — срок. На этом кончилось первое знакомство Ксении Афанасьевны с Кириллом. Он доставил ей еще такой же пакет, и потом она не видала его несколько месяцев. В эти посещения он попережнему уклонялся от доверчивого разговора, и она подумала, что он может быть действительно не по-

священ — что за кладь ей передает. Но она принимала эту кладь спокойно, потому что ей было сказано, чтобы она принимала и берегла ее вместе с кадушками в погребе.

Когда Петр Петрович возвратился, началась тот особенный период взаимного узнавания, какой обычен для близких людей, насильственно разлученных и долго живших вдалеке друг от друга. Свойства характеров, житейские навыки и даже телесные черты и приметы, когда-то казавшиеся важными, за время разлуки превратились в незначительные, а те, которые были маловажны, заняли существенное место. К угадыванию перемен, к тому, что давалось глазу, осязанию, чутью, присоединились целые повести о пережитом, в самых неожиданных, мелких и — на чужой взгляд — ненужных подробностях. Постепенно становилось понятно, почему уже нельзя было бы принять Ксению Афанасьевну за дочь Рагозина, почему она утратила хрупкость, а сделалась гибкой, словно увертливая и почему как будто преобразилась вся стать Петра Петровича: наклон его туловища стал меньше, поступь отвердела, почти утратив раскачку.

Они поняли, что любовь их не прошла, а точно обогатилась временем и что в чувстве, с каким они ожидали друг друга, излишней была только боязнь, что оно померкнет. Они признались и страшно обрадовались, что в своем горе матери и отца видели не только потерянного сына, но еще и того ребеночка, которого обоим хотелось иметь и грусть о котором теперь вдруг переплелась со страстью, дождавшейся полной воли. К этой радости чувства прибавилось то, что оба они приобрели особое понимание происшедшего с ними, как чего-то крайне ценного. Ксения Афанасьевна ни разу не сказала мужу, что если бы он не принадлежал к боевой дружине или не вышел бы с дружиной на улицу и не стрелял бы, то не было бы ни острога, ни ссылки, а — возможно — не было бы и смерти сына, и они жили бы спокойно. А Петр Петрович не попрекнул ни разу жену тем, что она так долго утаивала от него смерть ребенка. Ее нисколько не устрасило, что мужу предстояло жить под надзором полиции, и она сочла за должное, что он вернулся из ссылки членом рабочей партии. Когда он сказал ей это, она ответила: «Ну, и правильно».

О партиях у нее не было ясного представления, но она испытывала неутраченную личную вражду к зеленым воротам, к окошечку, через которое передавала в острог узелки для мужа. Она с тоской вспоминала часовню у этих зеленых ворот, где ставились свечи перед иконой Христа в терновом венце и где висела железная кружка, опоясанная скобой и запертая увесистым, как на цейхгаузе, замком. Над кружкой церковно-славянской

вязью начертана была надпись: «На улучшение довольствия заключенных». Дождавшись однажды на ступенях часовни — когда откроют окошечко в воротах и начнут принимать узелки, Ксения Афанасьевна подумала, что вот если бы не было заключенных, то не было бы и нужды собирать на их довольствие. Но, глядя в часовню, она заметила на иконе, в покорном мерцании свечей, руки Христа, связанные вервием, и неожиданно распала в сумке какие-то медяки и опустила их в кружку и после этого целый день не проходила у нее обида, — ей все хотелось заплакать, а слез не было и не было, как все годы, пока она жила одна. Вместо слез в ней прояснилось и стало отчетливо-внятным ощущение, что ее муж хотел сделать добро, что он человек справедливый, и за это его мучают. Все больше она привыкала думать, что ему свойственно поступать только правильно, только справедливо. Она тревожилась — не повредила ли мужу тем, что согласилась без него хранить опасные вещи, но он одобрил ее. Это взаимное одобрение открыло перед ними новое существование на земле, которое, в то же время, продолжало прежнее, старое существование и было таким, какое они для себя желали.

Всеми мелочами жизни, похожей на обцепрянутую, Ксения Афанасьевна прикрывала ту вторую жизнь, которую урывками, от одного удобного случая к другому, начал вести Петр Петрович.

В эту вторую жизнь скоро получил доступ Кирилл Извеков. Мечтательные ожидания, приведшие его сюда, нашли здесь перевоплощение в действительность, превратились в задачи, и самой важной из всех задач стала необходимость ото всем миру утаивать скрытую вторую жизнь. Может быть это была не вторая, а какая-то четвертая, даже пятая жизнь. Но она была совсем особенная, и с появлением ее Кирилл почувствовал, что другие жизни пошли от нее поодаль, точно побаваясь ее и уступая дорогу. Труднее всего было таиться от Лизы, потому что Лиза сама была тайной, возникшей из мечты. Обе тайны обладали чем-то родственным друг другу, и Кириллу иногда казалось, что они готовы слиться в одну. Он был поражен, что Лиза напала на след его общения с Рагозиным, но понемногу успокоился, увидев в этом первый шаг к будущему, когда все сольется для них в одно целое и Лиза непременно придет к тому, к чему пришел он.

Так как труднее всего было таиться от Лизы и потом — от матери, то неволью складывалась видимость, что утаенное от них утаено от всех. Близкие знали Кирилла слишком хорошо, они могли прочесть его мысли. А кто из посторонних обратит свое занятое внимание на какого-то ученика технического училища — с

его золотыми пуговками на воротнике рубашки, с его синими кантиками, с его негитрым значком на околыше — крест-накрест молоточек и французский ключ? Чем мог бы привлечь к себе такой молодой человек, скажем, Меркурия Авдеевича Мешкова? Впрочем, для Меркурия Авдеевича, после того, как он увидел Кирилла на улице с Лизой, молоточек крест-накрест с французским ключом перестал быть просто школьным значком и синяя выпущка на петлицах и фуражке получила притягательное содержание.

В тот день, когда Лиза ходила на карусели, Меркурий Авдеевич, возвращаясь из лавки, миглом различил в вечерней темноте запомнившуюся по посадке квадратную фигуру в коротенькой тужурке с белым выглядывающим воротом рубашки. Кирилл Извеков подошел к дому Мешкова, не озираясь, тихо открыл калитку и быстро исчез во дворе, неслышно опустив за собой щеколду.

Меркурий Авдеевич приостановился. Неужели так далеко зашло дело? Неужели вчерашнее внушение Валерии Ивановне не возымело действия и потворство продолжается? Он бросился к калитке. Двор был пуст. Он осмотрел углы и закоулки. Нигде не было никого. И он вошел к себе в дом на цыпочках, подавляя дыхание, слыша, как перепуганно работает сердце.

Он прямо направился в комнату дочери. Лиза лежала на кровати, опираясь на локти, в домашнем платье с голубыми полосками по синему полю. Кругом нее были разложены книги, она покусывала кончик карандаша и ждала, когда на стуле, рядом с изголовьем, разгорится только-что зажженная лампа под цветистым бумажным козырьком.

— Ты дома, дочка? — спросил Меркурий Авдеевич.

— Дома. Что ты так дышишь?

— Быстро шел. Когда у тебя первый экзаме́н?

— Через два дня.

Он легко погладил ее по плечу и улыбнулся.

— Ну, приходи чай пить.

Затворив дверь, он выдохнул: «слава богу». Но ведь не причудилось же ему сослепу? Он вышел в коридор и, прогуливаясь по стеклянной галлерее, стал поглядывать во двор.

В окошечках Мефодия было темно. У Рагозиных затеплился несмелый огонек, и тогда Ксения Афанасьевна затянула окно коричневой, чуть просвечивающей занавеской. Все было тихо. Ночь понемногу уравнивала землю с крышами, крыши с небом. Куда мог деваться Кирилл Извеков? Только во флигели. Зачем Меркурию Авдеевичу нужны были эти флигели — тесовые хибарки, от которых дохода — грош, а забот — полон рот? Один квартирант

пьет водку — неизвестно зачем, другой не пьет водки — неизвестно почему. Снеги бы эти флигели и построить на их месте доходный лабаз. Или еще лучше — сломать флигели и на их месте не строить ничего. А только обнести участок добрым забором и держать ворота на замке круглые сутки. Куда спокойнее, чем думать и заботиться о квартирантах.

Так размышлял Меркурий Авдеевич на своей галлерее в темный весенний вечер. Что же касается Кирилла Извекова, то ведь и правда могло померещиться, будто молодой человек зашел во двор. Все было тихо, все было благопристойно на дворе мешковского дома. Бог миловал.

12.

В праздник Красной горки народ шел гулять за город. Рассаживались по рошицам, овражкам, на пригорочках, полянках, семьями, с детьми и родней, с кумовьями и товарищами вокруг самоваров, котелков, сковородок. Варили галушки, жарили баранину. Дымки костров завивали склоны окрестных гор, ветер носил запахи лиственной гари, притушенного водой угля, подгорелого сала. Пили казенное вино, голосили песни, играли на гармошках, гитарах.

Рагозины отправились на гулянье рано утром. Ксения Афанасьевна несла самовар, Петр Петрович — корзину с посудой. По пути соединились со знакомым семейством, нагруженным провизией. Пошли на гору прямой улицей деревянных флигельков, заползавших чуть не до самой вершины и всё уменьшавшихся в размере, точно у больших нехватало сил взбираться наверх и они отставали, а маленькие карабкались выше. В конце улицы торчали домишки об-одно оконце, потом — землянки ниже человеческого роста, и на этих норах улица совсем прекращалась. Дальше глинистая лысина горы опоясывалась вырытыми уступами для удержания влаги, на уступах были насажены благовоспитанными рядами молодые деревца. Они прочно укоренились, потянулись вверх, одни — долговязыми стволиками, другие — мохнатыми кустами. За вершиной, на просторе пологих склонов насаждения разрослись пышнее и уже шумели листвою, человек в них терялся, отдельные деревья высоко вымахивали кроны над кудрявой порослью, словно предсказывая, каким будет лес. Здесь попадались овраги с оползающими обрывами почвы и с родниками на песчаном дне.

Место для лагеря выбрал Петр Петрович. Он сказал: «отсель грозить мы будем шведу» и уселся на краю самого крутого обрыва, свесив ноги в овраг. Во все стороны отсюда видна была раскачиваемая ветром чаща зеленого молодняка. Принесли воды, раздули самовар, всей

компанией начали чистить картошку для похлебки.

Когда закипела в котелке вода, пришел Кирилл. Он посвистел из кустов, Рагозин отозвался и, как только показалось его лицо между раздвинутой листвы, спросил:

- Легко нашел?
- По самовару.
- Самоваров много.
- Твой со свистом.

Они улыбнулись.

- Похлебку есть будешь, кавалер?
- Буду.

— Ну вот тебе ножик, чисти картошку.

Он говорил покровительственно, но с добротой, и Кирилл подражал ему в этой манере, так же, как подражал в тяжеловатой, качкой поступи, и было похоже, что они посмеивались друг над другом.

— Кто так чистит? Словно карандаш точишь. В ссылку попадешь — тебя засмеют.

— А зачем мне в ссылку попадать?

— Зачем? Картошку чистить учиться.

Смотри, как у меня получается: одна ленточка с целой картошки. А тоненькая какая кожурка — на свет все видно, смотри. Смотри, через нее видать, как Ксана нам водочку наливает, видишь?

Он учил Кирилла крошить картошку в котелок и затирать подболточку из муки с подсолнечным маслом, и перчить, и солить, и заправлять молодым луком. На приволье всякая еда радует сердце и нет вкуснее пицци, кипяченной на таганке и пахнувшей дымком хвороста. Все чувства усиливаются и открываются в человеке, стоит ему присесть на корточки перед костром и потянуть носом парок закипевшего варева. И воздух становится слаще, и дали приветливее, и люди милее, и жизнь легче. А всего только и надо — котелок.

После завтрака, развалившись на спине и глядя в небо, сквозь зелень танцующих на ветру веток, Кирилл припоминал вслух:

— Нам всем выдали по ведерку, маленькие заступы и деревянные колья, заточенные на одном конце и с перекладкой на другом. В ведра нам ткнули по пучку саженьцев — коротенькие такие прутики. И всей школой мы двинулись на горы. Тут все было размечено, и когда мы пришли, везде стояли другие школы, без конца. Сажать было просто. Мы буравили колом в земле ямку, втыкали в ямку прутик и закапывали заступом. Потом шли за водой и каждый поливал то, что посадил. Прутики мне были по колено. Чахлые, сухие, в городе не верили, что они примутся. А над тем, что лес будет — смеялись. Когда мы вернулись в школу, нас фотографировали, как мы были — с ведерками, кольями, заступами. У меня до сих пор цел снимок. Я сиду по-татарски, на земле, в ногах у учителя рисования, а внизу на фотографии — надпись: «Праздник древопосаждения».

Чудно, что уже девять лет прошло, и не верится, что вот это шумят, колышутся те самые прутики. Интересно, что будет тут еще через девять лет. Как ты думаешь, Петрович? А? Ты знаешь, что будет через девять лет?

- Знаю.
- Ну что?
- Мне стукнет сорок четыре года.
- Это и я знаю. А ты скажи — хорошо будет?

— Хорошо.

— А что хорошо? — спросил Кирилл, понижая голос. — Революция будет?

— Какой хитрый, — засмеялся Рагозин, — если я скажу — не будет, то ты сейчас — в кусты, да?

Кирилл долго не отзывался, пожевывая сорванную веточку неклена. Челюсти выступали острыми углами на запрокинутом его лице. Взгляд его остановился, в желтизне зрачков отражались плавающие зеленые пятна листвы. Сдвинутые брови медленно расправлялись, собирая молодые морщинки на лбу. Он сказал совсем тихо:

— Я выбрал дорогу и не сверну никуда. Все равно, сколько придется идти — девять лет или двадцать девять.

Рагозин приподнялся на локоть. Оттого, что нос и щеки Кирилла были чуть-чуть посыпаны веснушками, он показался Рагозину моложе, чем всегда. Он взял его руку, сжимая ее в своих жестких бугорчатых пальцах.

— Я выбрал дорогу и не сверну никуда. Все равно, сколько придется идти — девять лет или двадцать девять.

Рагозин продолжал сжимать крепкую сопротивляющуюся кисть Кирилла, чувствуя, как уменьшается ее стойкость, и улыбаясь.

— Ну, больно. Брось. Что ты хочешь?

Он вырвал руку, потряс ее и размял пальцы.

— Время, — проговорил Рагозин, — время, дорогой мой, большое дело. Когда больно один день — одно. Больно сто дней — другое. Народ терпит. Ему не все равно — девять или двадцать девять.

Он повернулся, не поднимаясь с земли, к костру и сказал громко:

— Ксана, вы бы погуляли.

Ксения Афанасьевна повела друзей к роднику, их переключка и смех долго слышались, когда они скатывались в овраг по оползающей глине.

Наедине Рагозин спросил:

— Принес?

Кирилл вытянул из брючного кармана сверток прокламаций. Его разгладили и соединили с пачкой, которую Рагозин достал из корзины с посудой.

— Отсчитывай по десятку.

Листки тонкой розовой афишной бумаги складывались в четвертку и прятались

назад в корзину, под полотенце. Работа шла легко, беззвучно, и скоро последняя тетрадочка, в пол-ладони величиной, лежала на месте. Рагозин отставил корзину под куст и опять лег.

— Прежние годы на такой маевочке всегда удавалось сходку провести, — сказал он. — Нынче живи улиткой — таскай на спине весь свой дом, и кухню, и этажерку. Пей чай, играй на гармошке, а чтобы собраться поговорить — ни-ни: завалишь всю работу.

— Этак, конечно, и двадцать девять лет прождешь, за самоваром да с гармошкой, — сказал Кирилл.

Ведь тебе мой самовар понравился, как он свистит, — улыбнулся Рагозин и отчетливо повторил свист, которым встретил Кирилла.

Послушали. Никто не отозвался. Шумела, разгуливала волнами пахучая, лоснившаяся на солнце поросль, и ястреб чертил над нею бесконечные кривые, изредка разрезая пространство своим острым зовом, точно проводя алмазом по стеклу.

— Я на-днях познакомился с Цветухиным, — сказал Кирилл. — Знаешь?

— Слышал. Вон ты куда махнул.

— Я не махал. Просто — случай.

— А ты не сердись.

— Я не сержусь. С ним еще был Пастухов. Драматург такой. Известный.

— Так, так.

— Интересно, какой у них образ мыслей.

— Ты говорил?

— Немного. Об искусстве. Собственно, о балаганах. Мы на балаганах встретились

— Ну?

— Ничего особенного. Они слабо отдают себе отчет, на каких научных основаниях построены иллюзии. Ну, там женщина-паук и другие фокусы. Некоторую путаницу я заметил.

— Необразованные? — подсказал Рагозин усмешливо.

— Я думаю — к вопросам физики равнодушны.

— А-а...

— Интересно дать им прокламацию...

Рагозин привскочил и, откинув с лица волосы, прижал их ладонью к голове, чтобы они не мешали получше смотреть на Кирилла.

— Ты дал им прокламацию?

— Нет. Это мне сейчас в голову пришло.

— Может, они порядочные люди, — сказал Рагозин, успокаиваясь, — я не знаю. Но уж тут — семь раз отмерь, один отрежь. Какой может интерес толкать их к нам? Любопытство? Рабочий к революции приходит, как к себе на квартиру. А они могут подумать.

— У меня именно мысль мелькнула — как они отнеслись бы? — сказал Кирилл.

— Оглядочка нужна. Матери своей ты

разве не можешь довериться — а помалкиваешь и с ней, верно?

Легкий свист послышался неподалеку, и Рагозин кивнул:

— Вот он, мой самовар-то.

Он повторил свист. Минуту спустя, на край оврага вышел из чащи высокий худой старик с бородкой клином, в черной праздничной паре и глянул окрест себя.

— Заблудился? — громко кликнул Рагозин.

Старик неспеша подошел, поздоровался, приподняв черный поношенный картузик с узкой тульей.

— Хорошее местечко выбрал, Петр Петрович, для чаепития.

— Милости просим.

— Благодарим. Откушали.

— На свежем воздухе весело пьется. Садись.

— Посидели.

— Ну постой, коли ноги держат.

— Ноги привывшие. Двадцать лет в цеху стоят, шестьдесят землю меряют.

Он снова огляделся. Кусты были вровень с его картузиком.

— А тут с каждым годом зеленее становится. Лес наступает, — произнес он с одобрением.

— Вот молодежь старалась, садила да поливала, — сказал Рагозин.

— Так, — вымолвил старик, прищуриваясь на Кирилла. — Раньше, чай, старики для молодых садили, теперь, что же, обратно получается?

— Есть молодые, которые не только о себе думают, — вдруг ответил Кирилл, глядя прямо в прищуренные глаза старика.

— Так... Заодно с нами садить желают?

— Заодно, — сказал Кирилл.

— Так, — опять поддакнул старик и перевел глаза на Рагозина. — Чего это мы с ними, с молодыми, будем садить, Петр Петрович, какие сады малиновые?

— Дай-ка корзинку, — попросил Рагозин Кирилла.

Он вынул из-под полотенца тетрадку, подал ее старику. Тот взял, покрутил в пальцах, словно прикидывая прочность и вес бумаги, нагнулся, подтянул до колена одну штанину, аккуратно записал листки за голенище рыжего шершавого сапога и так же аккуратно поправил брюки.

— Не маловато будет? — спросил Рагозин.

Старик помолчал, потом качнул головой набок.

— Пожалуй, как бы на одну ногу не захромал.

— На вот, чтобы тебя за пьяного не сочли, — сказал Рагозин, подавая ему еще тетрадку.

Старик спрятал ее в другой сапог.

— Спасибо за хлеб, за соль. Бог напитал — никто не видал, — подмигнул он

Кириллу и неожиданно ласково усмехнулся.

— Будем, значит, знакомы. А как нас величать, про то вам скажет Петр Петрович. Верно?

— Верно, — согласился Рагозин. — Поговорить есть о чем?

— Разговор сам собой найдется.

— Ну, подсаживайся. А ты, Кирилл, ступай потихоньку ко дворам. Да умно иди.

— Я на Волгу пойду, — сказал Кирилл и протянул старику руку.

— До свиданья, товарищ дорогой, — проговорил старик опять со внезапной ласковой усмешкой.

— До свиданья, товарищ, — буркнул Кирилл, чувствуя, как жар поднялся из груди, мгновенно захватывая и поджигая щеки, виски, уши, всю голову.

Он бросился в чащу широким шагом, распахивая перед собою спутанную, цепкую поросль, точно плывя по зеленому гомонящему морю и слыша в буйствующих переливах повторяющееся шумящее слово: товарищ, товарищ! Это его, Кирилла Извекова, впервые назвали таким словом — товарищ — и он сам впервые назвал таким словом — товарищ — старика — из тех людей, с какими ему предстояло жить в будущем. Он шагал и шагал, или — плыл и плыл, пока прохладные, шестидесятичные волны зелени не вынесли его к острову — на лысую макушку горы и отсюда не увидел он — в дуге возвышенностей — огромный город, деревянный по краям, каменный в центре, точно пирог — на кусочке, изрезанный улицами на ровные кварталы. Внизу лежал этот непочатый деревянный пирог с каменной начинкой, вверху колесили по синеве нащипанные ветром хлопья облаков, а под самыми ногами Кирилла гривой изгибались вершины холмов, и по этой гриве он пошел к Волге.

Он сбегал по спаду одного холма и взбирался по взгорью другого, чтобы снова бежать вниз и опять подниматься. И это было такое же плаванье, как по молодой зеленой чаще, только волны холмов были больше и вместо листвы он рассекал горько-сладостный дух свежей полыни, объевшей горы своим пряным дурманом. Так он прибежал к обрыву, который падал в Волгу, и сел на обрыв, расстегнув воротник рубахи, скинув фуражку, сбросив пояс.

Сердце било ему в грудь требовательными ударами, и он смеялся и, потому что не знал — чему смеется, — не мог остановить смеха, а сидел, опустив ноги с обрыва, покачиваясь, и смеялся, и смех казался ему и разговором, и песней, какая поется на Востоке — песней о том, что он видел и слышал.

Он видел неохватную долину, по которой шла тяжелая река. Видел Зеленый остров, покрытый тальником, в половину

роста затопленным водой и послушно клонившим свои белесые верхушки под накатами ветра. Видел оранжевую беляну, почти омертвевшую посередине реки, похожую на спичечный домик, да где-то далеко-далеко один за другим — два каравана баржей, точно стожки распоротой строчки. Ползучие тени облаков пятнали рябившую барашками поверхность реки, разгуляй-поле тальника на острове, сученную толпу судов у городского берега. Все двигалось и полнолось отдаленным говором работы, езды — говором, который доносился ветром и нисколько не мешал всё объединявшей тишине.

Отдохнув, Кирилл подобрал ноги, обнял колени и, крепко уткнув подбородок между тугих чашечек, стал приводить мысли в порядок. Он задавал себе строгие вопросы: — чего я хочу? — кем я буду? — что главное в жизни? Но как только он намеревался уложить в слова хорошо угадываемый ответ, слова ускользали из яви в какой-то полусон и превращались в расплывчатые приятно-красочные разводы. Ему чудилось, что он передвигает, переставляет необыкновенно большие массы веществ: река поднималась его рукою вверх и текла в небо; снежные сугробы облаков направлялись в коридор бездонного опустевшего русла; черные дубы устанавливались по берегам в аллею; по аллее катилась беляна, с громом размазываясь, как невиданных размеров клубок, и оставая позади себя ровно вымошенную янтарными бревнами дорогу. Кирилл стоял перед классной доской и делал расчет своей разросшейся руки, и преподаватель черчения одобрительно мотал головой и сбрасывал со своего мясистого носа пенсне — одно, другое, третье, все быстрее, быстрее, и тысячи пенсне устилали мерцающей рябью стелок далекую-далекую воду. «Хорошо, — говорил чертежник, — но, чтобы сдать экзамен, ты должен показать в разрезе город, в котором хочешь жить». Тогда чертеж Кирилла начал расти, расти, выходя за пределы доски, и доска бесконечно наращивалась, и на ней появлялись одинаковые, как соты, комнатки, над которыми мчались тени облаков, и в одной комнатке стояла Лиза. И Кирилл вошел в эту комнатку. «Я сдаю все экзамены, — сказала Лиза, — отвернись». «Зачем?» — спросил Кирилл. «Отвернись, я тебе говорю. «Ведь ты — моя жена», — сказал он. «Все равно, отвернись», — повторила она и отвернулась сама. Платье ее на спине было застегнуто множеством крючочков, и когда она, подняв над головой руки, начала расстегивать их, ее длинная коса запуталась в крючках и он подошел и стал выпутывать из крючков волосы и расплетать косу. Коса пахла полынью, и запах был удушающей силы и все сгущался и теплел. Лиза поворачивалась медленно-медленно и когда поверну-

ась, Кирилл увидел милое лицо мамы — с оспинками над верхней губой и на лбу — и мама проговорила: «дай мне только слово, что ты никогда не поедешь на Зеленый остров на лодке. Помни, что твой отец погиб на лодке, Кирилл!» Странно переменялся ее голос, и его имя — Кирилл — она произнесла грубо, как мужчина.

— Заснул? — так же грубо сказал кто-то недалеко от него, — заснул, Кирилл?

Он открыл глаза и, не поднимаясь с земли, держа голову на руке, увидел шагах в десяти Рагозина на краю обрыва, лицом к Волге.

— Не вставай, не подходи ко мне, — проговорил Рагозин. — Пойдешь домой — не притащи за собой хвост. Тут, по горкам, прогуливается парень, штаны в заправку. Это — ряженный. Смотри.

Рагозин лениво повел взглядом по небосклону и пошел прочь, сказав на прощанье:

— Дождичек собирается. Не застудишься.

Тут только заметил Кирилл, как все кругом помрачнело. Он приподнялся на локте. У подгорного берега и на острове еще сверкали теплые желто-зеленые краски, но чем дальше к луговой стороне, тем холоднее были тона, река синела, гребни белаяков на ней стали сизыми и у самого берега протянулась лаковая исчерно-лиловая полоса, точно на дне взболтавали китайскую тушь и она всплыла на поверхность. Над заречьем шла низкая

туча с посеребренными краями. Беяну перенесло течением далеко вниз, из оранжевой она сделалась серой, будто закоптев в дыму. Караваны баржей, словно в испуге, торопились приблизиться к городу. Раздалось первое чуть внятное ворчание весенней грозы, и Кириллу послышалось в нем угрожающее и торжественное ликованье.

Он оглянулся. К обрыву вышагивал независимой походочкой молодец, одетый в красную рубашку и короткой рябенький разглаженный пиджачок. Касторовые шаровары его были заправлены в сапоги и выпущены над голенищами, насандаленными ваксой и сбегавшими узенькими гармошками на союзки. Желтоватая шевелюра молодца была аккуратно подстрижена, на вздернутом припухлом носу сидело пенсне мутного стекла со шнурочком. Он был похож одновременно на приказчика и слушателя вечерних курсов. Он остановился на обрыве и залюбавался природой через пенсне.

— Ага, голубок, — сказал про себя Кирилл, чувствуя волнуемую гордость от того, что за ним следили, и что он знал это, и что насквозь видел противного молодца в сапожках и в пенсне.

Кирилл лег на спину, изо всех сил потянулся, закрыл фуражкой лицо и с удовольствием выговорил в пахучую, душную атласную подкладку тульи:

— Чорт с тобой. Мне дождик нишчем. А вот как — тебе, разглаженный болван?..

(Продолжение следует).

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

СТЕПАН ШИПАЧЕВ

★

Себя не видят синие просторы
И в вечном холоде — светлы, чисты,
Себя не видят снеговые горы,
Цветок своей не видит красоты.

И сладко знать — идешь ли ты лесами,
Спускаешься ли горною тропой —
Твоими ненасытными глазами
Природа восхищается собой.

★

Вот ветер налетел упругий
И прядь волос растеребил,
Почти девические груди
И бедра платьем облепил.

А женщина стоит, где сливы
И яблони лиственной кипят —
И ветер скульптором счастливым,
Должно быть, чувствует себя.

★

До утреннего первого луча
К тебе, на Мойку, я спешил с вокзала.

Уже три раза в дверь я постучал;
Мне страшной тишина казалась,
Но вот послышались твои шаги.
В неповторимый час рассвета,
Как были те шаги легки.

Ты дверь открыла мне, полуодета,
Доверчивая, бросилась ко мне,
Прильнула всюю теплотою тела...

Стояла летняя заря в окне,
На скромный твой уют глядела;
Она с деревьев, с крыш текла.
На полку с книгами, на одеяло...

То не рассвет, то не заря была,
А счастья нашего начало.

ПИСЬМА ИЗ ЗАКАВКАЗЬЯ

МАРИЭТТА ШАГИНЯ

★

I. В ОКНО ВАГОНА

Возвращается жизнь в разрушенные немцами города. Тысячный трактор выпущен недавно Сталинградским тракторным заводом; бегают как прежде «электрички» из Минеральных в Кисловодск; заработали шахты в Донбассе, в Криворожье. Но не может, не смеет современник забыть о страшных ранах войны.

Мне пришлось выехать на Кавказ с одним из первых поездов, осваивавших новый рейс по освобожденной от немцев земле. Мы ехали необычным маршрутом — via Балашов — Сталинград; а возвращались уже старой Казанской, через Ростов — Воронеж, — пересекли, следовательно, два основных района, где шли жесточайшие бои за Россию, — донской и волжский плацдармы. Первые сутки словно и не было трех лет войны: так же набегали станции, толпились женщины с молоком, яйцами, маслом, творогом, вволю было кипятку, командировочные стояли за хлебом. Правда, пейзаж в окне был новый: вместо чернозема прежнего маршрута — к исходу второго дня потянуло болотом, земля легла, как ровное кружево, вся в лужицах и полосках нескончаемой воды, и в сумраке подошел раскинутый у полноводного Хопра, большой, плоский Балашов, город хлебных грузов, пыли, осинового и ивового деревьев, белых заборов, на которых, как и десять лет назад, наклеены объявления «о мерах борьбы против наводнения». За Балашовым был поворот на юг. Пассажиры легли спать в надежде завтра отогреться. Но на следующий день на волжско-донском водоразделе началось неопишное, то, чего не смеет забыть наше поколение, что мы обязаны запечатлеть, выгравировать в нашей памяти навсегда.

Молча стояли мы у окон и вместе с нами, с тем же пассажирским выражением лиц стояли кондукторши. Когда кто-то брякнул чайником, поспешив к выходу на замедленном ходе поезда, одна из них, не поворачивая головы, негромко сказала:

— Куда? Тут воды не достанете, разбитое все.

Показалась станция, немая, пустая. Груда черного, испеленного хлама, черные пятна на месте сгоревшей водокачки, подметенная в одну кучу груда битого кирпича. Ни дерева, ни дымка, ни даже бродячей собаки. Это видение разбитой станции повторялось десятки раз. Мы шли аллеями подбитой, расплющенной техники, холмами металлического лома, панцрями стальных корпусов, кучей брусьев, колес, обломками немецких автобусов, вездеходов, грузовиков. Мимо почти непрерывно тянулись эшелоны с тем же битым ломом, но уже разобранным, рассортированным — одна платформа с металлическими дощечками, другая с брусьями, третья с кружалами. И снова станции — страшные, безглазые, немые, с пустырями на месте скверов.

Тихо подошел поезд к незабываемой груде развалин, и мы прочитали надпись на уцелевшем фасаде «Сталинград — восточный». Тихо сошли — весь поезд, все до единого пассажира — на бессмертную землю города, овеванного славой на тысячи лет. Уцелевшая стрелка с надписью «К камере хранения» висит на остатке стены. Мальчики с номерами третьеводнешней газеты «Сталинградская правда». Они продают ее не как газету, а как реликвию, и покупают у них «на память», хотя в газете злободневный, живой материал: портрет бригадира черкасовской бригады тов. И. П. Чулкова, статья о комсомольской группе энергоремтреста (трест по ремонту!), извещение о концертах сталинградской филармонии. Времени у нас было сорок минут, и все пошло «в город». Огромная площадь Революции, застроенная большими дворцового типа домами, с перекрещивающимися стрелами улиц, выходящих на Волгу, сейчас вся в каменных лохмотьях того, что было домами. И тишина, особенная тишина, сквозная, как бывает в развалинах, где

просторно гулять ветру и где дай только вырасти мху на камне, закачаться вереску между плитами, подняться серому, горькому цветку пустынь. Поляны, чтоб повеяло «древней историей». С минуту стоим мы под страшным гипнозом увиденного, хочется обнажить голову. Но вот четким шагом подходят к скверу два моряка и, остановившись у решетки, снимают бескозырки. Не развалинам, не разрушенью, не кладбищу отдадут они этот поклон. Здесь, среди цветов на клумбах — старый обелиск памяти защитников Царицына, а против него новый памятник героям Сталинграда с датой «ноябрь—февраль 1943 года» и надписью «Великая слава павшим в борьбе за свободу и честь нашей Родины».

Идя назад, вдруг замечаешь в руинах отвоєванного уголка, вставленные окна, подвешенную дверь с нежданной вывеской «Центральный магазин Когиза». И постепенно перед глазами начинают проступать те проявления жизни, тот новый поток живого, который вместо вереска и поляны пробивается сквозь руины, о котором читал в газетах: «труба вдалеке, на горизонте, и черный дым из нее, заводской дым Сталинграда; наружная лестница, приставленная к каркасу двухэтажного дома, и занавесочка на окне второго этажа; фанерный коробок между двумя стенами с надписью «Парикмахерская» и — живая, человеческая очередь перед ней; а там, дальше, за этой площадью с ее микронами жизни, кипит грандиозная восстановительная работа, возводятся стены, возрождаются заводские корпуса, подвозят дерево, кирпич, известь. Поразительна эта способность к заживлению в нашем молодом общественном строе. Мы проделали за два месяца немалый путь: его хватило бы на объезд по диагонали шести европейских государств, — и вот на этом пути, где часть пространства завалена обломками, в короткое сравнительно время налажен был нормальный проезд, — поезд прошел по одному маршруту, прошел аккуратно, в срок, без запоздания, потом освоил второй маршрут, и опять аккуратно, в срок, без запоздания. На разбитых станциях попрежнему работает телеграф, с тем же постукиванием молоточка проходит в угольной пыли железнодорожный мастер, так же сосет труба воду и грузит кочегар уголь, а вдоль пути — в свое время идут обходчики, проверяя дорогу, и заготавливаются шпалы, общищаются пути, сменяются сгнившие телеграфные столбы, — культура труда, незаметная, но упорная, неистребимая, могучая, потому что она помножена на волю и силу миллионов, потому что интегралы нужны для вычисления ее непрерывного нарастания в народе — эта культура побеждает любую степень разрушения.

II. ПРИЕЗД В ТБИЛИСИ

Множество проблем поставила война перед нашими окраинными республиками, где оборонная тема теснейшим образом сливается с хозяйственной. За время войны окраины пережили угрозу оказаться отрезанными от центральной части Союза; они узнали и переболели в транспорте, и острую зависимость от некоторых привозных материалов. Особо остро поняли они и ту, казалось бы, совершенно мирную, тыловую проблему, которую разрешают обычно самые «штатские», самые мирные люди, городские архитекторы в мастерских горсовета: проблему планировки города. Жизненная важность дорог, выводящих из города и приводящих в город, мостов, соединяющих низины с возвышенностями, насыпей, выравнивающих низины, подземных строек — туннелей, убежищ — сказала в дни войны настолько сильно, что сейчас прежний принцип благоустройства неразрывно слился для планировщика с принципом безопасности, а понятие «плана» соединилось с соображениями «стратегии». Многие пережили и те, кто занимался так называемым «размещением промышленности». Если раньше мы ставили ударение на общей экономической целесообразности, то сейчас встало требование, чтобы на местах смогли, в случае необходимости, обойтись своими силами. В Закавказье на четвертый год войны создан первенец тяжелой металлургии, сюда потянутся эшелоны с богатой дашкесанской железной рудой, с превосходным чиятурским марганцем, с севанским хромитом, с зангезурским молибденом. Горные недра Азербайджана, Грузии, Армении дадут свои сокровища, чтоб родился свой, закавказский металл...

Позднее ночью приходит наш поезд в Тбилиси.

Тысячу лет назад арабский географ Ибн-Хаукаль в «Книге путей и царств» писал про нынешнюю столицу Грузии: «Тбилиси — город плодородный, укрепленный, богатый продуктами, дешевый в отношении цен, и благосостоянием он превосходит прочие богатые государства и плодородные страны... В нем находятся бани вроде бань в Тивериаде; вода их кипит без огня. Город лежит на реке Куре. В Тбилиси пловучие мельницы, на которых мелют пшеницу и зерновой хлеб, как мелют в Мосуле и Рака на пловучих мельницах Тигра и Ефрата» (Сборник материалов по изучению Кавказа, т. XXXVIII). Всякий раз, как видишь Тбилиси, вспоминается эта характеристика тысячелетней давности, потому что город в своем ансамбле, как очень старая, тонкая, тщательно выполненная гравюра, сохраняет этот отпечаток древности, укрепленности и изобилия. В мягком свете зари он открывается перед нами, еще безмолвный, толь-

ко садовник-старик работает в новом сквере, подрезая кусты букса. На утреннем солнце яркие от ночной влаги рыжеют развалины крепости, уходят в Куру бесчисленные, тесно сжатые, кружевными балконами опоясанные старинные домики, где ниже, за мостом Карла Маркса, были знаменитые водяные мельницы, упомянутые Ибн-Хаукалем. Острые конические шпили церквей, а в центре города такие же шпили пирамидальных тополей черно-зеленого цвета — все это знакомый, прежний, неизменный Тбилиси, но когда вы сели в автобус и, медленно поднимаясь, начинаете пересекать город, вы видите глубокие и большие перемены, происшедшие в нём за последние десять лет.

Хорошо было бы когда-нибудь создать фильм об архитектурном росте наших советских городов и начать его с плана, с мультипликации. Тогда изменение Тбилиси можно было бы увидеть наглядно, с высоты птичьего полета: вот прежний город — старые узенькие улицы, угол Лермонтовской и Ртищевской, кажется, протяни руку до противоположного дома — но тут еще и рельсы проложены и в этой теснине бежит, переваливаясь, трамвай; вот мост над мутной и быстрой Курой, темные, серые стены, уходящие в реку, и невозможно крутой, почти отвесный подъем на Авлабар, и по этой крутизне тоже лезет трамвайчик, — узко, шумно, тесно, грязно. И вдруг — не десятками лет, а на глазах одного поколения вершится оздоровляющий, умный, правильный процесс изменения: сматываются с узких улиц, например, с Ртищевской, трамвайные рельсы; на новых широких проспектах они разматываются и укладываются; крутые подъемы делаются пологими, — для сравнения вот вам угол старого спуска с Авлабара и угол падения новый; раньше вы тут карабкались задыхаясь, а сейчас почти незаметно для сердца берете пешком высоту подъема, и вам не скучно итти — мрамор, гранит, красивые перила и фонари, открывшаяся великолепная панорама на центр города — все это развлекает в пути. Наверху вы не узнаете Авлабара, так он благоустроен и чист, улицы подметены, хотя сохранились от прежнего своеобразия чудесные архитектурные уголки, вывески «греческого лаваша», словоохотливые старики, стоящие у подворотен... Но особо резко изменился другой подъем, от Михайловской улицы на проспект Руставели, — он захватил большие пространства, стройным пологим полукружием возносится кверху, мимо зеленых насаждений, купола нового цирка, архитектурно-оформленных, стильно отделанных углов и поворотов, а на проспекте раскрывается дворцовая анфилада зданий, гигантская раковина Дома правительства, спокойный и мощный

фасад Института Маркса—Энгельса. Город стал европейским, ничего не утерев из своей оригинальности. Город сделался даже более живописным, более древним, более национальным, хотя покрылся асфальтом, расширил улицы, спланировал площади современными зданиями.

Мы так давно жили в мире, так изменились за тысячу лет средства войны, что древние «крепости», «валы» и «стены» стали для нас номинальными — красивым рудиментом прошлого, воспринимаемым лишь с точки зрения его «художественности» и «старинности». Но они были условием безопасности города, тесно связанным с местной природой. Поэтому, когда сейчас перед архитектором, перед строителем встает жизненный вопрос разумной разметки пространства, дорожной стратегии, прошлое приближается к нему по-новому, приближается по-новой природа (лощины, ущелья, река, холмы), история (стены, валы, подземелья) — уже отнюдь не с одной эстетической стороны, а с живой, практической, целесообразной стороны. И в результате планировщик, стратегически открывая пространство, начинает с ним вместе открывать и «виды»: снимая углы улиц, заборы, заслоны, выводя улицы из тупиков, пробивая отверстия в густо застроенных теснинах города, обнаруживает внезапно жемчужинки старой архитектуры, общие виды на всю массу зданий, пролеты в пространство, скрытые характерные группы зданий, затерянные в густоте домов церковушки, старинный орнамент, какую-нибудь изумительную линию балкончика или каменную лестницу, уходящую вверх, как мелодия народной песни. Все это выявляется, оживает, предстает перед зрителем, становится обозреваемым, выигрывает или, по выражению артистов, начинает «играть». Так, борьба за создание культурных магистралей, современных удобных улиц, современных пологих подъемов, снос лишних заборов и ветхих домишек — помогает архитектору проявить и черты вечного, исторического, древнего лица города, и его связь с окружающей природой. Это произошло за короткие последние годы в Тбилиси, недаром слова Хаукаля об «укрепленности» живут и сейчас. Это произошло в еще большей степени и в Ереване. И хорошо, если бы так происходило при перепланировке повсюду, особенно в старых сибирских и уральских городах, распланированных в высшей степени туганно и «скрытно», так, что даже красу города, реку, например, в Бийске, в Новосибирске, в Барнауле, в маленькой Ойрот-Тура не видишь вовсе, и чтоб увидеть ее, надо чуть ли не день блуждать по разным задворкам, мучительно ища ее, невидимую, за буграми и заборами.

III. НАУКА В ГРУЗИИ

Если пройти главную улицу города, проспект Руставели, из конца в конец, то невольно заметишь монументальные новые здания, построенные для научных учреждений Тбилиси. Наверху, над городом, чудесные белые стены университета, внизу — строгие классические колонны Института Маркса—Энгельса. Как отразилась война на работе, ведшейся в этих стенах? Прервала ли ее, изменила ли ее методику и тему? Мы были свидетелями интереснейших процессов взаимодействия нашей науки с жизнью в самые острые, самые напряженные дни обороны родины. Мы видели на Урале, в Сибири, как вместе с военными заводами перебралась на Восток Академия наук с ее многочисленными лабораториями и институтами, вошла в заводские корпуса, в цехи, поставила и разрешила с ними важнейшие вопросы оборонной промышленности. Химия, геология, физика не только обнаружили высокую свою «откликаемость» на самые практические нужды страны, но они показали, что именно выполнение практических задач быстро и плодотворно двинуло вперед и научную теорию.

Так ли случилось в грузинской науке? Здесь ожидает нас очень интересный ответ. В центре Закавказья оборонное свое значение показали главным образом науки физиологического ряда и историко-общественного цикла. Сюда посылались раненные, здесь с огромной нагрузкой работали больницы и госпитализированные курорты. И здесь, именно в дни войны, когда воспитание молодежи, обучение резервов, правильная политическая подготовка стали одним из важнейших слагаемых общей военной подготовки республики, обнаружилось величайшее значение для обороны таких культурных учреждений, как Институт Маркса—Энгельса и многочисленные музеи по истории революционного движения в Закавказье, организованные в самые последние, можно сказать, в предвоенные годы не только в Тбилиси, но и в Батуми.

В развитии общественных наук Закавказья и его культурно-исторических учреждений поворотную роль сыграл доклад А. П. Берия на тбилиском партактиве «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье» (июль 1935 г.). Изданный отдельной книгой, он стал методологической опорой для работников во всех областях культуры. Но только сейчас, в дни войны, раскрылась полностью историческая роль этой маленькой книги, внесшей ясность в прошлое страны, разгромившей меньшевистские элементы старых исторических концепций и показавшей шаг за шагом работу молодого Сталина в Закавказье. Реально, как любая группа военной техники — танки, самолеты,

минометы. — с силой и остротой мобилизующая массы книга А. П. Берия послужила делу оборонного укрепления Закавказья. Произошло это не только потому, что она правильно осветила прошлое и помогла вытравить из сознания остатки ошибочных и вредных представлений, а и потому, что книга Берия не осталась только книгой. Сущность ее — методологически правильное освещение прошлого — тотчас же воплотилась в настоящее: в многочисленные музеи революции, в способ показа экспонатов, способ преподавания, ведения экскурсий, раскрытия и использования исторических тем.

Вы приезжаете в Батуми, где и сейчас ещё остро чувствуется строгое, боевое напряжение пограничного центра, военизированная жизнь большого порта, где вы еще недавно могли пережить и воздушную тревогу от залетевшего сюда невзначай оголтелого хищника, где знакомые разрисовки пестрыми линиями маскируют очертания домов, — тут, в Батуми, вы непременно переживете замечательный опыт: оборонную роль музея. Казалось бы, что такое мирный исторический музей рядом с чудовищными хоботами пушек, с лесом зениток, со сталью и железом! А вот толпа красноармейцев, вот лихая матросская бескозырка в прохладных, ослепительно чистых залах музея, и волнующая речь экскурсовода — прислушайтесь, посмотрите к ним! Показано действие книги А. П. Берия. Показана выковка острого, прямого, крепчайшего оружия большевизма, урок политического яснознания, и здесь — словно сходит со стены наш Маршал, простым, задумчивым взглядом глядя вам в душу. Сталин учил и спланивал рабочих в этом портовом городе, он жил возле завода в этой рабочей комнате, где стоят три железных кровати, он организовал демонстрацию на похоронах умершего армянина-рабочего, дав незабываемый урок братского интернационализма, дружбы и солидарности рабочего класса. Цитаты из книги Берия организуют материал музея. За время войны его залы пропустили огромный поток матросов, красноармейцев, командиров, рабочих, агитаторов, молодежи, колхозников, воспитывая, молча, укрепляя их боевую партийную закалку. И эта большая работа морального вооружения советских людей бесспорно сыграла свою историческую роль в том отпоре, какой дало Закавказье на приближение немецких полчищ в середине войны.

Не менее интересно проследить, что произошло в грузинской физиологии за эти годы войны. В Тбилиси всегда жил и работал один из крупнейших и оригинальнейших мировых ученых, замечательный физиолог И. Бериташвили. Его тончайшие исследования центральной нервной системы обогатили мировую на-

уку. Учение о торможении, как о следствии деятельного состояния нейропиля, вошло в классику мировой физиологии. И вот, школа физиологов, группирующаяся вокруг И. Бериташвили и созданного им Института физиологии, издала в 1943 году огромный том, представляющий ряд работ самого академика и его последователей, причем, лишь незначительная часть этих работ захватывает 1941 год до немецкого нашествия, все остальные падают на военные годы. Труды изданы с огромной тщательностью, с богатым иллюстративным материалом; каждой статье сопутствует вывод, напечатанный, кроме русского, еще и на грузинском и английском языках. Следует отметить даже чисто издательскую культуру этого большого научного вклада, что не так уж легко в военное время, при общих типографских и полиграфических трудностях. Но содержание этого тома будет раскрываться не год и не два — десятки лет будут учиться на нем молодые физиологи. Печать изящества лежит на методе Бериташвили. Предмет его научных экспериментов — это электрическая энергия мозга, колебания электрических потенциалов коры мозговых полушарий. В свое время человечество было потрясено и заинтересовано глубоким проникновением И. П. Павлова в мир душевной деятельности живого существа. путем изучения образования условных рефлексов. Опыты Бериташвили, проводимые при помощи «электроэнцефалограммы», то-есть электрической записи происходящих в коре головного мозга ритмических колебаний электро-волн, имеют такое же принципиальное значение в познании механизма высшей нервной деятельности человека, как и работы академика Павлова. Они так же, точным материалистическим путем, проникают в сложный мир, казалось бы, не доступный для познания. Если Павлов выводил наружу слюнную железу собаки, то Бериташвили, накладывая электроды как бы на кожу мозга (на лбу и в затылочной части), отводит «био-токи», так называемые альфа-волны и бета-волны, сопровождающие мозговую деятельность человека, на специальную регистрирующую пленку — и перед вашими глазами возникает как бы «почерк умственной деятельности человека». Метод такой записи был, правда, уже введен европейскими учеными; была также установлена разница между ритмом колебаний коры нормального мозга и деятельностью мозга патологического. Но школа Бериташвили, непрерывно развивая этот метод, расширяя и углубляя объем и границы своих исследований, подошла вплотную к интереснейшим дан-

ными, которые можно было бы назвать и «тайною личности» и тайною взаимоотношения личности со средой». Так, в статье «Нормальная электрическая активность коры большого мозга человека» мы читаем любопытный вывод: «Исследования, произведенные в течение длительного времени на одних и тех же лицах, показали постоянство формы электроэнцефалограммы, свойственной данному субъекту». Можно, следовательно, иметь точный слепок индивидуальности человека по записи электроволн, сопровождающих в мозгу его умственную деятельность. Но это не всё. На основе этих опытов и у нас, и на Западе предпринимались попытки делить людей на типы, исходя из разницы ритма и амплитуды альфа и бета-волн. Но тут подстерг ученых любопытнейший феномен. Опыты Бериташвили доказали, что возбуждимость и лабильность мозговой деятельности вовсе не стоят в оязи с поведением человека, не обуславливают собою то, что мы называем характером человека. Были произведены записи корковой деятельности очень спокойного в быту человека и исключительно беспокойного, даже буйного. И оказалось, что спокойный человек обладает высокой электрической активностью коры головного мозга, а буйный — как раз низкой активностью, хотя должно было бы быть наоборот.

Трудно и невозможно в небольшом очерке дать хотя бы приблизительный охват работ Бериташвили, но вот что замечательно: и его методика, и его тематика необычайно обогатились, необычайно оказались полезны именно в дни войны, когда страдали от тех или иных поражений мозга. Бериташвили перенес свою исследовательскую деятельность в военные госпитали. Его школа занялась изучением случаев контузии головного мозга и прямых ранений его. Понятно, какое обширнее поле открылось перед учеными. Электроэнцефалография оказалась нашим госпиталям огромную услугу. Она помогла в установлении правильных диагнозов, в точной локализации повреждений, в создании картины всего процесса в мозгу при повреждениях, в точном установлении полного выздоровления и возможности выписки больного, что в случаях мозговых ранений не всегда бывает легко для врача. Сам Бериташвили говорит, что «литература по этому вопросу... до настоящей войны не существовала». Так, советская физиология в дни войны сделала в Тбилиси еще один уверенный и крепкий шаг к познанию того, что считалось непостижимым — глубоко заглянула под черпную крышку совершеннейшего механизма — человеческого мозга.

IV. ПРОБЛЕМЫ ТУНГА

Мы ехали в один из приморских районов Западной Грузии, как «на охоту». Только предметом охоты было не птица и не зверь, а дерево, и не совсем обычное дерево. Нужно было глазами пощупать, как и где оно растет, какое оно, имеет ли необходимый уход, и почему, когда все остальные субтропические культуры Грузии развились с большим блеском, это дерево сравнительно отстало от них.

Весенние дни в субтропиках дождливы. Над нами клубилось тяжелое, свинцовое небо. В берег били волны, легкие и невесомые, цвета пепла. Сквозь сеющий дождь разворачивался по зигзагам необычайный наряд земли — черный шелк кипарисов, медвежья шерсть хамеропа, пыльный бархат туи, которого и дождь не проберет, зеленый фарфор кактусов, все — такое «невсамделишное», как дети говорят, безжизненное в своей бессмертной красоте.

И вдруг — словно луч солнца прорвался — по склонам запясало деревцо, удивительно милое и странное — с ярко-зелеными реденькими трепещущими листьями, с извилистыми, полными движения ветвями, раскинутыми вверх и в стороны, словно вот-вот повернется и закружится в хороводе. Наверное, десятки раз каждый, кто путешествовал по Черноморью, видел это дерево, как составную часть пейзажа, и не знал, что оно выходец из Китая и зовется «тунгом». Десять лет назад на V пленуме ЦК КП(б) Грузии товарищ А. П. Берия сказал о тунге, что развитием этой культуры, наряду с чаем, цитрусами и другими субтропическими культурами, должны крепко заняться наши партийные и советские районные организации.

Это внимание было оказано тунгу вовсе не из-за его прелести. С конца прошлого века тунг стали усиленно насаждать в Южной Америке и в колониях. Масло, получаемое из орешков тунга, считается высшим по качеству среди так называемых «высыхающих» масел. Изготавливаемый из него знаменитый китайский лак водонепроницаем, воздухоустойчив; тунговое масло предохраняет металл от ржавчины, служит превосходным изолятором в электротехнике; в лакированном блеске рояля и автомобильного кузова, в калашах, в линолеуме есть тунг; алюминий в соединении с тунговыми кислотами дает ценнейший сплав «тунгат-алюминий», и кто знает, какие сплавы может создать человечество из соединений тунговых кислот с еще более легким элементом, хотя бы бериллием. Уже сейчас насчитывается в Америке до 900 различных применений тунга в промышленности. И даже там, где нет развитого химического производства, а только одна маслобойка, выжимающая

тунговое масло, даже и там можно найти десятки разных способов выжать из тунга еще кое-что, кроме масла: черные отбросы шишек, в которых гнездятся орехи — на удобрение; отходы производства — «фуза» — на хозяйственное мыло, клей и т. д.

Почему же при колоссальной экономической выгоде и огромной увлекательности для технолога промышленность тунга до сих пор ещё не выросла у нас в образцовое хозяйство?

Выше я сказала, что тунговое дерево обычно воспринимается как составная часть лесного массива Черноморья. Это не случайность. Ни про кустики чая, ни про мандариновое дерево так не скажешь, потому что и чай и мандариновое дерево схватываются глазами как отдельные самостоятельные организмы. Они посажены плантациями, занимают сплошные пространства, представляют собой (по крайней мере на глаз) одинаковые культуры, типовые по форме: кустики чая раскинуты на сотнях гектаров, оформленные (кругло подстриженные) под один размер; мандариновое дерево стоит ровными рядами на окопанной земле за оградой садов.

А тунг воспринимается как дикорастущее дерево на фоне общего лесного массива. Те немногие тысячи га, которые заняты у нас под «тунг», составились из множества небольших насаждений, а не из нескольких крупных плантаций. Кроме Джиханджурского тунгового совхоза, говорить о больших плантациях тунга почти не приходится. Мало того, мы видим рядом несколько деревьев, но все они разные; вот более мощное по древесине, высокое, редколистное, с нераспустившимися бутонами — это японский сорт тунга «кордата». Он еще не расцвел. А рядом менее высокий, пышнолистный, весь усыпанный кистями чудесных пятилепестковых цветов оттенка перламутра, китайский сорт «форди». Но осенью, когда «на «кордате» уже появятся плоды, на «форди» их еще не будет. Разные сорта, разные по длительности вегетационные периоды, разный срок вызревания, разная урожайность, наконец, самое важное — разные по качеству плоды. И, кроме этих двух основных сортов, еще какие-то промежуточные.

О чем это говорит? О том, что прежние хозяева сеяли здесь тунг не критически, пользуясь семенами, завезенными отовсюду, не поставив как следует селекционную работу. Отсюда налет случайности, который отразился позднее и на всем тунговом деле.

Земля здешняя так буйно плодородна, такие родит сокровища, что у местных работников не было особенной тяги ни к долговому и медленному искусству селекции, отбору наиболее подходящих по сорту семян, ни к мичуринской разгадке секретов природы и власти над

поздно должно было привести к засорению сортов, к большим промышленным неудобствам. На примере тунга так и случилось. Много работы предстоит, чтоб исправить это положение.

Южный день клонится к концу. Сильнее запахла земля. За серой мглой, чуть тронутой эмалью заката — беспокойная близость моря. Стройный, неутомимый человек, первый секретарь обкома Аджарии, берется в Батуми за трубку телефона, чтобы как всегда, выслушать последнюю сводку по тунгу и передать ее в Тбилиси.

Пожелаем и мы борцам за драгоценное золотое масло суметь собрать его вовремя и столько, сколько требуется нашей стране.

V. ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ

Не нужно быть специалистом, чтоб понять, как дельно поработали в нынешнем году в Грузии над чайными плантациями. Словно бесчисленные стада зеленых барашков сбегает с гор кустики, которым рука формовщика придала округлую форму. Кустики аккуратные, земля меж ними разрыхлена, удобрена. Вдоль шпалер ходит сборщица в широкой соломенной шляпе и словно обеими руками на рояле играет — так быстро стригут ее пальцы первый, самый лучший всход чая — верхушки молодых зеленых веток с двумя-тремя листиками и так называемой почкой, то есть тем перышком будущего листа, которым заканчивается наверху стебель.

Техника сбора хоть и очень проста, но совсем не легка. Нужна привычка, чтоб миглом охватить глазом ветку и уверенно сорвать только ту часть, которую полагается срывать. Зато опытные сборщицы-рекордсменки делают это с такой безошибочной, молниеносной быстротой, что в глазах рябит от стремительного движения их пальцев. Высокие плетенки одна за другой наполняются зеленым бархатом листьев. Свежее, еще теплое от рук человека сырье тотчас же поступает на чайную фабрику. И прелесть производства чая в первые часы знакомства с ним почти заслоняет от вас его «узкие места». А прелесть заключается в темпе. Легко выдавить виноградный сок, но вино «доходит» медленно; легко окислить молоко, но сыр еще недавно требовал месяцы и годы, чтоб затвердеть и выйти готовым продуктом. А чай — это почти конвейер: утром вы его собрали, вечером можете пить. Все механизировано, все вычислено по минутам. Механически подается свежий чай на завялочную станину новейшей конструкции (Хочолава и Ашиян): здесь в течение двух часов он под теплой струей воздуха теряет свою свежесть и яркость, стареет, становится вялым. Отсюда он идет на веселый, круглый роллер, напоминающий две человеческие ладони, перетирающие неустанным круго-

вым движением положенные между ними чайники: роллер их скручивает, подсушивает и выбрасывает вниз уже в той червеобразной форме, какую мы знаем по готовому чаю. Теперь наступает самый ответственный момент, так называемая «ферментация»: открытые ящики ставятся в полумрак таинственной комнаты, насыщенной влагой и жаром. И ничего больше. Они стоят здесь два часа, три часа. Не изученный до сих пор с точностью химический процесс резко меняет состав чая: уменьшает процент танина, увеличивает содержание кофеина. Внешне это выражается в почернении чая. Потом ферментированный чай идет на полчаса в сушилку, и производство закончено. Опустите руку в готовый продукт — сухой и теплый, рассыпчатый черный чай, называемый «байховым». Наверху, в директорской комнате, самый тонкий сорт чая, гордость фабрики «Чай-Грузия», поставят перед вами в стакане в виде горячего янтарного напитка. Отхлебнув, вы почувствуете нежный и немного душный запах роз, словно поднесли к губам старинное «саше» — подушечку с сухими духами.

Другие сорта чая делаются еще быстрее. Если не подвергать чайные листья ферментированию, а сразу из роллера передать их на сушку, то получится не черный, а зеленый чай, почти без кофеина, но зато с большим процентом танина. Если взять формовочные отходы, то-есть веточки и грубые листья, остающиеся после весенней обрезки чайного куста, и при помощи сухого пара и гидравлики прессовать их, то получится кирпичный чай, родственник по своему составу зеленому. Когда их пробуете в обычном порядке на выставке или на фабрике, то с непривычки они не нравятся.

Но каждый народ пьет свой чай с неисчислимыми внешними деталями, повышающими привлекательность напитка. Таджик, например, пьет только зеленый чай. Он наливает его в пиалу не доверху, а на одну треть, чтоб не успел остыть; кладет на язык вместо кусочка сахара одну изюминку; и может в летний день пить и пить его, одну пиалу за другой, заглатываясь на бледнозолотой цвет чая в глубине пиалы. Монгол признает только прессованный, кирпичный. В холодные осенние ночи под звездным пустынным небом монгольский пастух отрубает кусок прессованного твердого «кирпича», бросает его в котел с молоком, солит, и острый, вдыхаемый с ночным холодом аромат закипающего напитка сзывает к его юрте соседей. Кирпичный чай пьют тоже из круглых пиал, с кусочком масла и поджаренной ячменной мукой или лепешкой. Необычно как будто, но вот англичане в свои непременные «файф-о-клоки» — время пятичасового чая — тоже ставят на огонь чайник и тоже предпочитают зеленый чай (не

ферментированный), и тоже кипятят его (а не заваривают, как мы), употребляя с молоком и с традиционным поджаренным хлебом с маслом.

В нашей стране есть миллионы потребителей зеленого рассыпного чая и миллионы потребителей кирпичного. Астраханские рыбаки рыболовецких артелей, например, ни за что не успокоятся, пока не получат заветные кирпичики, употреблению которых они научились у восточных соседей. Между тем, хотя производство таких чаев гораздо легче и экономнее тонких черных байховых сортов, мы имеем все еще очень мало фабрик прессованного и зеленого чая, тогда как производство черного непрерывно растет и расширяется.

В Чакве есть маленькая фабрика, где всегда и мокро, и душно, и шумно, как в прачечной. По сравнению с больницыной чистотой образцовых фабрик черного чая она кажется очень невзрачной. Но в ней кипит слаженная, веселая, на редкость живая и точная работа, не замирающая круглые сутки, не знающая никакой сезонности.

Вот теперь мы сможем вернуться к «узким местам» чайного производства: дело в том, что при всей удивительной краткости и стройности производственного процесса он страдает большой аритмией. Сырье для выделки черных тонких чаев поступает неравномерно; в мае оно идет, что называется, как когда: дождь — и нет сбора, холод — и остановилось вызревание; после снятия первых майских всходов весь июнь нет сырья — ждешь, чтоб появились новые побеги... И нередко бывает, что машины работают при нагрузке в 80 процентов и меньше, а поэтому у рабочих на чайной фабрике воспитывается чувство сезонности, беспокойное ощущение вечной нехватки сырья или, наоборот, боязнь, что свежего листа навезут больше, чем сможет взять машина, и тогда сырье залежится, а значит испортится (сорванный чай должен тотчас идти в производство). На чайной фабрике необычно отчетливо чувствуешь, какое значение для ритмичной работы имеет нормальное положение с резервом.

Так вот на маленькой фабричке прессованного кирпичного чая этой беспокойной аритмии нет. Формовочные отходы, собираемые весной в огромном количестве (идущие и на кофеиновый завод — мы изготавливаем из них кофеин), буквально заваливают единственную фабрику кирпичного чая. На фабрике скажут вам, что запаса хватит у них на пять-шесть лет вперед. Формовочные отходы не портятся, они хорошо сохраняются, и эти запасы сырья придают производству кирпичного чая его уверенный, прочный ритм. Невольно приходит в голову, что увеличение числа таких фабрик в Грузии, расширение

производства кирпичного чая могло бы в какой-то степени отрегулировать все чайное дело Грузии, смягчить несколько его «пики» и заполнить его «провалы». Процесс весенней обрезки (формовки) чайного куста, поскольку он из чисто подсобной операции превратится в заготовительную, неизбежно потребует большей тщательности. В этом году формовка всюду произведена добросовестно. Но так бывает далеко не всегда. В глухих местах плантаций, подальше от проезжей дороги, часто видишь торчащие из кустика неостриженные ветки. Улучшение формовки облегчит и улучшит сбор молодого чайного листа, а значит на какой-то процент ускорит и подачу сырья.

Увеличение числа фабрик кирпичного чая неизбежно заострит и другой вопрос: о качестве лао-чая. Раньше мы возили лао-чай из-за границы; сейчас употребляем свой, но он еще не достиг уровня привозного, грубоват, не так ароматен. А улучшение лао-чая отзовется и на кофеиновом заводе, где он тоже составляет один из видов сырья. Спрос на кирпичный чай у нас и сейчас очень велик. Он будет еще больше, если мы повысим качество чая. Для скотоводческих районов, для степных мест, для нашего Севера, для Кавказа и Закавказья зеленый кирпичный чай как питательный, вкусный и сытный напиток мог бы войти в состав основной пищи.

«Наша продукция даже здоровая, что хлеб, что щи», — говорит, сверкнув белыми зубами, белорусская работница маленькой фабрички, услышав краем уха наш разговор. И в доказательство она всей грудью любовно втягивает фабричный запах — приятный и подбадривающий, с привкусом таннина, свежий запах распаренного густого чая.

VI. В ГОРИЙСКИХ КОЛХОЗАХ

1. Колхоз «Гантиади»

После необъятного разнообразия Западной Грузии, где каждый продукт земли влечет за собой тут же, рядом, несколько видов промышленности и где сама земля, дерево, растение дают не только плоды, но и тару для их упаковки (веревки из драцены, материал для фанеры), сельское хозяйство Восточной Грузии может показаться однообразным. Но только на первый взгляд. По существу и здесь «сложный профиль», и здесь продукт земли быстро и необходимо требует промышленной установки — фабрички, завода; и здесь вырастает из земли своя тара, правда, не деревянная и не веревочная, а рожденная глиной и песком: гончарные изделия, огромные многопудовые сосуды для вина (квевры, карафы), стеклянные банки для кон-

сервов. И уже из одной этой тесной связи сельского хозяйства с пищевой промышленностью видно, какие сложные и дорогие растения производит земля Грузии, как много эти растения высасывают из нее и какой большой кропотливый труд должен класть человек на обработку и удобрение своей земли, чтоб восстановить ее силы.

Возьмем для примера один из самых характерных районов Восточной Грузии — Горийский. Он первый начал сеять сахарную свеклу, он решающий по плодово-овощным культурам, но он же идет впереди и по виноградарству. На небольшом сравнительно пространстве, в семи-восьми километрах от районного центра, не только пейзаж, но и вся экономика резко меняется. К северу вдоль тбилисской дороги, до горизонта уходят поля и поля. К югу — через двадцать минут езды — поднимаешься в горное ущелье. И чтоб полностью представить себе хозяйство района, необходимо съездить в оба эти конца. Мы так и решили, начав свой путь с северного маршрута.

Только что прошли дожди, дорога раскисла. Вместо красной земли Западной Грузии — здесь глинистый желтозем, тот самый, что под яблоню хорош. Машина лодкой нырнула с шоссе на проселок, и сперва мы очутились между свекловичными плантациями. Как лакированные, сидят на грядках в сверкающих брызгах чистые, прополотые, ровные кустики. «Хоть с метром пройдите — разрядка не шире 13 сантиметров», — горделиво сказали нам в районе. Люди не сразу научились выращивать урожай. В прошлом году совестно было назвать цифру, она казалась смешной по сравнению с украинской. А в этом году строго нормировали допустимое между кустиками расстояние; и есть такие смельчаки в колхозе «Гантиади», что обещают снять до семисот центнеров с гектара. Подхлестывает людей сама необходимость: в соседстве с районом — первый грузинский сахарный завод; до сих пор он работал между прочим и на армянском сырье, а в этом году армяне сами достраивают собственный завод, и Грузии нужно обеспечить себя своим сырьем.

За свеклой пошли яблоневые сады. Еще шестьдесят лет назад горийское яблоко славилось на Кавказе. В последние годы здесь к местным сортам прибавили привозные, а совсем недавно на грузинском желтоземе отлично прижилась наша антоновка. Показалось село Хелтубани — большое, в разливе нескончаемых луж, выпариваемых знойным солнцем. Дома двухэтажные, в подворотнях лениво, не вставая и не двигаясь, лежат собаки, вывалив из пасти горячие языки, и дышат, дышат, словно им воздуха нехватает. Россыпью желтых шариков катятся цыплята. Вверх и вниз по бесчисленным лесенкам мы

обходим жилища колхозников и, заглядывая с балкона в окна, видим почти всюду одно и то же: металлические кровати, машины, патефоны, фотографии, балалайки, вышитые коврики на стенах, тахту с длинными мутаками — зажиточно живут люди. Только не видать никого: ребята, старики и женщины все на полях. В колхозе 1,500 гектаров и 523 человека трудоспособных. А хозяйство трудоемкое: сады, бахчи, свекла — все требует неустанного глаза и непрерывной заботы. И все же малыми своими силами колхоз справляется. Помогает высоко патристическое чувство народа, выросшее за двадцать пять лет в колхознике гражданское самосознание, пробудившееся в нем чувство государственности. Стимулом служит рентабельность труда на земле. Колхозники богатеют. За труд агитирует сам продукт, возросшая его ценность — весомая, осязательная. Капустный качан глядит на нас так, что невольно наклонилась выполоть соринку под ним или снять жучка с листьев. Женщины набирают до 450 трудовых, одна Ачхазашвили дотянула в прошлом году до 471.

Узкими улочками проходим к двухэтажному, солидно построенному дому. Когда-то здесь подолгу гостил у своего брата-учителя один из своеобразнейших поэтов мира, грузинский классик Важа Пшавела. Перед домом — старый, ветвистый, вековой орех; молодые листья его, потерявшие между ладонями, остро и приятно пахнут. На карнизе еще сохранились старинные хевсурские фрески. Семья ревниво бережет два больших турских рога, из которых пивал поэт. И орех шелестит, как при его жизни. Союзу писателей Грузии следует поторопиться с организацией здесь дома-музея Пшавелы.

Председатель колхоза «Гантиади» Иван Михайлович Джанезашвили — большой и молчаливый человек в тугой синей гимнастерке на богатырском теле, с орденом Ленина на груди. Живет он хуже своих колхозников. Неправильный обычай сложился во многих здешних местах: когда, подбирая крепкие кадры, сажают хорошего работника в чужое для него село или в новый район, он оставляет на старом месте семью. Еще понятно, когда не хочешь нарушить учебу детей, но постоянный отрыв мужа от жены, представление об «очаге», о «родном угле», как о чем-то в стороне, вдалеке от места твоей многолетней работы — вряд ли все это нормально. Мы входим в полупустую и неуютную комнату председателя. Сюда поговорить с гостями собирается вокруг стола вся местная интеллигенция колхоза — нарядно, погородскому одетые зоотехник Люба Бежанишвили и агроном товарищ Звиадзе; степенная с выгоревшими от солнца ресницами председательница сельсовета, застенчивый бригадир животноводческой фермы,

уже перевыполнившей годовую программу; бухгалтер колхоза товарищ Цихитатиришвили. Он пришел незаметно, последним и уселся в уголке, мягко поблескивая добрыми глазами. Сколько соли, по пословице, надо съесть с человеком, чтоб заглянуть в его душу! Но есть выражение себя, своей души в общенародном жесте и слове, в той теплой волне, где индивидуальное, теряя свои узкие границы, по-новому находит и открывает себя через других... Когда, к концу длинного дня, неожиданно откинув голову, Иван Михайлович затянул друг детски тоненьким голосом старинную песню, тотчас же вступили в строй еще три голоса — и классическое грузинское четырехголосое пение мощно наполнило комнату. Пела древняя культура народа, пел его исторический характер, мягкий подгрунивающий юмор и добродушие вместе с победительной силой дружбы, с философским лиризмом. С нами была за столом один из талантливейших артистов Грузии, режиссер городского горьковского театра П. Я. Прангшвили. Он начал с бесподобной гортанной интонацией, словно жестикулируя звуками, изображать, как переключаются в поле друг с другом колхозные бригады. И, закрыв глаза, отдаваясь только интонационному богатству звуков, можно было через песню постичь чужую душу, заглянуть в интимнейший внутренний мир незнакомых нам людей. Стали понемногу наливать светом звезды, снизу потянуло сыростью, и первым встал шофер заправить своего стального коня.

2. Поездка в А т е н и

Другой, южный маршрут выводит нас из города Гори вверх по течению реки Тана. Шофер отчаянно переключивает рулевое колесо, огибая зигзаги; отходят вниз полевые культуры, стеной встают вдоль дороги деревья пшата, посаженные здесь как «зона заграждения» от резких ветров, — и уже закружились высокие виноградные лозы, вьющиеся вертикально, по колышку, в отличие от армянских и крымских, сидящих ниже и гуще по земле. Справа от дороги, на крутой скале, — зубчатые развалины средневекового замка: внизу, в пропасти, роется и ворчит горная речка; впереди на уступе горы гармоничский контур чудесной маленькой церкви VIII века «Сиони», а по склону открытые балконы тесно прижатых друг к другу, похожих на пчелиные соты крестьянских домов. Это старинное селение — Атени. Как всюду, где глубоко следы древней культуры, и здесь, над изъеденными мхом плитами, над сухой и нежной горечью мяты, над вереском, колеблемым ветром, стоит тишина — особая тишина, разогретая солнцем, полная неумолчного внутреннего ювора памяти, доносящего к вам в шеле-

сте трав, в шуршании ящерицы, в шорохе сухой земли под ногами — неясные видения прошлого.

Но книга прошлого необычно сейчас приблизилась к нам. В героике и в эпосе, в песне и в хозяйстве она оказывается «книгой с продолжением», переходит в современность.

Нас окружили колхозники. Все тут рыманы особым двойным румянцем — от солнца и от сока земли, древней славы Атени. Взираем на горушку, чтоб поглядеть эту «славу», и в разговоре все чаще повторяется одно единственное слово «марани». Что такое марани?

Первый, второй, третий — под ногами у вас круглые, свежесыпанные бугорки: могилки не могилки, а скорей клады, как рассказывают в сказках. Вот один клад стоит раскопанный. Из-под разрытой земли видна тяжелая круглая крышка, из-под сброшенной крышки — громадный, сидящий в земле глиняный сосуд. Заглянув в его темную глубину, видишь, как на поверхности пляшут яркие искорки. Это танцует в своем марани, то-есть в глубокой земляной яме, куда врыт сосуд, знаменитое крестьянское атенское вино. Сто пятьдесят лет назад Пушкин, проезжая через Грузию, писал: «Вина их (т.-е. грузин. — М. III.) не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в маранах, огромных кувшинах, зарытых в землю... недавно русский драгун, тайно открыв такой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине...»¹

В Атени выделявали крестьянским способом вино с незапамятных времен. Оно, правда, не выдерживает перевозки в бочках, но отлично сохраняется в бутылках. Тут же, неподалеку от бесчисленных «винных подвалов», находится нехитрое сооружение — давиальня, где осенью крестьяне дают лозу ногами, и сок ее стекает по трубам прямо в марани. Сохраняется и все еще действует тысячелетней давности естественный холодильник князей Орбелиани, нечто вроде длинного земляного ваала с уходящими вниз амбразурами, откуда дышит постоянный холод. Старинный крестьянский способ изготовления вина и хранение его в земле удерживают в вине тот особый, неповторимый привкус лозы, тот чудесный аромат виноградного стебля, какой отличает крестьянские вина от фабричных.

Стоит нестерпимая жара, лица покрылись каплями пота, дышать трудно от зноя. Но вот подошел высокий грузин с обожженными от солнца скулами. Он опу-

¹ Пушкин здесь повторяет обычную ошибку, называя словом «марани» сосуд. В точном смысле марани — это погреб, а сосуд — к в е р и, к а р а ф.

скается на колени и, засучив рукав, долго полощет стаканом в глубине марани, потом поднимает его на солнце, показывает искрящийся янтарем напиток, и мы видим, как стекло стакана запотело от ледяного холода.

Уже сейчас это вино служит лучшим фабрикатом для изготовления шампанского. Но для того, чтобы здоровый сок земли — живительное ледяное пламя Атени — стал доступен миллионам советских людей, здесь, на одной из площадок, уже строится первый в Союзе завод крестьянского вина. И опять нам приходится вспомнить Пушкина.

За год до наполеонова нашествия в Россию над Францией появилась необычайная комета. По словам тогдашних виноделов она оказала «сильнейшее влияние» на виноградники в Шампани. В те дни родилось крылатое выражение «вино кометы», и оно дожило до дней Пушкина, хотя смысл его и затерялся для позднейших комментаторов. Но Пушкин обессмертил это выражение в первой главе своего «Онегина». Как часто читали мы, не вдумываясь в смысл этих стихов:

«... Вина кометы брызнул ток».

И сейчас, когда в решающий год нашей победы, в дни салютов нашим великим армиям, рождается в Грузии золотистое «Атени», разве не следует прибавить ему подзаголовок на ярлычке: «вино кометы»? Ведь сильнее влияния кометы влияет сейчас на наши виноградники, на руки колхозниц, ходящих с опылителями, на мельчайшую россыпь крохотных зародышей винограда, похожую на горсть рыбьих икринок, на землю под лозами, на самый воздух земли нашей — счастливая уверенность советского человека в великой победе, в победе выстраданной, заслуженной, завоеванной всенародно!

VII. ЧЕРЕЗ БЕЗОБДАЛЬСКИЙ ПЕРЕВАЛ

Опять на ранней заре сухо шуршит машина по гладкому, словно высокobenному шоссе. Мы покидаем Тбилиси новой дорогой, через верхнюю часть города, мимо еще не потушенных ночных огней Загэса. В перламутровом свете встают древние, мшистые стены Мцхета, с пирамидальными куполами церквей и тесно сгруженными старинными домами. Потом — кудрявые ущелья, знойные в поднявшемся солнце поля с кукурузой, с пшеницей — эти богатейшие нивы были в руках немецких колонистов, и старое название «Люксембург» еще по привычке лепится к здешним местам. Стройные фигуры грузинок на полях, с повязанными головами, коричневые после дождя роднички... Как напоминает это лёгкое и изящное видение Грузии, ее кудрявых роц и древних стен —

чудесные страницы романов Гамсахурдия! За Борчалинским районом начинается уже крутой подъем в новый климат, новую географию, новую экономику — одна республика здесь резко и очень заметно переходит в другую. Много лет назад, летом 1829 года, Пушкин так описал эту перемену в своем «Путешествии в Арзрум»:

«Я стал подниматься на Безобда, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы... Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склону горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был другой...»

Прошло 115 лет, резкая смена климата знойной и влажной, «опаленной» Грузии на сухо-континентальную горную Армению переживается путешественником и сейчас так же остро, как пережил ее Пушкин, но пейзаж изменился неузнаваемо. Поэт говорит дальше об одинокой крепости Гергеры, лепящейся над рекой, — вместо нее большой районный центр Степанаван, с прекрасными городскими зданиями, мощные улицы, зелень садов и за оградой, в тени огромного дерева — дом-музей славного уроженца этих мест, давшего городу свое имя, Степана Шаумяна. Горный воздух, разреженный, заставляющий вас глубоко, всей грудью вдыхать его, пронизан в Степанаване душистым запахом скошенного альпийского луга. Недавно район получил звание Комитета Обороны, он идет в Закавказье первым по животноводству. За ним — снова подъем. И опять невольно вспоминается цитата из Пушкина: «Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. — Откуда вы? — спросил их. — Из Тегерана. — Что вы везете? — Грибоеда. — Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис (курсив Пушкина).

Автомобиль мгновенно берет подъем, по которому тащили тогда два вола, и на высоте перевала, где жизненный путь Пушкина скрестился с посмертным путем Грибоедова, сразу останавливается. Благодарная горная высота. Вокруг — зеленые волны гор, спускающихся в солнечный сумрак ущелья. И тоненький, неумолчный голос родника — на перевале большая каменная плита с бассейном перед нею, на плите барельеф с изображением встречи Пушкиным тела Грибоедова, надпись, повествующая о дате встречи, и железный кран, из которого неумолчно бежит прозрачная, чистая водянкая струя. За этим своеобразным памятником, возле которого обязательно делает привал каждый проезжающий, разбит небольшой садик с плохо принявшимися кавказскими сосенками и купами декоративных цветов, а ниже — убогие стены жилья, где живет

сторож. Как ни прекрасна идея — сделать на этом месте архитектурное оформление родника, но барельеф вас разочаровывает своею откровенной и наивной безвкусицей. А между тем этот своеобразный памятник-родник должен быть высокого качества, потому что в Армении за годы войны произошло примечательное явление: подлинно народное движение в архитектуре, приведшее к чудесным находкам настоящих элементов большого, эпохального стиля, и возникло оно именно в связи с родниками. История его, изложенная даже простой, честной прозой, напоминает песню.

Дело было на третий год войны. В Армении, как и всюду в тылу, перебросили некоторые военные заводы, и в ряде мест на полный ход заработала оборонная промышленность. А для заводов нужна вода, много воды. Но именно воды-то в Армении нехватало. Тогда военными методами быстро и споро сделали то, чего не могли сразу сделать в дни мира: провели к этим безводным местам Армении родниковую и речную воду со склонов Арагаца, собрали ее в коллекторы, пустили по трубам. И всюду, где пролегли трубы, получили свою долю воды и близлежащие деревни. Вода в сухой и безводной Армении — высшая драгоценность, крестьяне привыкли ценить каждую ее каплю. Деревня Паракар десятилетиями довольствовалась скудными водоемами, где собиралась дождевая и ливневая вода. Когда на паракарской площади воздвигли кран и крестьяне увидели чистую, брызгущую из него струю, — они выбрали делегатов и отправили их к популярному в республике товарищу Папяну, члену Президиума Верховного Совета СССР. Делегаты обратились к нему с необыкновенной просьбой.

— Ты видишь, мы получили воду. Разве можно дать ей течь через простой железный кран? Нашему колхозу желательнее украсить воду, нарядить ее в достойный наряд. Мы имеем средства, сами заплатим — ты только дай нам самого лучшего художника Армении, чтоб он украсил нашу воду, как того хочет колхоз.

Товарищ Папян, сам в прошлом колхозник, понял их просьбу, она взяла его, что называется, «за живое». И вместо того, чтоб формально связать их с какой-нибудь организацией, он предложил поехать в Паракар действительно лучшему, одному из самых талантливых молодых художников Армении, архитектору Рафаэлю Израеляну.

Можно было бы много рассказать здесь и о том, что пережил Израелян. Народный заказ архитектору — это мечта каждого настоящего зодчего. Заказ от народа в дни Отечественной войны — это счастье. И особенность «самого заказа»: украсить воду, заковать в камень — это целая проблема, над этим нельзя не задуматься. Раффо

Израелян хотел разрешить архитектурную тему заказа не отвлеченно от исторической минуты, а пронизав ее историей, так, чтоб в памятнике отразилось пережитое, заговорила Отечественная война. Он вспомнил, как много лучших сынов отдала деревня фронту, на защиту родины. Без воды не проживешь дня, к воде подходит с кувшином старуха-мать, отдавшая сыновей, идет молодая, думающая о далеком муже на фронте, невеста, проводившая жениха. Чужой, путник подойдет к роднику... Пусть же все они — и чужой, и близкие, вспомнят, узнают, переживут встречу с лучшими, кто защищал их труд и покой. Из этой мысли родился первый облик новой архитектурной формы — «стелла», плита, как напоминание о тех, кто отдаст жизнь, с красивою вязью на ней: «В честь славных сынов Паракара, бьющихся за свою родину на фронте». Но стелла напоминает только о прошлом. А вода, неустанно журчащий родник, неустанный бог водяной струи — это бессмертие, это настоящее и будущее; и чтоб камень, плита не задавила образа воды, Израелян раздвинул стеллу боковыми стенами, украсил ее живым и легким растительным орнаментом, ввел волнообразную, округлую линию. Камень запел вместе с водой.

Архитектор сам поехал «украшать воду», ставить свою стеллу. Он готов был сделать всю черную работу каменщика своими руками, так увлекла его архитектурная задача. И вот деревня Паракар получила «обрамление воды». Два кума из деревни Камарлю — совсем другого, отдаленного района — приехали как-то в гости к паракарцам, увидели, как красиво отделан родник, и загорелись поставить у себя «еще того лучше». Израелян получил второй заказ, уже непосредственно от колхозников. За камарлинцами зашевелилось селение Артик, богатое розовым туфом, подал голос далекий горный Зангезур, чьи бойцы считаются самыми храбрыми в республике, и пошло, и пошло: каждая деревня, каждый район захотели иметь у себя «украшение родника в честь своих сынов, сражающихся и павших», — чтоб память жила в народе, чтоб память перешла в века, чтоб память не была грустной, одинокой, слепой, затаенной в четырех стенах жилья, а чтоб возвышенно пела она вечной струей чистой воды, чтоб громко рассказывала она о славе тех, кто отдает за родину свое здоровье и жизнь.

И на Рафаэля Израеляна посыпались десятки заказов. Долины и холмы Армении до сих пор хранили одинокие следы прошедших в веках архитектурных стилей. — римского строительного стиля в древних дорогах, в развалинах крепостей; персидского в полукруге моста, в отрезке стены; древнеармянского в чудесном зодчестве

старинных монастырей и средневековых замков, встающих над каменными пропастями. Но сейчас страна покрылась новыми памятниками, разрешенными во всем многообразии причудливой мысли творца, но пронизанными одною исторической мыслью, одним настроением. Родники, обделанные в камень, стали голосом большой архитектуры, признаком исторического рождения стиля.

VIII. ВИДЕНИЕ СЕВАНА

1

Убежало вниз кудрявое Делижанское ущелье с теплым бархатом его сосен, с тирольским шумом его реки, с красными черепицами домов, — и вот уже до костей пробирает холод очень большой высоты. Пустынные деревушки молокан; вечно румяные, крепкие дети; в разреженном воздухе неожиданно приятный, горьковатый дымок от тлеющего в очагах кизняка — и вдруг, за поворотом шоссе, ярко-синим пламенем вспыхнуло перед нами одинокое в этом величавом океане голых зеленых гор Севанское озеро. Нет путешественника, который не захотел бы остановиться здесь свою машину, своего коня, сойти на землю, насладиться этим сиянием бессмертной голубизны, словно небо, пробираясь между гор, оставило на земле клочок самого себя. Севан спускает свои воды вниз, по руслу Занги, на гидростанции так называемого Севанского каскада! В пятьдесят лет он должен будет спустить две трети своего чудесного синего простора. Но казалось — это еще не скоро, не при нас, — а вот уже вдоль всего побережья тянется двух или полуметровой белой каемка обнажившегося известняка, так резко нарушившая привычную красоту Севана. Красивейшее горное озеро в мире уходит на нужды человека, открывая невзрачную изнанку своего земляного ложа во всем его неприбранном, грязновато-черноватом виде.

Но есть особые раны. Когда мимо вас проходит сейчас по улице инвалид, хочется снять перед ним шляпу: это за ваших детей, за славу и жизнь вашей родины он искалечен войной. Недавно москвичи видели двух хорошеньких белокурок девушек — они ковыляли на костылях в своих черных матросских штанах, и у каждой одна из штанин, новенького черного сукна, сшитого и скроенного со вкусом и с кокетством, болталась пустая. Девушки-дружинницы были веселы, хотя сердце наше сжалось за них, они знали, что выбрали почетную долю в жизни.

Могло бы не быть кольца известняка, образовавшегося вокруг Севана. Ведь можно было бы остановить на все годы войны

спуск озера: главная станция каскада, наиболее мощная — Гюмуш — все равно еще не построена; вторая капитальная станция, Озерная, тоже задержана военным временем и до сих пор не закончена. Вода озера сейчас идет на нужды одной, вдобавок не самой мощной, станции Канакирской. Но Красная Армия требовала нефти; бакинские промыслы, чтобы дать нефть, нуждались в каустической соде; получить ее в те годы было неоткуда, сообщение с севером было нарушено. Армянский завод синтетического каучука, разросшийся сейчас в целый город со сложнейшими, исчисляемыми в десятках, предметами производства, взял тогда на себя снабжение Баку, — и голубые воды Севана стали стекать вниз, перерабатываясь капля за каплей в киловатты на Канакирской станции, тяжело оседающая в заводских цехах нужной как воздух каустической содой, непрерывно, вагонами, идя в столицу Азербайджана, а оттуда — уже нефтью — стекая на фронт. Озеро стало своеобразным донором Отечественной войны, оно может гордиться белым некрасивым шрамом своим, опоясывающим каемкой его берега: есть и моя, севанская, голубая капля крови в победе советской земли над фашизмом!

Это — красивая страничка истории Отечественной войны. Позднее, когда мы найдем, быть может, другие способы использовать воды армянского моря — сотней маленьких установок заменим по течению реки Занги тяжелую батарею трех крупных станций; или придумаем что-нибудь вроде создания второго Севана внизу, в жарких пустынях Сардарабада, задержав Зангу в искусственной впадине и не дав ей уйти в Аракс; или научимся силой энергии возвращать с Гюмуш всю использованную воду снова наверх, в Севан, установив нерушимый баланс озера, — словом, когда мы спасем красоту Армении, жертва Севана или, лучше, жертва Севаном все же останется в песнях народа, в народном армянском эпосе как памятник героического прошлого.

2

Но Севан — один из многих вкладов Армении в оборону родины. Самые лучшие, талантливые, сильные сыны армянского народа ушли сражаться на фронт. Оставшимся надо было решать задачи хозяйственные в сложных условиях военного времени, когда людей меньше, а работ больше, и надо суметь взять больше и от станков, и от тракторов, и от земли, и от недр земных. В первый год войны, как и повсюду в нашем тылу, приостановились и здесь некоторые капитальные стройки рассчитанные на мирные нужды. Вместо них — возникли новые предприятия. С одного конца нашего Союза в другой пере

кочевали заводы, подчиняясь мудрому плану перемещения промышленности. И республике Армении тоже пришлось встречать гостей — между ними был и моторемонтный завод, переброшенный в нее из Джанкоя. Он сыграл здесь большую роль. До войны Армения не производила для себя ни сельскохозяйственных машин, ни запасных частей к ним: соседние области и республики снабжали ее всем необходимым. Но сейчас нужно было снять с земли больше, чем в мирное время — и хлеба, и винограда, и картофея, и плодов, и технических культур, — не только для себя, но и для Красной Армии, для своих соседей, и в Армении быстро один за другим, стали расти свои заводы. Появились первые за четверть века, собственные, заготовленные у себя дома запасные части к тракторам, машинам и автомобилям. Сейчас тут в семи районах открываются семь новых машинно-тракторных мастерских — то-есть, по сути дела и в условиях армянского хозяйства, семь новых механических заводов — а в целом Армения получила десять заводов сельскохозяйственных машин. Так же быстро выросло число и металлообрабатывающих предприятий. Но поля Армении — это не безбрежные поля России, не широкая гладь кубанских степей, не равнины Сибири, где даже к горизонту не чувствуешь круглоты земли, а лоскутные клочки по склону гор, и для них нужен особый плуг, так называемый «горный плуг», не изготавливаемый нигде в центре Союза. Чтобы производить его, нужен кузнечно-прессовый цех, а пресса до войны здесь не было, как не было и штамповки. Лишь за время войны, на производстве ручной гранаты, армянская промышленность овладела штампом, армянский механический завод получил новый цех, кузнечно-прессовый, и будет выпускать несколько тысяч горных плугов в год. Так, от ручной гранаты до горного плуга в каких-нибудь три года республика, имевшая передовую химическую промышленность, но почти не знавшая ни металлообрабатывающей, ни станкостроительной, стала превращаться в солидный центр машиностроения.

... Опять лента шоссе, свежий воздух, насыщенный горьковатой полынью, гуденье мотора. И вдруг в лицо вам пахнуло особенной струей незнакомого, сильного, сладкого аромата. Шофер резко затормозил машину, открыл дверцу, и мы вышли на зеленую траву, уже тронутую желтизной осени. Перед нами — особый завод, не имеющий ни стен, ни дверей, а только двухэтажный каркас с перекрытием наверху. Гигантские овалы котлы, завитки труб, змеевики, краны, с тяжелой маслянистой испариной на них, — и название, вызывающее в воображении работу кустарей, тонкое производство необычайной, не машинной продукции: «флорентинский со-

суд». Мы на территории «гераниевого завода» — и «флорентинский сосуд» отделяет продукцию завода, масло, от воды. Масло особое, стоящее даже в неочищенном виде полуфабриката очень дорого. Два раза, в сентябре и начале октября, режут герань на огромных плантациях и загружают зеленью перегонную трубу завода. Из одной тонны цветка получается кило двести граммов гераниевого масла. Так силен аромат герани на этом производстве, что он валял бы с ног и отравлял рабочего, если б завод не строился «на открытом воздухе», без стен. Веселый украинец Даниил Андреевич Приходько, главный механик завода, работает здесь вместе со старшим агрономом по герани Ашотом Аветовичем Тарояном, который был трижды ранен на фронте, разорван штыком и, как он сам говорит, «аккуратно зашит». Казалось бы, глухая глушь, пустынная земля вокруг, так далеко от больших городов, от фронта — и цветков, сырье завода, нежная, простенькая герань, примелькавшаяся на городских окошках... Но это — военный завод, и продукт его — серьезный продукт. Гераниевый завод был построен здесь семь лет назад, а за три года войны он дал фронту драгоценное для авиации гераниевое масло.

На складе мы «дегустуем» различные флаконы с эфирными маслами, но тут же разочаровываемся. Так они резко, отвратительно пахнут! Где же их прелесть для парфюмерии, где их аромат? Но Приходько, улыбаясь, берет старую, залежавшуюся трубку, из которой когда-то давно стекала отработанная вода на заводе, и подносит ее к нашему носу. И тут мы вдыхаем растворенный в годах, в воде, в воздухе, во всем, чем сильнее время и пространство, нежнейший, легчайший, приятнейший запах. Старая народная мудрость «надо знать меру» раскрывается тут с ее великой, практической стороны, заслоненной для нас моральной стороной, и мы начинаем чувствовать «меру», как предел своего восприятия, в первоначальном, деловом ее назначении.

И опять бежит нескончаемая дорога по зеленому холмам, через перевалы и ущелья. Бессмертная седина старого, мудрого Арарата плывет над армянским нагорьем, а внизу, на полях, в городах, в цехах трудятся люди, трудятся тем сильнее, чем ближе победа, чем виднее становится обещанный нам «праздник на нашей улице».

IX. АРМЯНСКАЯ КРЕСТЬЯНКА

1

Старый, мудрый поэт Аветик Исаакян написал песню. Ее поет армянская крестьянка, обращаясь к мужу-фронтовику, поэт удивительно трезво и практически, обле-

кая и ритм, и слова песни в особенности своего, женского быта; она равномерно, взад и вперед, качает деревянную «люльку», но не с ребенком, а ту, где женщины горных районов Армении сбивают молоко на масло; и мужу своему обещает хорошее угощение: вернешься жив-здоров, без стыда и со славой — накормлю тебя самым лучшим, самым отборным маслом весеннего, майского урожая...

Эта песня художественно тонко передает психологию прежней армянской крестьянки. Армянка всегда работала много, работала не покладая рук, но то была преимущественно работа для дома, для семьи, даже в колхозах еще оставалось до войны разделение обязанностей на «мужские» и «женские», и, например, полевые работы считались мужским делом, а те, что ближе к домашним, на молочной, на птичьей ферме — женским.

Но Отечественная война и роль, выпавшая в этой войне армянской крестьянке, изменили весь этот привычный уклад.

Сопоставим простые факты. Маленькая республика отдала в Красную Армию большую часть своего мужского населения. А что же произошло с самой деревней, с сельским хозяйством Армении за три года войны, — запустело ли оно, отодвинулось ли вспять, отразило ли на себе это изменение в рабочей силе и как отразило? И тут нас встречают поразительные данные.

Берем для сравнения годы 1940—1943. Оказывается, на третий год войны посевы под зерновыми расширились по сравнению с 1940 годом на 18.500 гектаров. Почти вдвое выросли площади под картофелем и овощами, на 7.400 гектаров увеличилась площадь под кормовыми, на тысячу гектаров — под трудовыми техническими культурами, из них значительно выросли табак, сахарная свекла, лен. И что особенно важно — почти на 10.000 гектаров расширился озимый клин.

Но музыку цифр, как ноты, надо суметь «услышать в звуках», то-есть воспринять во всей ее осязаемой конкретности, понять, какую реальность она воплощает на земле. Разберем каждую графу. Что это значит — увеличение посева зерновых? Откуда в пустынной, сухой Армении, где почти каждый новый уголок земли требует искусственного орошения, очищения от россыпи камней, нашлись эти лишние гектары? Для того, чтобы найти их, чтобы расширить посевы, неминуемо требовалось провести новые каналы, а следовательно — положить много труда на землекопные, скальные, инженерные работы. Дальше пойдем — расширение площади под техническими культурами (табак, лен), овощами и картофелем — это ведь тоже не только «вспаши» и «засей», а обеспечить уход и поливку, то-есть вложить большой,

серьезный труд в землю. Но самое интересное — это цифры по кормовым и по озимому клину. Означают они очень многое. Кормовые — люцерна, клевер, однолетние травы, которые играют в животноводческой Армении огромную роль, всегда были слабым местом в сельском хозяйстве республики. Из года в год здесь план не выполнялся: и по общей причине — горное скотоводство всегда неохотно и с задержками переходит от кочевых пастбищных форм к культурным стойловым; и по местной причине — посев кормовых в Армении зависит от привозных семян, и, как правило, эти семена ей всегда не досылались. Казалось бы, война, трудности транспортные должны были еще сильнее ударить по этому участку хозяйства, а вышло наоборот: вопреки всему площадь под кормовыми увеличилась! Чтоб смочь это сделать, нужно было взяться самим за семенное дело, начать семеноводство по кормовым. Наконец, расширение озимого клина. Это ведь тоже не просто — это сопряжено с организацией севооборота, то-есть, с высшей формой борьбы за культуру полевого хозяйства. О севообороте здесь говорили непрерывно, говорили в самые мирные, самые спокойные годы нашего строительства, да все как-то не удавалось, некогда было, не везде времени хватало остановиться и обернуться, чтоб всерьез хорошо и прочно его провести, откладывали на завтра, до лучших дней. Но вот настали не лучшие, а худшие дни, война, когда время еще более «не терпит», когда требование «дай хлеба» еще более настоятельно, — и тут вдруг нашли в эти дни в Закавказье реальную возможность заняться севооборотом, частично кое-где провели его, яснее и лучше обмозговали его проведение, и, например, по плану — к 1945 году — в Армении он будет проведен повсеместно. Это — поразительный факт. Он означает новую страницу в истории сельского хозяйства Армении. И если наша промышленность в Отечественной войне сделала технический скачок вперед, победила путем рационализации, улучшения технологии, роста культуры, то в Закавказье и на полях наших мы сейчас одерживаем победу путем интенсификации и севооборота, то-есть стоим перед таким же ростом культуры.

Подытожим сказанное: огромное вложение труда в землю во время войны, землекопные работы по проведению оросительных каналов, борьба за культурное ведение хозяйства, организация и расширение собственного семеноводства — все это падает на три военных года, все это происходило и происходит не на бумаге, а в действительной жизни республики, и в основном делается (как это ясно из самой простой арифметики) силами и трудом армянской крестьянки. Ей не только при-

лось пережить целую революцию в своем трудовом быту, то-есть принять на себя и пести непривычные физические полевые работы, которых она не знала до войны, но и участвовать в острейшей борьбе сельского хозяйства за передовые формы, за новую ступень культурного роста. А так как сейчас армянская крестьянка больше чем когда-либо выдвигается на руководящие посты — председательницей колхоза, сельсовета, бригадиром, организатором, то она участвует в происходящем движении не одним только физическим трудом, а всем своим накопленным опытом, волей, сообразительностью, организационным талантом.

Поэт Аветик Исаакян получил приглашение в гости в оазис на созданную им песенку. Звал его замечательный колхоз. у подножья Арагаца, организованный выходцами из Турции, сасунскими армянами. Поэт увидел перед собой крепкие, приветливые крестьянские домики, густые волны чистых, выхоленных посевов, сады, над которыми жужжат неподвижные, словно ввинченные в воздух пчелы, — и навстречу ему из каждого дома грянула его собственная песня. Он медленно шел мимо открытых дверей, сугулый, подтянутый, и всюду его умные, прищуренные глаза встречались с другими — смелыми, смеющимися, ласковыми глазами. Статные сасунки, крепкие женщины, словно вышедшие со страниц эпоса, высоченного роста, широкой крестьянской кости, с хорошо посаженной головой на плечах, — встретили своего поэта, мерно под пение раскачивая деревянные люльки с маслом. Для него, для почетного гостя, в этот час встречи крестьянки бросили свою сегодняшнюю большую работу, кирки и лопаты, встали на место древних бабок и семилетних девочек и «представили», «сыграли» ту исаакяновскую идиллию, о которой так простодушно поется в песне.

2

Страстная потребность взглянуть на нее, на эту новую армянскую женщину, гнала нас из колхоза в колхоз, и всюду нам обещали встречу с ней в сумерки после работ. А сумерки никак не падали, долгий день не кончался, долгие дороги вели нас во следам вложенного ею труда, по следам кирки и лопаты. Мы проезжали там, где несколько лет назад ничего не было, кроме пустыни. Художники воспели эту пустыню потому, что она была сказочно хороша, особенно осенью — на горизонте одинокий голубой кристалл змеиной горы Илан-Даг, вокруг высохшая рыже-красная на закате, библейская земля, цвета пыржелой гравюры, и единственная растительность — грубые пучки «лошадиного щавеля», той же гаммы и того же оттенка.

Но и воспетая за сходство со старой гравюрой — это была пустыня, пространство, вырванное у человека, лежащее втуне. А сейчас словно подняли невидимые заслоны для невидимого зверя, сюда набежала вода, и чудом сделалось это присутствие воды на земле! Вдоль дороги обильно, без дождя текут и чмокают, уходя в шлюзные ямки, бесчисленные серебряные струи, булькает влага в траве, стоит влага по межам пышных густых всходов, убралась вся земля в урожай, выросли вдоль дороги многочисленные сады, свесились над дорогой по узким деревенским улицам американские клены, которые и здесь, как в Сибири, растут удивительно быстро и стремятся сплести над дорогой свои ветви зеленым непроливаемым сводом. Чтоб вывести сюда воду, устроить ее, создать ей бесчисленные мелкие русла, из дома в дом, из сада в сад, бросить ее на поля, регулировать, открывать и запирают ее, нужно было по-мужски поработать киркой, рыть землю под невыносимым солнцем, обливаясь потом...

С незапамятных времен в одном из самых плодородных районов Армении, Аштаракском, было одиннадцать маленьких каналов на одиннадцать селений, и все они питались водой из маленькой алагезской речки Амбердчай. Но так как эти каналы были маленькие и мелководные, вода в них плохо хранилась, усыхала, просачивалась, и ее не всегда хватало, то в Аштараке сейчас задумали построить один единственный большой полноводный канал на все деревни, с тем, чтоб воды хватало с избытком. Строить канал нелегко: сперва, у самого подножья Арагаца, надо было пробить к месту стройки дорогу, а уже потом начать копать землю. Аштаракские женщины ушли наверх, жили в палатках, спали на земле и почти закончили большое инженерное сооружение, резко меняющее весь водный баланс района. «Работают эти женщины, как асланы,» — почтительно сказал о них старичок-учитель. Аслан — по-армянски лев. Где же, наконец, эти львы, когда мы увидим их?

Все крепче и прохладней становился воздух, но запах земли умирал в нем, поглощаемый вечерней росой, как темнота гасит краски. Мы шли к колхозу через небывшее поле. Оно стояло в рост человеческий, по четырнадцать стеблей из одного корня, и на тяжелых, мохнатых пшеничных колосках были повязаны узкие красные тряпочки. Семь колосков обвязанных на семь необвязанных. Мы притянули к себе жирный колос в бантике — он был безусый, лишенный длинных своих волосков. Бантик обозначал, что колос «кастрирован». Это было поле семеноводческого колхоза.

Чтоб зерновые колосья не оплодотворяли сами себя (что ведет к постарению, измельчанию семени, падению урожайности),

проводится ювелирная работа семеноводов. Растение ставится в искусственные условия, при которых опылителем его может стать только «дальний родственник», соседний колос. И здесь, как во всем живом царстве, близкое родство, перекипание в собственном соку неизбежно приводит к дегенерации, а отказ от него — к омоложению, к новому биологическому расцвету. За этим полем будущей «элиты», т.е. высокоурожайного, крупного пшеничного зерна, показались такое же ювелирно обработанное поле ячменя «паллидум» и, наконец, вдалеке блеснул слабый огонек: это на веранду маленького сельсовета вынесли керосиновую лампу.

Мы побежали на огонек, а за нами, над горизонтом, словно обдавая нас жаром или опахивая теплым, нагретым воздухом полей, выкатывался огненный ободок необыкновенно большой луны.

В колеблющемся двойном свете, в острых рембрандтовских очертаниях перед сельсоветом двигалась, волновалась толпа. Из сумерек в свет выступали, озаряясь с внезапной яркостью, то круглое, молодое лицо с темными щеками, в которых угадывался густой, почти кирпичный румянец, то морщины, бесчисленные, лучеобразные, сухого старушечьего лица с опущенной низко повязкой. Но больше всего было лиц взрослых женщин, и это были, наконец, желанные нам «асланы». Невольно замедлив шаги, мы вступили в круг неверного двойного света.

Серьезные, хорошие, простые женщины обступили нас. Прохладный ветер обсушил пот с их щек, но еще не остудил жар их разогретых рук, державших косы, тяпки, лопаты, они пришли сюда прямо с места работы. От них веяло могучим теплом, и каждой хотелось притесниться поближе к нам и рассказать о себе, очень много рассказать, кажется, конца нет, сколько рассказать, но когда до нее доходила очередь, каждая внезапно теряла слова.

И туго, по одному доставались нам эти слова: зовут Дардо или Гулизар, или Нубар; тридцать лет, тридцать два, тридцать восемь; муж на фронте, пишет, пропал без вести; четверо детей — средних лет армянка непременно имеет не меньше четырех, а пожилая — так и восемь, девять, и это не только в деревне, это и в городе; учатся дети, маленький в яслях; двести — полтора ста, сто восемьдесят трудней (в середине лета). Как работаете? Трудно, конечно, ну да время военное, нельзя, чтоб легко, никому не легко. Раньше на полях не умела — сейчас все могу, любое дело дай — сделаю.

Почти счастьем для них была эта беседа в черноте ночи, при мигающем от ветра свете лампы. Разные — и неуловимо схожие той человечностью, твердостью, доброт-

ностью в чертах, крупных и грубоватых, но озаренных внезапно внутренней тонкой душевностью, какая дается большой жизнью. Вся тяжесть времени, весь ответ за урожай, за честь родной земли, за славу своей республики легли на эти плечи, на эти руки, протягивающиеся к вам со всех сторон, чтоб пожать вашу руку. И с великою нежностью и уважением жмешь их одну за другой — крепкие, шершавые, широкие, теплые, а они все тянутся и тянутся, и улыбки стали детскими, дружелюбно сияют глаза... Вы чувствуете: не подведут эти руки! Вывезут страну могучие дочери народа! Не доспят ночей, не доедят куска, но не пропадет у них ни одно колхозное зерно, ни один колосок в поле. И когда-нибудь о них, асланах Армении, как о наших бойцах на фронте, будут складываться в народе чудесные, славой овеянные былины.

Х. ЕРЕВАН

1

В этот час и день, семь тридцать утра, второе декабря, должно быть по всем календарным правилам особо темно, густо темно, ведь мы вступили в наших широтах в царство наиболее длинной зимней ночи, наиболее короткого зимнего дня. Но квадрат окна передо мной светится странным серебреным светом. За ним лежит город — в дыму прозрачного торжественного сияния большой луны, стоящей в утреннем небе, как громадная звезда, а небо уже посветлело, уже розовеет над горизонтом, и уже в его розовой дали встают белые, покрытые снегом, склоны Арагаца.

В этот двойной час — соперничества ночи и утра — Ереван прекрасен непередаваемой красотой. С двух сторон замыкают его двуглавое седло Арарата и четырехглавие Арагаца. Казалось бы, в бессмертии того, что сделано природой, таким маленьким и ничтожным должно казаться то, что сделано человеком, а между тем именно эти великаны на горизонте, эта совершенная прозрачность воздуха, чистота света, усиливающегося с каждой минутой, и помогают понять всю полноту и все величие архитектурного стиля Еревана, одного из наиболее органичных по стилю городов в нашем Союзе.

Четверть века назад его еще не было. На месте его был совсем другой — пыльный губернский городишка, с немногими крупными домами казенного образца, какие тогда воздвигались для «казенных присутствий во всех уездах России, независимо ни от характера, ни от истории, ни от географии местности. За главной улицей вставала неопишуемая теснота переулков, целое сборище плоскоголовых, однообразных домиков, часто из необожженно-

го сырца, грозившего рассыпаться через десяток-другой лет. На улочках было тесно и грязно. Никто их не подметал. Каждый день с четырех часов пополудни поднимался знаменитый ветер «фен» — он дул с обнаженных песчаных склонов Канакирских гор. И начиналось то, что ереванцы называли «пыльной бурей». С гор неслаась тучами мелкая, щепнистая колючая пыль; с улиц столбом поднималась пыль своя, городская, полная мусора, бумагонок, нечистот. И все это кружилось, плясало в воздухе, забивало вам глаза и рот, хрустело у вас на зубах.

Пыль и ветер гуляли невероятно свободно, хотя старый Ереван был в своем роде запертым лабиринтом, городом бездорожья, только одна основная дорога вела в него со стороны араратского нагорья и одна вводила из него — в сторону озера Севан.

Гордостью города была прекрасная вода, вторая по качеству во всей Европе. Но воды в старом Ереване видно не было. Вдоль улиц текли, правда, арыки, но они были грязны и засорены; стояли железные краны, но они были безобразны. Вокруг них никогда не просыхали лужи, толпились женщины с ведрами и чайниками.

Так, открытый для пыли и закрытый бездорожьем для человека, с чудесной водой, обезображенной городским неблагоустройством; с красотою местоположения и старины, не использованными ни в сечении улиц, ни в плане; с прелестной рекой Зангой, видимой жителю лишь в грязном крутом ущелье под стенами коньячного завода, незастроенном, как загородная свалка, — вот чем был старый Ереван около трех десятков лет назад.

А сейчас — выйдем на балкон, не боясь колючего декабрьского холодка. Рассвет уже перешел в яркий день, и в его сияющей голубизне город встает с четкостью хорошей цветной гравюры.

2

Прежде всего — горы. Они не голы и не песчаны, а покрыты черными точками деревьев. Тысячами, из года в год, высаживали сюда, на эти пустыри, всевозможные саженцы, приспособленные к местному климату. Они крепко внедрялись корнями в почву, укрепили ее, покрыли зеленой шапкой — и канакирскому ветру нечего больше сдувать с этих гор на город. Но и в городе ему нечего сдувать с улиц и крутить в воздухе: блестящий, потемневший, как зеркало, от непрерывного действия автомобильных шин асфальт покрыл новые, широкие, идущие во все стороны проспекты Еревана. Сколько их выходит сейчас из города вверх, в волнистые ущелья гор, и вниз, в нескончаемые сады-равнины! Они бегут, извиваясь асфальтом,

мимо новых, цветущих поселков, куда в течение этих лет непрерывно текли переселенцы. Названия поселков говорят или о месте, откуда пришли сюда новые жители — Себастья, Нор-Арабкир, Малатия; или о человеке, давшем им новую родину — Анастасаван; или о древнем народном герое, возрожденном современной литературой — Давидашен. Домики тут нарядные, крыши их двускатные, крытые красной черепицей, и на улице не редкость услышать иноземную речь, французскую, ново-греческую, тут есть переселенцы из Валенсии, из Марселя, из Бордо, из Афин и Пирея. Там и сям встают широкие стены клуба или школы, или фабрики — шелкоткацкой, часовой.

Вернемся отсюда обратно в город и проследим другую темную ленту проспекта, бегущую в противоположную сторону. Здесь журчит вдоль асфальта Гедарчай. Справа — каменоломни, завод строительного щебня, дальше — теннисные аллеи богатейшего зоопарка. Еще два-три узла дороги — и мы видим пышные брызги водяного каскада в разбитом на склоне горы многокилометровом ботаническом саду. И опять вернемся, опять проследим ниточки выводящих из города дорог — и ту, ровную, обнаженную деревьями, которая ведет к вокзалу; и ту, что не спускается к реке, взлетает на новый, грандиозный мост, соединяющий на огромной высоте два берега Занги на уровне города; и ту, которая идет вверх, слегка и незаметно повышаясь. Куда она ведет? Только десять лет назад я ехала тут в самом примитивном экипаже человечества — в крестьянской арбе, везомой быками, потому что иным способом проехать по этой дороге было нельзя. Ехали долго, часами, пока наверху одинокой лужицей между вытоптанной стадами травой не блеснуло озерко Такмаган-Гель. — никому тут не нужно, затерянное, заросшее, без единого жилья вокруг. А сейчас сюда идет трамвай, он идет по улице, обстроеной домами, идет густым городским кварталом. Город все продолжается, он не обрывается и наверху, он растет во все стороны, и одинокое озеро, оказывается, уже впаило в его черту. Где оно? В красивом парке, построенном для молодежи, среди густых деревьев. На берегу озера лодочная станция, трамплин для купальщиков, вышка для парашютистов, пляж.

Так победили строители Еревана две главные его беды: бездорожье и пыль. Вместе с веселым голубым узлом асфальтовых дорог исчезли пути для «пыльной бури». Но станем смотреть на самый город: видение его, особенно с вышки, с воздуха кажется почти сказкой. В Шехерезаде дух, вышедший из бутылки, скованной печатью Соломона, строит из ничего в одну ночь, по приказу героя, вол-

шебный город. Но вот это возникло без волшебства, хотя оно — и прекраснее, и богаче любого волшебства. Его создали из армянского камня — строительного туфа всех цветов и оттенков. Благородный натуральный камень диктовал армянским архитекторам благородные архитектурные формы, органически связанные с классикой родного зодчества: целая галерея дворцов, целые аллеи жилых домов, и ни один не похож на другой, но нет между ними и безвкусного противоречия — широкие камни фундамента, полуарки и полуколонны фасада, причудливые башенки наверху, высокие открытые пролеты дворов, с неожиданным видом на панораму города, на Арарат, красивые линии балконов. Вот монументальные колонны белого здания (Государственное издательство Армении); благородный мотив внутренней двусторонней лестницы — выложенная отполированным розовым мрамором передняя Государственной библиотеки; круглый гармоничный храмик, в своем круговом движении напоминающий знаменитый храмик Браманте в Риме (Государственная обсерватория); и, наконец, изумительные два здания, доминирующие над всем городом, дающие как бы ключ к пониманию его общего стиля и характера. Дом Правительства из розового армянского туфа и Театр оперы и балета, оба — создания гениального народного архитектора Армении, покойного академика А. И. Таманяна. Он приехал в Ереван только после установления советской власти и отдал все свое зрелое мастерство, всю вторую половину своей большой жизни творца — делу перепланировки Армении; он первый поднял голос за необходимость использования богатого древнего зодчества Армении, как собственной классической традиции. Таманян был выдающийся, универсально образованный человек. Все подлинно национальное, достигающее до государственного значения, государственной высоты, родится не только из умения использовать свою местную традицию, но и из творческого сочетания чисто местных форм с законами мирового развития искусства. Академик Таманян, возродивший армянскую национальную архитектуру, сумел сочетать строительные элементы армянского зодчества со строгой стройностью Камерона, с суровой и великой закономерностью дворцов ренессанса, — и это открыло перед молодыми архитекторами Армении широкую дорогу для развития.

В старом маленьком Ереване всегда было тесно, и городу, казалось, совершенно некуда развиваться. Но сейчас в новом, большом, столичном городе Ереване появилось очень много пространства, его проспекты широки, как в лучших мировых центрах, его площади обширны, а вме-

сте с тем открылись и новые возможности для его дальнейшего роста. Зайдите в архитектурные мастерские городского совета — вам покажут проекты целых новых кварталов будущего города: комплекс домов Академии наук, комплекс одноэтажных вилл городка для работников искусства и литературы, комплекс дворцов посольского квартала. Ереван стал городом зелени. Не забудем, что географически здесь — так называемая «зона пустыни». Посадить дерево — не трудно; вырастить и сохранить его здесь — трудно. За несколько лет в Ереване посадили и сохранили немало скверов, деревьев, бульваров. На фоне зелени возвышается мощный памятник Ленину работы скульптора Меркурова, зелень обрамляет со всех сторон здание Оперы и балета, выкопанные бордюры зелени оттеняют розовый туф Дома Правительства. И — в полный свой голос заговорила в Ереване вода. Вдоль улиц красивые каменные раковины держат в своей глубине серебряную, день и ночь прядущую, струйку живительной питьевой воды. Серебряным веером встают брызги двух фонтанов возле памятника Шаумяну. А красавица Заяга вошла в самый город или, вернее, центр города вышел к ней. Раньше надо было пройти семь километров, чтоб добраться до красивого базальтового ущелья реки, а сейчас из центра, через подземный туннель, задуманный с той же строительной роскошью, что и московское метро, — вы в пятнадцать-двадцать минут выходите на прогулку прямо в это ущелье. Вам навстречу поет голубая река, несущая свои воды из Севанского озера. Берега ее одеты густым кружевом садов. Сейчас, в декабре, эти сады еще хранят окраску осени — яркую желтизну ив, кроваво-красный цвет груши, коричневую ржавчину дуба. Тонко свистит гудок, бежит из ущелья паровозик — это действует детская железная дорога, построенная здесь ереванским «Дворцом пионеров».

Новая Армения возникла и преобразовалась в четверть века, но тот новый Ереван, о котором я пишу, создан лишь за последние семь лет. Чтоб воплотить в жизнь мечту архитекторов, провести широкие государственные мероприятия, докончить перепланировку по живому телу старых улиц города, чтоб окрылить творческую инициативу целого поколения строителей, нужен был подходящий руководитель; и республика нашла его в секретаре ЦК КП(б) Армении Григории Артемьевиче Арутюняне.

Много, много приезжает в Ереван гостей; всегда полны гостиницы делегатами — так часты в столице Армении научные съезды, конференции и конгрессы. И каждому, кто побывал в долине Арарата, кто видел теплые краски туфа, напоенные солнцем, и дышал свежим крепким возду-

ком армянского нагорья, — грустно бывает расставаться с этим волшебным городом, построенным без всякого волшебства, силою освобожденного народного гения.

XI. ХНДЗОРЕСК И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕРЕВНИ

1

К селу Хндзореск можно подъехать сверху и снизу, потому что околицы его, протяжение его измеряются по вертикали — не в длину, а в высоту. Мы подъехали к нему сверху.

Даже в условиях Зангезура — бывшего в незапамятные времена морским дном, а сейчас сохраняющего следы доисторической деятельности моря — это селение не совсем обычно. Не походит оно ни на горные башни хевсуров, ни на аулы осетин. Там, при любом угле падения, деревня все же стоит на обычной почве, на земле, и ее дома, какие бы они ни были, построены человеческими руками. Здесь тысячи лет назад тоже была земля, но ее вымыло море. Обглодав землю, как мясо с косточек, море обнажило каменный скелет ущелья с его причудливыми ребрами, торчком стоящими над глубокой пропастью. Камни изъедены временем, в их лабиринте есть тайники, пещеры, туннельчики, своды. К пещерам очень давно потянулся человек, прогнав барса, — и ущелье превратилось в отлично укрепленную от врагов деревню.

Сперва, когда мы стоим на ветру и смотрим вниз, виден величественный амфитеатр ущелья в целом. За спиной мы оставили ровную площадь — там колокзные поля этой деревни; внизу, в глубине пропасти, тоже ровная площадка — сам сельсовет, гостиница, административный и общественный центры Хндзореска. Где-то в середине этого «небоскреба» пробил себе в камне дорогу родник — там поильница всей деревни, вода.

Охватив очерк целого, глаз начинает вживаться в детали. Он следит за движущимся предметом. Двигается женщина с огромным глиняным кувшином на плече. Она оторвалась, как водяная капля или камушек, откуда-то сверху, из боковой глыбы ущелья, и бежит, словно катится вниз, по едва заметному карнизу над пропастью. Карниз — в один человеческий шаг в ширину, он так крут, что из-под ног женщины тоже катятся непрерывными струйками мелкие камушки. Но эта головоломная тропинка, пугающая вас при одном взгляде на нее, оказывается главной улицей, здешним «проспектом». Постепенно вы начинаете различать и переулочки — сотни морщинок, ведущих от килья к жилью, с камня на камень, по за-

зубринам ущелья, по каемке над пропастью, с пробойнками для ног, где слишком уж вертикален спуск. В день два-три раза ходят по этой сетке, словно снящейся вам во сне, женщины Хндзореска за водой, ходят наверх, на работу в поля; вниз, по делам в учрежденья; бегают дети в школу, прогоняются стада, перекидывают огромные тяжести ослы, а если считать эти улицы на километры, то родник, например, отстоит от жилищ на пять километров, а место работы от нижних домов — на десять.

Не сразу решается вы сдвинуться, наконец, с наблюдательного поста и пуститься вниз, по «проспекту». Услужливые ребята, пряча улыбку, подхватывают вас справа и слева, когда вам кажется, что пришел конец и дороге, и вам вместе с ней. И вот вы тоже катитесь, как камушек, наблюдая вблизи необычайные жилища. Они лепятся, как соты. У некоторых на крохотном пятачке перед входом натаскана земля, огорожена плетеной ивовой изгородью, и тут, как в корзинке, разбит цветничек, стоит дерево, видна борозда от огородной грядки. И куры, «как у людей», роются в навозе, и коровы заходят в свои горные стойла, и сушится белье, и молотят что-то на земле, и чешут, сидя на порогах, овечью шерсть на железных чесалках. Живя в этой деревне, сколько надо иметь мужества для борьбы за программу обыкновенного дня, за сегодняшнюю воду, за сегодняшнее топливо! Какую стройность и силу, остроту зрения и выносливость развивает здесь с детских лет ежечасное преодоление огромных пространств, напряжение мускулов, карабканье по вертикали, ношение тяжестей в гору! Немудрено, что за время войны Хндзореск оказался родиной командиров. Из маленького сравнительно села вышли: генерал-майор Сергей Карапетьян, три полковника: Нерсес Балаян, Е. Карапетьян и С. Саркисян, шесть подполковников, девять майоров, двадцать девять капитанов, сорок четыре старших лейтенанта и около ста лейтенантов... Нет, кажется, ни одного человека на деле, не состоящего в родстве с офицером Красной Армии. Мы остановили пробегавшую мимо румяную женщину в шали. — Как тебя зовут? — Шушаник. Балаян! — Родственница?.. — Она не дала нам закончить, кивнула, и выпуклые черные глаза ее косым движением скользнули вниз, в ущелье, где белеет општукатуренный домик полковника Балаяна. Ей некогда. У полковника Балаяна не сосчитаешь орденов и медалей на груди, но это — его собственная гордость. А у Шушаник, как и у других женщин Хндзореска, есть своя собственная «гордость», и она дорожит временем...

Казалось бы — как бедно должны жить хндзорескцы при такой огромной затрате

времени и сил на вещи, которые в других селах даются даром! И тут мы столкнулись с поразительным фактом. Село Хндзореск в старые времена действительно жило очень бедно, жило оно бедно и до войны. А сейчас колхозное поле втянуло сотни Шушаник, никогда раньше не знавших полевой работы. И женщинам, привыкшим в быту к напряжению мускулов и выносливости, полевой труд показался отдыхом. На полях они измерили свою силу, с поля они понесли домой собственный заработок, трудодни. И старый, несчитанный труд дня, знакомый от бабушек и прабабушек, воплотился для них за время войны в весомое, считанное, почетное довольство, стал видим и награждаем. Горное село, три года назад должавшее банку за привозной хлеб, — дало Красной Армии в годы войны 70.000 пудов зерна, 15.000 пудов мяса, 1.160 пудов масла, 1.700 пудов шерсти, миллионы рублей внесло на танковую колонну.

Не раз возникал вопрос о переселении жителей Хндзореска на равнину, но люди упрямо цеплялись за свои каменные гнезда. А сейчас, когда женщины увидели разницу между работой на дому и трудом государственным, измерили свой трудодень и оценили его — они легче откажутся от изнурительной жизни по-старинке. Дать им удобное жилье поблизости от колхозного поля, значит освободить огромный избыток энергии для производительного труда.

2

Хндзореск и его неожиданный расцвет за годы войны — это не только красочная картинка. По Хндзореску во всех его природных особенностях ярче всего наблюдаешь удивительные перемены, происшедшие в экономике армянского села. Не случайно труднейший вопрос благоустройства деревни, вопрос о переселении жителей Хндзореска во всей его серьезности и остроте поднят именно тогда, когда, казалось бы, «не до него» — в жесточайшее время войны, на третий, на четвертый ее год. Это значит, что труд человека, развернувшись до большей, чем раньше, глубины и силы, подвел к проблеме быта с точки зрения целесообразного расхода сил. И это значит, что окрепнувшая экономика колхозной деревни, рост ее зажиточности сделали проблему благоустройства реальным вопросом сегодняшнего дня. Зайдите в ископаемые любого района — и вы увидите председателей РИК'а, потеющих над листом бумаги в не очень привычном для них литературном труде: они пишут проекты благоустройства села. Разговоритесь в райкомах — вам дадут один и тот же ответ, становящийся стереотипным: наш район до войны не справлялся, не давал

государству, а сейчас... — и продикуют колонки цифр: сколько дано и надбавлено, сколько послано в фонд Красной Армии, отложено для семей фронтовиков, и дальше: сколько чего построено, расширено, улучшено, преобразовано, отремонтировано. По всей Армении проводится сейчас «благоустройство деревни»: то, что так трудно изложить на бумаге, уже «излагается» материально — на стенах, на улицах села: белятся школы, склады, заборы, мостятся тротуары; закладываются каменные бани; оформляются родники; огораживаются места под парки отдыха и культуры. И здесь, в деревне, в сельском хозяйстве, происходит примерно тот же процесс, что и в нашей промышленности: огромная «рентабельность» труда ведет к поднятию общей зажиточности, общей культуры, к росту вложений в самое производство, и если в промышленности мы строим гигантские комбинаты, задуваем домы, проводим новые централи, то здесь, в деревне, тот же процесс виден в улучшении дорог, постройке мостов, преобразовании машинно-тракторных мастерских в местные механические заводы, в установке крохотных «микроресов», дающих днем энергию для полевых работ, а ночью свет (их начали строить по инициативе тов. Микояна еще до войны, но только сейчас они показали колоссальную свою выгоду и становятся предметом серийного производства); главное — в основных капитальных стройках армянской деревни: в создании оросительных каналов и водопроводов. На памяти людей моего поколения — две больших войны, и мы знаем, не заглядывая в учебники, что делали войны при старом общественном строе, с промышленностью и деревней: обогащая заводчика, надолго разрушали технику; обогащая кулака, в корне разоряли деревню. У нас же, на примере Закавказья, видно, как возросшая стоимость натурального продукта ведет в колхозной деревне не только к личной зажиточности колхозника, но и к замечательному расцвету самой деревни, к подъему ее сельскохозяйственной, бытовой, общественной культуры.

XII. ПО ЗЕМЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

1. Дорога-летопись

Старинные пути, по которым ездили в древности, ценны, как архивные документы, их следовало бы «описывать», подобно археологическим памятникам, беречь и уметь читать. В одной из поэм Низами, «Хосров и Ширин», указана дорога, по которой едут в Азербайджан из Армении. Поэма условна, сюжет ее сказочен, и описание пути тоже кажется сказкой. Этот путь идет мимо высокого монастыря в го-

рах, где «жили древние монахи»; мимо пещеры с таинственным камнем, прикосновение к которому прогоняет бесплодие; мимо горы Джиррам с ее вершиною Анхаррак — названия как будто ничего уже не напоминают. Даже восемьсот лет назад, во времена Низами, это был древний путь со следами обвала, причиненного какой-то гигантской катастрофой. Поэт говорит:

«Теперь, если ты будешь искать хоть
камень от того монастыря,
И от этой колонны, которую звали
Анхаррак,
Ты увидишь лишь голову, павшую к
ее ногам.
В трауре по этой разноцветной горе
Целый мир камней сидит в черных
одеждах,
Гнев, который пронесся над этими
черными глыбами,
Покрыв их трещинами, подобно бутонам.
Небо, ты скажешь, опьянело от
криков их
И разбило бутыл (свою) о каменный
стан...
И если приблизительно в четырехста лет
Подобное постигает такую гору,
Зачем надеешься на вечность!»

(Перевод Г. В. Птицына)

Но эта единственная старая дорога из Армении в Азербайджан через Курдистанское ущелье и Нагорный Карабах была еще в действии двадцать лет назад. И тому, кто занимал фэзтон, чтоб около двух суток ехать ею, могли бы броситься в глаза странные совпадения, если б только он знал поэму Низами. Возле карабахской деревни (и речки) Колотак есть и старинный монастырь, вернее, развалины его, с камнем, к которому до сих пор идут бездетные женщины-паломницы, есть и гора, название которой созвучно Анхаррак. А главное — стоит только подъехать к границе Азербайджана — и сразу вы окажетесь в мире удивительных образов поэмы. «Целый мир камней в черных одеждах» окружит вас. Странные, фантастические камни, очертанием напоминающие людей и животных, присевших и вставших на цыпочки, вытянувших руки, наполнивших все ущелье необычайной, взволнованной выразительностью своих беспокойных поз, словно воистину это сборище «окаменевших криков», от которых опьянели окрестные горы.

Вот эту дорогу-летопись хорошо бы считать — шаг за шагом, страница за страницей — с поэмой Низами и сберечь ее от забвения, потому что нет уже этой дороги! Прекрасное новое шоссе круто огибает ущелье, забирая поверху и оставляя «мир камней» внизу. Где раньше спешивались, чтоб облегчить лошадям переход через страшные рытвины; где выпрягали ж, на холодку, под близким горным небом,

полным звезд, располагались на ночлег, возле мохнатых кочевых палаток Лысогорска — сейчас машина с непрерывными гудками пролетает мимо заборов и каменных домиков, мимо альпийских ферм и сыроварен, и снизу, из темных лесов Карабаха, ей вторит тонкий крик уже не камня, а близкой цивилизации — паровозный гудок ежедневного поезда, соединившего станцию Евлах со столицей Карабаха, Степанакертом. Кажется, только одно и осталось от прошлого: густой, как вата, туман в ущелье.

Оба эти нововведения — шоссе и железная дорога сделаны в самое последнее время. Они помогли нам двухсуточный путь из Зангезура по земле Азербайджана проделать в два коротких зимних утра, до потемок, чтоб не потерять ни одного дорожного впечатления. А ехать пришлось по удивительным местам. Путешественники-арабы звали эти места — Ар-Рихаб, «виноградносною областью». Отсюда вывозили шелк и красную краску, морену на рынки Индии, здесь были лучшие в мире плоды, превосходные мулы, сюда в базарные дни стекались купцы из десятка стран и здесь пролегли знаменитые торговые тракты из глубин Азии — в Рим, Византию. Но уже свыше тысячи лет назад культурный иерусалимский араб, сын архитектора, Аль-Мукаддаси, оставил нам своеобразный плач по этим местам, напоминающий «каменный» плач Низами. Описывая Бердаа, главный город Ар-Рихаба, он воскликнул: «Что за город изящный, чистый, превосходный, если бы не недостаток! Если угодно, ты выслушай. Разрушились окраины его, уменьшилось население его; правители его низложены, забыты, отдалены и унижены. Законоведение у них слабо... Крепость полуразрушена, и дороги испорчены. Это описание справедливого человека... Сообщил я это рифмованной прозой» (перевод Н. А. Караулова). После рифмованной прозы ученого араба века словно губкой стерли следы Бердаа с земли, так что позднейшие раскопки не могли почти ничего отыскать на месте прежней столицы; а на пятом археологическом съезде в восьмидесятых годах о Бердаа сообщил археолог Н. О. Циолосани, что это «грязная деревня с населением до 60 дымов шиитов и суннитов». И вот сейчас мы пролетаем через цветущий, неизмеримо разросшийся, хлопковый центр «Бердаа», с двухэтажными домами, с еще не успешными посадить садами, с мощёными улицами, с большим зданием театра, — и дальше, дальше едем, по древней дороге в Гянджу, протопанной столетиями караванной связи. Нам повезло — во все время пути, справа на горизонте, отчетливо, во всю свою величественную длину стоит Кавказский хребет, заснеженный до пояса, розовый в синеве неба, и так кристально чист воздух, что

видишь каждую складку на хребте, видишь и себе не веришь, настолько щедро, часами без единой тучи и тумана, открыто глазам его невероятное, почти пугающее великолепие, к которому невозможно привыкнуть.

А рядом, по дороге, с такою же щедрой непрерывностью катятся нам навстречу бесконечные овечьи отары. Изредка поднимет над морем круглых спин узенькую свою голову, увенчанную крутым кренделем толстых рогов, вожак, поглядит на нас прищуренным взглядом в реденьких седых ресницах — и трусит дальше. Высокий статный чабан обернется, попыхивая трубкой, а за ним две-три молчаливых собаки с опущенными хвостами и мордами — и опять новое и новое стадо. Мы проезжаем район крупнейших совхозов с тысячеголовыми стадами знаменитых овец «рамбулье».

И странное чувство овладевает вами — чувство близости прошлого с настоящим, точнее, какое-то новое, не книжное ощущение древнейших страниц истории. Еще вы как следует не разобрались в нем, а уже на горизонте новое видение, как бы ставящее последнюю точку на этой дороге-летописи. Далеко в тумане большого города высятся чинары Гянджи, нынешнего Кировабада. Но за семь километров до него, в пустоте огромной равнины, на песчаном возвышении — одинокий памятник-мавзолей в древнейшем азербайджанском стиле. Узкий прямоугольник вытнут высоко кверху; удлиненные колонны, сращенные по три, обрамляют его по углам, не неся никакой тяжести. Овальный, как яйцо, купол опирается не на них, а на крышу между ними. В простенке, над узкою дверью — причудливые письмена орнамента. Справа и слева ведут к подножию извилины пологих ступеней. Это — памятник Низами, поставленный, вместо старого полуразрушенного склепа, на его могиле. В зимний день пусто кругом так, словно вытоптана земля. Трава не растет, вода не течет, и следа нет той «прекрасной куропатки», к которой обращался некогда поэт в своей прижизненной эпитафии. Но мы, живые люди, стоим у могилы и смотрим, как органически, с какой отчетливой силой врезались контуры памятника в равнинный пейзаж современного Кировабада, как прочно сделалась его составною частью, и кто-то из нас тихо проносит бессмертную эпитафию Низами:

«Если ты будешь проливать надо мной
издали слезы,
Я буду проливать на тебя с неба свет.
Считай меня живым, как себя самого,
Я приду к душе, если ты придешь к
телу.

Не считай меня одиноким, лишенным
спутника,
Я вижу тебя, хотя ты меня не видишь...

Я не бесечно прошел через этот мир,
Ибо я знал и другое занятие, кроме
сна и еды».

В великие минуты, переживаемые народом, прошлое раскрывается ему особо остро, осваивается им, как настоящее, потому что ключом к бытию, было ли оно, есть ли, будет ли, всегда служит одно и то же — «не бесечно прохождение через мир», а «знание другого занятия, кроме сна и еды». И в четвертый год величайшей в мире войны, величайшего напряжения народного — земля Азербайджана с какой-то библейской, простодушною простотою, в свитке своих летописей — в тысячелетии дорог и памятников — говорит о непрерывности бытия, о бессмертии, прошлом, которое хочет, чтоб его считали живым, и о настоящем, которое должно быть достойно прошлого.

2. Передовой колхоз

Большой районный центр Тауз опустел на два часа; никого в исполкоме, в райкоме, на чистой, обдутой ветром от пыля главной улице; грузовик застыл на углу без шофера. Зато в окне парткабинета, если заглянуть с улицы, виден «весь район», — тесно сидят люди, плечо к плечу, наклонив головы чуть направо, в позе слушающих, и устремив глаза в одну точку, туда, где колеблется на стене тень молодого лектора.

Не редкость сейчас в любом районе попасть вот в такую минуту, когда «все на лекции» — страстная, всеобщая тяга к знанию, к живому слову, интересно подобранным циклы лекций в парткабинетах, опытные лекторы из республиканских столиц.

Через минуту стулья задвигались, и секретарь райкома Гариб Джафарович Мамедов — маленький, в роговых очках, в летнем пальто, которое он, не боясь стужи, по-городскому, внакидку носит зимою, быстро вышел на улицу. От него вы услышите историю, типичную для многих секретарей райкомов. До войны — работал в Баку, учился. Началась война — и партия послала секретарем в Таузский район, а Тауз, надо сказать, был одним из самых отсталых районов, государству не давал, программы не выполнял. И то же было в соседнем Шамхоре, то же было во многих других районах Азербайджана, где привыкли считать себя «отстающими», должны банку, не выходя из долга государству, питаться привозным хлебом.

Мамедов, улыбаясь теплыми черными глазами, обязательно скажет вам, как он вначале струсил, и другие городские кабинетные работники, брошенные в район, тоже струсил... И после развернет большой лист бумаги, где из месяца в месяц, из года в год, за четыре страшных го-

да войны, показано, что произошло в Таузе. Но мы уже успели обойти с ним весь городок, перебрать книги в библиотеке, заглянуть на цементный завод, восхититься новой гостиницей с ее коврами и зеркалами, и каким ясным морозным утром в лучшем из тридцати семи колхозов района — колхоз имени Энгельса, чтоб своими глазами посмотреть, что же произошло с Таузом.

Колхоз имени Энгельса — это деревня Ашага Айлы, не похожая на обычное наше представление о деревнях. Кажется, что здесь нет домов, так много земли, такие большие поля между отдельными группами жилищ, такой простор обнаженного горизонта то справа, то слева; даже улицы нет в ее нормальном значении, а есть широкая просека между разбросанными купами не то гнездовой людских, не то показательных участков. Дымков нет над очагами, люди, и стар и млад, еще где-то там, в необъятных складках этой земли, поглощенные очередной работой на ней. Из конца в конец мы пересекали гигантскую просеку и уперлись во двор конно-товарной фермы, где с соломенной крыши дома, хрипя и кидаясь к самому ее краю, отчаянно залая на нас огромный желтый пес. А во дворе в это время важно гулял маленький человек, ростом с ногой, одетый по-взрослому, с необычайной, щегольской нарядностью: в папаче, в кожаной куртке, в сафьяновых сапожках, с кинжалом за поясом и кнутом в руке — пятилетний сын заведующего фермой, Хантиши. И тут мы увидели, что и другие дети, бабовни взрослых, одеты как взрослые, и в одежде их отразился удельный вес родительского труддня: должно быть из самой Шемахи привезли девочке эти пестрые шелка длинного, до пят платья, густо собранного в складки, эти цветистые головные уборы. и бусы. И какой хитрый портной шил им миниатюрные костюмчики-модели? Потом, когда мы побывали в домах колхозников, мы увидели этот избыток, отраженным уже в утвари, в мебели. На перилах наружной, деревянными колоннами подпертой веранды еще доживает свой век драгоценный старинный медный кувшин с тонким лебединым горлом и с раздвоенным, словно птичий клюв, изящным носиком — скорей музейный экспонат, чем предмет обихода. А уже за стеклом буфета, в чистой горнице для гостей — яркие, лучшие изделия ленинградского фарфорового завода, чашки с героем-разбойником Кер-Оглы, с пестрой изысканной вязью. И чудесные местные ковры, в сочетании красок, от которых не оторвешь глаз, и откуда-то, из внутренней горницы — легкий взлет шелковой шали — едва уловимое присутствие все еще робкой хозяйки, прячущейся от гостей, хотя и тяжелый трудодень (на возах свозимый к дому), и

эта любовная игра с одеждой детей, нежно бадуемых в азербайджанских семьях (наследники! хозяева!), и этот тонкий, изящный вкус в быту, разлитый в тысячах мелочей — все это дело их быстрых, умелых пальцев...

Конферма колхоза гордится замечательными конями, взявшими первые призы на республиканских скачках в Баку. Их выводили перед нами, одного за другим — чуть длинношерстных, с короткими, приподнятыми ноздрями, с озорными мягкими губами, которыми они, баляясь, пытались схватить за рукав веселого молодого табунщика. Для здешнего колхозника лошадь не только тягло (а тягло тут очень нужно) и даже не только транспорт, без которого трудно преодолеть необъятные деревенские концы, а и часть души, половина собственных мускулов, привычка с детства, нечто завершающее твою пластику, воспитывающее твой жест. Недаром малыши, едва видимый от земли, тянутся к лошади, как только овладеет своей парой ножек и своими сафьяновыми сапожками, и недаром у каждого встречного колхозника, совсем как носовой платок или самопишущее перо у горожанина, обязательный предмет одежды — заткнутый за голенище кнут. Пока женщины возятся с угощением для гостей и несут в горницу на ленинградском фарфоре желтую россыпь необыкновенного плава, белый, сладкий каймак в вазе и тяжелое золото меда, за стол сели два великана, — странности похожие друг на друга, — их можно было отличить только по одежде да по ордену Ленина на груди у одного из них; два героя колхоза, братья-близнецы Рустам и Амирслам Ахмедовы, один — председатель колхоза (бесценный около пятнадцати лет), другой — заведующий конфермой. И пошел разговор.

Как заслужил Таузский район свою терпешную, почетную репутацию? Первое, что сделала секретарь райкома, это внесение строгой требовательности по части неприкрашенной подсчета наличных сил и возможностей. Познание своего района через подробнейшее детальное описание, точные цифры и анализ цифр — это был первый шаг к победе. Второе — ставка руководства района на подготовку человека, на обучение тех, кто раньше на земле не работал, на культуру и рационализацию крестьянского труда. И третье — это забота, чтоб одновременно с подготовкой шла честь и награда, то-есть, чтоб учет труда и успехов колхозников был поставлен в полном смысле по-военному, с величайшей, скрупулезной точностью. Не сразу Тауз вышел на передовую линию, — взять хотя бы простейшую отрасль в его хозяйстве — картофель: в 1941 году по плану надо было получить 85 центнеров с га, а район сумел снять только 38 центнеров, на второй год войны еще того хуже — 26,2

центнера. Зато в 1943 году район снял уже 60 центнеров. Этими цифрами не похвастаешься, но зато они реальны, за ними стоит упорная работа с каждым колхозником в отдельности — и за подготовку земли, и за правильную посадку, и за уход, и за расходование семян, и поэтому наметившийся в них подъем — тоже реален и прочен. Но основное в колхозе — это интенсивное зерновое и молочное хозяйство. Колхоз завоевал в 1943 году по животноводству Красное Знамя ГКО, дал государству 40.000 голов скота, обучил и воспитал замечательных табунщиков, конюхов, овцеводов. Амирслан Ахмедов на своей ферме добился выхода сорока шести жеребят от шестидесяти конематок.

И замечательно, что в этом интенсивном хозяйстве почетное место занимает овца. Тут пришлось нам кое-что вспомнить. Было такое дело в двадцатых годах, когда считали овцеводство чуть ли не признаком чужеземного строя и изгоняли овцу из хороших, интенсивных хозяйств. Больше того, хотели даже сделать ее особенностью лишь Киргизии и Казахстана, и сделали бы, если б не покойный замечательный ученый, отмеченный В. И. Лениным, мичуринец животноводства М. Ф. Иванов. Его статья «Угроза овцеводству в СССР» положила конец заблуждению. Если за первую войну с Германией 1914 года погибло в старой России семь с половиной миллионов овец, то сейчас, на примере Закавказья, мы видим, как увеличение поголовья овец и крупного скота становится характерной особенностью нашего хозяйства.

Но что особенно радует, так это начало большого культурного процесса в Азербайджане, уже отчетливо заметного на конфермах, процесса культурного выращивания животных по признаку их основных, полезных для хозяйства качеств, а не по отвлеченному признаку «чистоты генотипа», который, к сожалению, кое-где еще гипнотизирует наших животноводов. Основным полезным качеством для коня является его скорость и выносливость, проверяемые на скаковых ипподромах. Скачки широко развиты в Азербайджане, на скачки посылают своих коней колхозы Акстафы, Тауза, Казаха, Шамхора, и призовые скакуны, становясь производителями на конхозных конфермах, передают потомству отличительное качество доброго коня — быстроту. Хорошо бы испытанный обычай скачек ввести и в армянский районный центр Зангезура гор. Горис, где недавно организовали конский завод...

Для овец, для молочного скота, для свиней есть свои верные признаки общественно полезных качеств: и удоинность, и настриг, и вес, и выход жира, — и замечательным азербайджанским колхозам, сумевшим подняться за время войны на

новую, высшую ступень хозяйства, следовало бы поставить прежде всего энергичнейший учет этих положительных признаков, вести им ежедневные записи, чтоб именно по таким «паспортам» улучшать породу своего скота, создавать поколение производителей.

Давно уже на веранду, отражаясь в брызгах вечернего холодного дождя, глядели звезды. Яркий свет вспыхнувших фар на миг затмил их, рокот мотора заглушил хриплое взлаиванье проснувшейся собаки. Мы снова едем, — жирная, широкая, темная земля, освеженная дождем, принимает нас, и низкое небо, исполненное удивительного аромата и свежести опускается над нами, как полог.

3. Песня ашуга

Шамхор был когда-то, в IX веке, большим торговым городом, известным всему тогдашнему образованному миру. А в XIX веке он едва попал в железнодорожный справочник как захудалая маленькая станция. В начале XX века здесь запылали усадьбы беков-помещиков, и сюда же мусаватисты, пришедшие к власти, загнали эшелоны солдат, возвращавшихся с Кавказского фронта, разоружили и переселили их.

Целую книгу можно было бы написать о Шамхоре — и еще одну страницу приписать к ней, а может быть спеть. Начинается она зимним дождиком, слякотью, непроезжей глиной дороги и возами мокрой картошки, загоревшими всю дорогу. Картошки так много, что ее некуда разгружать, и она летит прямо в жижу, которую и землей не назовешь. Но попробуйте усомниться в качестве этой картошки, — мокрый колхозник, в струях дождя и по-та, рукавом оботрет розовую, крепкую картофелину и объяснит вам, что это — необыкновенный, замечательный сорт славящийся на весь Азербайджан, и уродилось его такое множество, что десятый день возят и не перевозили, а погода неподходящая.

Чтоб доехать сюда, погода, действительно, неподходящая. В разорванных ключьях тумана, из районного центра Шамхора, мы забрались вместе с секретарем райкома прямо под облака, зигзаг за зигзагом, чтоб поглядеть на прославленную деревню Чардохлы, населенную армянами, говорящими по-азербайджански. Отсюда ушел на фронт герой Отечественной войны, уроженец села, генерал армии Баграмян, отсюда пошли на фронт семьсот семьдесят четыре человека, и двое из них — Герои Советского Союза, а двести семьдесят — орденосцы. Колхозники-чардохлинцы поставили государству за время войны сотни тонн зерна, мяса, картофеля — хотели бы внести и за будущий год, да не принимают! И отсюда же идет вниз

особая стойкая порода огнеупора, динасовый кирпич, выжигаемый из замечательной местной глины. «Они все тут немного динасовцы», — улыбаясь, говорит про чардохлинцев секретарь шамхорского райкома.

Мы шли по тяжелой и липкой грязи, поднимаясь к небольшому крестьянскому жилью, прислоненному к горному боку, домику генерала Баграмяна. В пронзительной зимней свежести утра домик предстал нам, не пощаженный ни непогодой, ни стихиями. Но может быть это и хорошо, что здесь не поставили забора, не огородили жилую площадь, а дали ее на жительство учительнице Розе Бабаджанян, двоюродной сестре полковника Бабаджанян, Героя Советского Союза. Сконфуженная девушка, залившись ярким румянцем, встречает нас в комнате, откуда силится быстро и незаметно убрать живые следы человеческого уюта — керосинку, зеркальце, школьные тетради.

Чардохлы — не только зажиточное село, в нем высокий процент своей местной интеллигенции. Восемь врачей вышло отсюда, знаменитый ашуг Авак живёт здесь... Узнав про ашуга, мы захотели навестить его. В этом селе, давшем героев, нельзя было не послушать рапсода. И вот по длинной деревянной лестнице взбираемся мы на второй этаж, и высокий худой старик в шерстяном свитере, седоусый и чернобровый, встречает нас на пороге широким, добрым, гостеприимным жестом. Из комнаты, убранной совсем по-московски — книгами, картинами и коврами — чудесно трещит нам навстречу огонь в железной печке и пышет теплом, а все мы порядком прозябли. Благодушие в темных глазах ашуга. Он был в Москве. У него хранится почетная грамота, полученная во время состязания певцов. Разговорившись, он показывает фотографии рапсодов всех

братских республик — украинцев, узбеков, осетин, хевсуров, киргизов — на их лицах, бесконечно разных, одно и то же выражение важного внутреннего достоинства, осознанность своего мастерства, высоко оцененного государством. Но вам хочется песни, а не разговора, хотя и говорить интересно. Молодая жена ашуга приносит ему заботливо, как ребенка, длинный старинный инструмент — саз, чуть пахнущий пальмовой пылью, выложенный перламутром и бледнозеленой косточкой. Пальцы ашуга зашипнули струну — голубиный, глуховато-нежный звук вспорхнул. Саз сотрясаясь в руках ашуга. Щека наклонилась набок, веки затянули глаза. И уже молодой, не особенно сильный хрипловатый голос запел — с огромной, побеждающей силой, исполненной наслаждения, переживаемого самим поющим. Армянин пел по-азербайджански, и вот слова его песни:

«Гончар, лепящий из земли горшки,
вздумал поспорить
своими горшками со сталью, —
не сомневайтесь,
они разлетятся вдребезги.
Зверь, чьи зубы в крови, задумал
забегать и в нашу страну, —
не сомневайтесь, тут ему будет смерть.
Давайте не сойдем с нашего
правильного пути.
На этом пути, если понадобится,
отдадим все,
но спасем нашу родину».

Покуда пел ашуг, дождь за окном прекратился, выглянуло на короткий миг закатное солнце, сразу зажгло лужи на улице, небо над крышами — и в розовом сиянье, помолодевшие лицами, простились мы с величавым чардохлинским рапсодом.

РАССКАЗЫ О НЕОБЫКНОВЕННОМ

ИВ. ЕФРЕМОВ

★

АЛМАЗНАЯ ТРУБА

Начальник главка раздраженно отодвинул наполненную окурками пепельницу и негодуя посмотрел на собеседника.

Тот — худой, маленький, седобородый — утонул в большом кожаном кресле, сжавшись и подобрав ноги. Глаза его глядели сквозь очки с непримиримым упорством.

— Третий год работает Эвенкийская экспедиция — и никаких результатов! — бросил начальник.

— Как никаких, — а кимберлиты?

— Вот, кстати, о кимберлитах, — вы знаете, что академик Чернявский дал о них отрицательное заключение. Он не признает эту породу за кимберлит. И вообще, Сергей Яковлевич, лично мне все ясно... Это ведь огромная, почти неисследованная страна. Экспедиция стоит дорого, особенно после того, как вы прибавили к ней маятниковую партию. Результатов же — ну хоть бы даже какой-нибудь маленькой зацепки — нет. Я категорически настаиваю на прекращении работ. У вашего института много более неотложных задач, и расходование крупных ассигнований на такого рода изыскания идет в ущерб практике. На этом кончим...

Начальник главка, недовольно морщась, бросил папиросу. Сидевший в кресле директор института профессор Ивашенцев резко выпрямился.

— Вы прекращаете дело, которое должно принести стране миллионы — и не только экономии, но и прямых доходов от экспорта.

— Это дело принесло пока только разочарования... Впрочем, я уже сказал, что для меня все ясно. Решение мое окончательно!

Начальник встал. Рядом с ним профессор казался совсем маленьким и безвредным. Он молча поднялся с кресла, поправил очки. Потом пробормотал что-то невнятное и протянул начальнику округлый камень.

— Я уже видел это, — сухо сказал тот, — река Мойеро! река Мойеро! — три года слышу! И эту грикваитовую породу вы мне тоже показывали...

Профессор сгорбился над портфелем, застегивая непослушный замок...

Начальнику стало жаль ученого. Он подошел к Ивашенцеву.

— Сергей Яковлевич, вы должны признать мою правоту. Я не понимаю вашего упорства в этом вопросе...

— Всякой работой, — перебил Ивашенцев, — легче управлять, когда относишься к ней беспристрастно... А я не могу быть беспристрастным. Понимаете ли, я уверен в этом деле горячо, всей душой. Только огромные неисследованные, малодоступные пространства стоят между теоретическим заключением и реальным доказательством... Вы скажете, конечно, что этого уже достаточно для провала дела! Да, знаю, знаю, государственные деньги и все такое! — начал сердиться профессор, хотя начальник и не думал возражать: — Железный закон знаете? Чтобы миллион добыть, нужно семьсот тысяч затратить. А мы ведь десятки миллионов ожидаем!

С этими словами он направился к дверям.

Начальник посмотрел ему вслед, слабо усмехнулся и покачал головой...

Вернувшись в институт, профессор Ивашенцев приказал секретарше немедленно вызвать к нему начальника производственного отдела.

— Какие у вас последние сведения от Чурилина? — спросил он, когда тот вошел в кабинет.

— Последние сведения были месяц тому назад, Сергей Яковлевич.

— Это я знаю, а новостей никаких нет!

— Нет, пока ничего...

— Где они сейчас, по-вашему, могут быть?

— Чурилин сообщил о приходе на озеро Чирингда, на факторию. Они выступили вниз по Чирингде на Хатангу, а отсюда должны были перевалить вершину Мойеро. Пожалуй, теперь они уже закончили этот маршрут и могут подходить к Туринской культбазе — таков был их план. Но план одно, а тайга — другое...

— Это мне хорошо известно, благодарю вас!..

Оставшись один, профессор Иващенко откинулся на спинку кресла и задумался. Перед его мысленным взором возникла карта огромной области между Енисеем и Леной. Где-то в центре ее, в хаосе невысоких гор, прорезанных бесчисленными речками и покрытых сплошным болотистым лесом, находилась экспедиция, посланная им за... мечтой. Профессор достал из портфеля камень, который он показывал начальнику главка. Небольшой кусок темной породы был плотен и тяжел. На грубозернистой поверхности скола мелкими каплями крови сверкали многочисленные кристаллы пироба — красного граната — и чистой свежей зеленью отливали включения оливина. Эти кристаллы отчетливо выделялись на светлом голубовато-зеленом фоне массы хромдиопсида. Кое-где сверкали крошечные вальцовые огоньки дистена. Порода очаровывала глаз пестрым сочетанием чистых цветов. Профессор повернул образец другой стороной, где на мазке белой эмалевой краски стояла надпись — «Река Мойеро, южный склон Анаоских гор, экспедиция Толмачева. 1915...»

Иващенко вздохнул. «Ведь это типичный гриквэит Южной Африки... Ни в Анаоских горах, ни в долине Мойеро не удалось обнаружить даже признаков подобных пород. И в этом году опять неудача: Чурилин молчит. Значит, мечта не сбылась...»

Иващенко взвесил камень на руке и запер в нижний ящик письменного стола. Потом решительно снял трубку внутреннего телефона.

— Отправьте Чурилину телеграмму: «Отсутствию результатов ликвидируйте экспедицию, возвращайтесь немедленно». — Да, я подпишу сам — иначе он не послушает. Куда? — На Туринскую культбазу! Ну, разумеется, по радио, через Диксон...

Звякнул рычаг телефона, оборвав разговор и все возможности осуществления давнишней мечты Иващенкова. Он снял очки и прикрыл глаза рукой.

Иващенко мечтал хотя бы на исходе жизни добиться постановки исследования глубоких зон земной коры путем бурения скважин особой мощности. Но даже первые шаги к решению задачи — погоня за мечтой, скрытой в лесах и болотах Средне-Сибирского плоскогорья — оказались напрасными. Ничему, как видно, не на-

учила жизнь и на шестом десятке. — профессор остался мечтателем, стремящимся к слишком большому размаху исследований...

★

Радиоволны понеслись из Москвы на северо-восток над тундрами севера, холодными просторами Ледовитого океана и достигли высоких мачт радиостанции на голом острове в свете непрерывного полярного дня... Через два часа новые волны промчались отсюда на юг, миновали хребет Бырранга, болота Пясины и пронесли над бесконечными лесами. На Туринской радиостанции застучал аппарат и радиоволны запечатлелись в короткой фразе, четко написанной на голубом бланке...

— У тебя есть кто-нибудь из корвунчанских звенков, Вася?

— А что?

— Срочная телеграмма экспедиции Чурилина. Они сейчас в вершине Корвунчана.

— Корвунчанских нет, однако завтра поедет Иннокентий к себе на Бугарихту. Парень хороший: пятьдесят километров лишних сделает, особенно, если ты ему скажешь.

— Пошли вместе его искать, я сразу и отдам ему телеграмму...

В широкой долине речки Ньюкуорак, в трехстах километрах от Туринской культбазы, начали стужаться сумерки. Пологие склоны щетинились еловым лесом, угрюмо черневшим внизу. На плоском холме, громоздившемся с севера над болотом верхних ключей, было еще совсем светло. Между редкими лиственницами стояли четыре темнозеленых палатки, а перед ними, на ровной площадке, покрытой светлосерым оленьим мхом, горел костер. Огня почти не было видно, густой коричневатый дым с резким, одуряющим запахом багульника, расплывался в спокойном воздухе. По правую сторону площадки возвышалась груда вьючных ящиков, сум, тюков и седел. Туча мошки и комаров висела вокруг костра, за спинами людей. Сидевшие у костра старались держать головы на грани дыма и чистого воздуха, что давало возможность дышать и в то же время избавляло от упорно лезущего в глаза, нос и уши гнуса.

— Чай готов! — провозгласила черная, насквозь прокопченный в дыму человек и снял с огня большое ведро, наполненное темнотурой жидкостью. Каждый из сидевших у костра вооружился объемистой кружкой и взял по огромной тунгусской лепешке, тяжелой и плотной. — своеобразный хлебный «концентрат». Мошка

покрывала поверхность горячего чая серым налетом, который приходилось сдвигать через край кружки. Люди с наслаждением прихлебывали чай, перебрасываясь короткими фразами...

В редкое позвякивание ботал разбредшихся внизу лошадей впелся размеренный отдаленный звон.

— Слушайте, товарищи, никак наши идут!

Молодежь бросилась к палаткам за ружьями. Встреча отрядов одной экспедиции после долгой разлуки всегда является торжественным моментом в жизни таежных исследователей. Сумерки еще не успели сгуститься, как на большой прогалине северного склона водораздела появилась цепочка худых, утомленных лошадей, вяло поднимающихся вверх. Ободренные вьюки, обвязанные измочалившимися веревками, свидетельствовали о долгом пути через густые заросли...

Загремели выстрелы. Прибывшие ответили нестройным залпом. К палаткам подъехал угрюмый, плотный человек — геофизик, начальник маятникового отряда и грузно слез с лошади. Шея его была кое-как обмотана грязным бинтом. Он поднял с лица черную сетку и шагнул навстречу начальнику экспедиции Чурилину, гладко выбритому человеку.

— Привет, товарищ Чурилин, — глухо сказал геофизик в ответ на дружеское приветствие начальника.

— Вот хорошо — как раз к чаю, ну, что интересного?

— Кое-что есть, а пришлось тяжело. Я заболел, трех лошадей потеряли...

— Что с вами?

— Дрянн какая-то. — мошка разъела, кругом воспаление...

— Чесались?

— Еще бы не чесаться, — сердито проворчал геофизик в ответ на укоризненный взгляд Чурилина, — у меня кожа не такая дубленая, как у вас... Теперь не знаю, как пойду в следующий маршрут...

Чурилин распорядился выдать всем понемногу из драгоценного запаса спирта. Прибывшие также расположились у костра. Громкие веселые голоса перебывали друг друга, рассказывая о разнообразных приключениях. Начальник экспедиции уселся рядом с геофизиком, который, выпив чаю и закусив, немного обмяк и пришел в себя.

— Модест Африканович, жду ваших сообщений!

Геофизик рассказал о пройденном им маршруте, широком углом охватывавшем район от реки Джеромо до вершины Вилючана. На этом пути ему удалось сделать больше двадцати измерений силы тяжести.

— Везде довольно большие положительные аномалии. — шестьдесят-восемь-

десять, но вот в одном месте я сделал даже три измерения подряд на небольших расстояниях. Получилось... — геофизик сделал паузу.

— Не томите, Модест Африканович, — быстро сказал Чурилин.

Геофизик довольно усмехнулся и продолжал:

— Получилось двести...

— Ого!

— Погодите: двести семьдесят и триста пять!

— Где? — взволнованно воскликнул Чурилин.

— Амнунначи... Обширное низкое плато — сплошная болотина, к западу от Мойерокана.

— Мойерокана! Вот тебе и на!..

Разговоры у костра стихли. Вновь прибывшие разошлись спать. Только сотрудники Чурилина, отдохнувшие за четырехдневную стоянку, оставались у костра, с интересом прислушиваясь к разговору начальника с геофизиком.

— Ну, я замучил вас, Модест Африканович, — сказал Чурилин, — извините меня, идите скорее отдыхать... Мы-то здесь уже так откормились, что не ложимся раньше полуночи.

Геофизик неохотно поднялся и, стоя на коленях, свернул последнюю папиросу. Чурилин некоторое время пристально всматривался в его усталое, опухшее лицо.

— Хорошо быть геофизиком, Модест Африканович, — сказал он: — точные задачи, ясные ответы, вот как у вас, например.

— Нашли чему завидовать! — сердито фыркнул геофизик.

Лицо Чурилина было серьезно.

— Я сравнивал мои и ваши исследования. Я восхищен могуществом геофизики. Я плохой физик и еще худший математик. Может быть, поэтому, как всякая незнакомая научная дисциплина, ваша работа представляется мне гораздо более значительной, чем моя. Посмотрите хотя бы со стороны: прибор Штюкрата устанавливают на намеченной точке, внутри его мерно качаются два коротких тяжелых маятника, снабженные зеркальцами, отражающими свет от крохотных лампочек... И это все! В дальнейшем нужно только наблюдать совпадения периодов качания маятника с ходом астрономических часов — хронометров. Впрочем, конечно, — спохватился Чурилин, — до этого еще нужно тщательно выверить прибор, провести наблюдения звезд для проверки часов. Но в общем-то, как гениально просто!.. Качается маятник и едва уловимо отзывается на увеличение или уменьшение силы тяжести в данном месте. А в руках геофизика — это сказочный меч, незримо рассекающий на несколько километров вглубь толщи гор-

ных пород, это глаз, показывающий недоступные подземные глубины...

Геофизик бросил в костер окурков и потер морщинистый лоб.

— Я, наоборот, ясно представляю себе всю беспомощность геофизики, обилие неразрешимых еще вопросов, несовершенство методов. И ваша геология кажется мне более ясной, более могущественной наукой, имеющей в своем распоряжении неизмеримо большее число фактов... Ну, я иду спать!

С уходом геофизика у костра наступило молчание. Столб пламени в высоте окаймлялся звездным венцом, едва слышно шипела дымокуры и неумолимо ныли комары. Из долины снизу попрежнему доносилось позвякивание ботал лошадей.

— Максим Михайлович, неужели геофизика может легко решить то, над чем мы так долго бьемся? — осторожно спросил молодой геолог.

Чурилин невесело усмехнулся.

— Я говорил о могуществе геофизики не в этом смысле. Мы ищем алмазные месторождения. Почему мы ищем их именно здесь? Пять лет назад наш директор первый обратил внимание на необычайное сходство геологии здешних мест и Южной Африки. Средне-Сибирское и Южно-Африканское плоскогорья обладают поразительно сходным геологическим строением. Там и здесь на поверхность прорвались колоссальные извержения тяжелых глубинных пород. Сергей Яковлевич считает, что эти извержения были одновременными у нас и в Южной Африке, где они закончились мощными взрывами скопившихся на громадной глубине газов. Эти взрывы пробили в толще пород множество узких труб, являющихся месторождениями алмазов. На пространстве от Капа до Конго известны сотни таких труб и, несомненно, огромное их количество еще скрыто под песками пустыни Калахари. Алмазов хватило бы на весь мир, а вы знаете, как необходимы они в промышленности и для нашего дела — в бурении. Крупные компании скупили все месторождения. Из десятков богатых труб разрабатывают только пять, остальные обнесены проводами высокого напряжения и охраняются часовыми. Оно и понятно: пустить в разработку все месторождения — значит резко удешевить алмазы. В нашем Союзе нет сколько-нибудь значительных месторождений и, если нам удастся отыскать подобные трубы, — сами понимаете, как это важно... Здесь все, кроме алмазов, удивительно сходно с Южной Африкой: и платина, и железо, и никель, и хром — на этом Средне-Сибирском плоскогорье один и тот же тип минерализации. Сергей Яковлевич подметил, что те районы в Южной Африке, в которых обнаружены алмазоносные тру-

бы, отличаются положительными аномалиями силы тяжести. Она больше нормальной, потому что из глубин к поверхности поднимаются огромные массы тяжелых плотных пород — перидотитов и гриквцитов. Аномалии доходят до ста двадцати единиц. Здесь в первый же год работы с маятником, мы сразу уловили аномалии от сорока до сотни, а теперь вот обнаружили аномалии до трехсот единиц. Значит, здесь мы также имеем большие скопления тяжелых пород. Но до решения нашего вопроса еще далеко. Маятник подтвердил нам еще одну черту сходства с Южной Африкой и дал косвенные указания на районы, в которых могут быть обнаружены месторождения алмазов. Я говорю «могут быть», но ведь столько же шансов, что и не будут обнаружены... В Южной Африке легко искать — там сухие, высокие степи, почти без растительного покрова, с энергичным разрывом. Первые алмазы и были найдены в реках. А у нас здесь — море лесов, болота, вечная мерзлота, ослабляющая разрыв. Все закрыто. И пока за три года работы мы имеем то же, с чего начали — только таинственный кусок гриквита, найденный в гальке реки Мойеро!.. Эта порода из смеси граната, оливина и диопсида встречается только в алмазных трубах в виде округленных кусков в голубой земле, содержащей алмазы... И вот мы прошли всю верхнюю Мойеро, обследовали множество ключей и речек бассейна...

У потухавшего костра наступило молчание. Собеседники тихонько расходились, один за другим. Чурилин сидел, глубоко задумавшись. Последние вспышки пламени бросали красные отблески на его сухое индейское лицо. Против Чурилина стоял, облокотясь на вьючную суму и спокойно посасывая трубку, чернобородый, похожий на цыгана, его помощник Султанов.

Ковш Большой Медведицы перекосялся в черном небе — подступало глухое время ночи. В густом колке леса угрюмо и гулко заорали совы.

«До окончания полевого сезона осталось не больше месяца, — думал Чурилин. — Еще один короткий маршрут... и, если вернуться опять с неудачей, — наверное работы будут прекращены. В этих необъятных залесенных горах нужны десятки партий, десятки лет исследования. Но во всяком случае нужно задержать экспедицию как можно дольше, нужно разбить ее на маленькие группы, чтобы успеть выполнить побольше маршрутов...»

На южном склоне холма посыпались мелкие камни, Чурилин и его помощник насторожились. Неясный шум приближался. Затем в световой круг костра из темноты просунулась собачья морда с

острыми торчащими ушами. Послышалось тяжелое дыхание верхового оленя. К костру подъехал эвенк с пальмой в руке. Опираясь на нее, он легко спрыгнул с оленя, и олень сейчас же лег. Круглое лицо эвенка улыбалось. Он осведомился, где начальник, и протянул Чурилину конверт с огромной сургуточной печатью.

— Василиваныч попросит скоро тебе давай. Я кругом темно ехал, — и с этими словами эвенк вытащил длинную трубку. Чурилин поблагодарил вестника, пригласил поесть и обещал два кирпича чаю. Разворошив костер, Чурилин вскрыл конверт и, развернув листок голубой бумаги, прочитал. Глаза его сузились и заблестели недобрим огоньком.

Султанов внимательно посмотрел на него и вполголоса спросил:

— Плохие вести, Максим Михайлович? Вместо ответа Чурилин протянул ему листок. Султанов прочитал и закашлялся, поперхнувшись слишком глубокой затыжкой. Оба они молчали. Потом Султанов тихо сказал, глядя поверх костра в ночь:

— Что ж, это конец!..

— Посмотрим! — ответил Чурилин, — только молчите, Арсений Павлович... — Чурилин взял телеграмму и бросил в костер. Затем они уселись у костра. Султанов достал листок бумаги, начал покрывать его вычислениями. Заготовленные к утру дрова кончились, когда Чурилин и Султанов ушли от угасавшего костра.

На рассвете следующего дня Чурилин поднял всех затемно. Два каравана разошлись в разные стороны. Один — в двадцать восемь лошадей — растянулся длинной цепочкой между елями в долине Ньюкурака, направляясь с веселыми песнями на юг, домой. Оставшиеся четыре человека — Чурилин, Султанов, рабочий Петр и проводник Николай — с пятью лошадьми, навьюченными до предела, дали два прощальных залпа, поглядели несколько минут вслед уходящим и стали спускаться с холма в противоположную сторону. Там, за рядами однообразно расплывчатых гор, чернели кедровники высокого плато в вершине Люлюктакана...

★

Движение вьючного каравана сквозь тайгу, поход через неисследованные области, «белые пятна» географических карт!.. Казалось бы, что может быть романтичнее покорения неизвестных просторств! На самом же деле, только тщательная организация и твердая дисциплина могут обеспечить успех подобного предприятия. А это значит, что обычно не случается ничего непредвиденного: день за днем тянется размерен-

ная, однообразная, тяжелая работа, рассчитанная далеко наперед по часам. Один день отличается от другого чаще всего числом преодоленных препятствий и количеством пройденных километров. В тяжелом походе душа спит — впечатления новых мест скользят мимо, едва задевая чувства, и механически отмечаются памятью. Потом, в более легкие дни или после вечернего отдыха, а еще вернее, после окончания похода, в памяти возникнет вереница воспринятых впечатлений. Пережитая близость с природой, обогащая исследователя, заставляет его быстро забыть все невзгоды и снова манит, зовет к себе...

Наступили жаркие дни. Солнце поливало тяжелым густым зноем мягкую мшистую поверхность болот. Его свет казался мутным от влажных испарений перегнивающего мха. Резкий аромат багульника походил на запах перебродившего пряного вина. Зной не обманывал. Обостренные длительным общением с природой чувства угадывали приближение короткой чувства северной осени. Едва уловимый отпечаток ее лежал на всем — на слегка побуревшей хвое лиственниц, горестно опущенных ветках берез и рябин, на шляпках древесных грибов, потерявших свою бархатистую свежесть...

Комары почти исчезли, зато мошка, словно предчувствуя грядущую гибель, неистовствовала, сбиваясь в мерцающие рыжевато-серые облака.

Маленький караван Чурилина уже давно шел через обширные болота Хорричекана. В сердце тайги царит душная неподвижность. Ветер, отгоняющий назойливого гнуса, здесь редкий и желанный гость. На ходу мошка еще не страшна — она облаком вьется сзади путников. Но стоит остановиться, чтобы осмотреть породу, записать наблюдения или поднять упавшую лошадь, — туча мошки мгновенно окутывает вас, липнет к потному лицу, лезет в глаза, ноздри, уши, за воротник. Мошка забирается и под одежду, разъедает кожу под поясом, на сгибах колен и щиколотках, доводит до слез нервных и нетерпеливых людей. Поэтому мошка является своеобразным «ускорителем», определяющим убыстренный темп работы на случайных останковках и сводящим к минимуму всякие задержки. И только во время длительного отдыха, когда разложены дымокуры или поставлена палатка, появляется возможность неторопливо оглянуться на пройденный путь...

Чавкали копыта лошадей, поскрипывали ремни и кольца вьюков на седах. Громадное болото скрывалось впереди в зеленоватой дымке испарений. Покосившиеся столбы сухих лиственниц возвышались над редкими и чахлыми елями. Сосредоточенное молчание, в котором

двигался отряд, иногда прерывалось вялой бранью по адресу того или другого коня. Впрочем, лошади, хорошо освоившиеся с тайгой за лето, трудились добросовестно. Понуриив головы, они шли цепочкой без всяких поводков. Эвенк Николай в мягких мокрых олочах, с палкой в руке и берданой за плечами, как-то особенно расставляя согнутые в коленях ноги, быстро семенил впереди каравана.

Позади всех шел со съемкой Султанов. На его раскрытую записную книжку падали капли пота, лица мошка, оставляя на страницах расплывчатые розоватые пятна крови...

— Далеко до Хорпичекана? — задав Чурилин проводнику обязательный вечерний вопрос. Холодная ночь заставляла всех придвигаться поближе к костру, разложенному на небольшой сухой релке.

— Не знаю, наша тут не ходи, — ответил проводник, — я думаю, его шибко далеко нету. Однако завтра ли, другой день приедем...

Чурилин с Султановым переглянулись. — Двадцать дней уже крутимся вокруг Амнунначи, — тихо сказал Султанов, — собственно, Хорпичекан — последняя речка!

— Да, — согласился Чурилин, — больше нет никакой зацепки. Все Амнунначи — сплошная болотина, низенькое ровное плоскогорье. Если Хорпичекан ничего не покажет, придется поворачивать ни с чем. И так без лошадей можем остаться, змы хватим...

Только на второй день удалось дойти до таинственного Хорпичекана — ничем не замечательной речки с темной водой, быстро струившейся между извилистыми берегами. С высоких подмывов почти до воды свисали жесткие космы густой травы. При ширине не более трех метров речка имела значительную глубину.

Проводник с трудом нашел сухое место, подходящее для установки палатки.

Дрова из ивняка и черемухи плохо горели, костер шипел и сильно дымил, разгоняя мошку. Эта неудобная стоянка была решающей. Но что могла дать эта глубокая болотистая речка. лишенная всяких обнажений коренных пород? Даже гальки — показателя состава пород в верховьях реки не нащупывалось на вязком илистом дне.

В этот вечер луна не светила на мрачное болото: приход на Хорпичекан совпал с переменной погодой. Редкие тусклые звезды загорались и гасли, показывая передвижение невидимых облаков. К полуночи молчаливое болото ожило — зашумел ветер, стал накрапывать редкий дождь.

Утром холодный туман быстро поднялся вверх — признак нечестья. Без солнца невеселая местность стала еще утрюмее, рыжеватая площадь болота посерела, во-

ды Хорпичекана казались совсем черными.

— Придется нырять! — Султанов длинным шестом ткнул в дно. Нащупав мелкое место, в котором палка сквозь жидкую глину упиралась в какие-то камни на дне, Чурилин первым разделся и бросился в ледяную воду.

— Вот вам три камня! — крикнул он, вылезая на берег. — Бегу одеваться в палатку, а то мошка съест. Бейте, Арсений Павлович.

— Углый сланец и диабаз, — сказал Султанов, заглядывая через несколько минут в палатку, — все то же самое...

— Нет, не могу я так бросить начатое дело! — Чурилин взглянул на Султанова. — Мы пойдем в вершину Хорпичекана, в центр Амнунначи. У меня какое-то предчувствие... Здесь что-то есть... или вся наша затея — погоня за несбыточным... Давайте завьючиваться, не теряя времени!

— Ух, и надоело, — засмеялся Султанов, обвязывая свернутую в тук палатку. — Подумайте только, который уж месяц! — вечером все развязать, разложить, утром собрать и снова связать. И так каждый день!..

Шесть дней под непрерывным мелким дождем шел караван на северо-восток. Следы человека, зимних кочевков эвенков, исчезли, ни одного порубленного дерева не встречалось маленькой партии. Вершина Хорпичекана пряталась в чаще густого мелкого ельника. Оглянувшись назад, перед тем как войти в заросли, Чурилин увидел позади почти весь путь последних двух дней. В прояснившемся на несколько часов воздухе дрожали влажные испарения, придавая обширному пространству болота призрачный вид.

Чурилин и его товарищи насторожились: болото пересекали два больших лося. Они шли спокойно, не видя людей. Высокие ноги животных двигались неторопливо, но размашистый шаг легко и быстро нес массивные тела по топкой, пропитанной водой толще мха. Передний лось закинул назад огромные рога, поднял голову и с каким-то презрительным видом оглядел покорные ему пространства болот. Животные скрылись за неровной серой гребенкой сухих лиственниц...

— Досадно смотреть, — произнес Султанов, — на четырех таких длинных ногах никакое болото не страшно! В день двести километров можно сделать!.. — Он с огорчением поглядел на свои ноги в тяжелых сапогах. — А у нас только две и те короткие!

Чурилин рассмеялся, а проводник расплылся в улыбке; хотя и не понял о чем шла речь.

— Мясо, однако, здесь будет! — весело сказал эвенк.

Чувство тревоги не оставляло Чурилина. Времени на работу собственно уже не было. Они двигались вперед за счет времени, необходимого на возвращение. И все-таки маленький отряд все глубже забирался в удаленные от больших речек безлюдные болота...

Центр Амнунначи вполне соответствовал данному эвенкам названию — это была совершенно безлесная равнина, покрытая кочковатой сухой травой, на серо-желтой поверхности которой выделялись темные пятна моховых полей. Равнина постепенно понижалась, окваченная на горизонте едва видной щеткой низкого леса. Только налево горизонт закрывался чернеющей ровной полосой — там местность, видимо, имела более крутой спад и вдали выступали далекие горы.

Через час небо затянулось ровной свинцовой пеленой, снова заморосил дождь. Огромное пространство трудно проходимых болот, в которых затерялись четыре человека, давило и угнетало, внушая мысли о недостаточности человеческих сил. Как бы ни хотелось человеку выбраться отсюда, но только недели, только месяцы однообразного пути и бесконечное терпение могли освободить его из этого плена.... И не случайно Султанов позавидовал лосям. Самый сильный человек, самые привычные ноги смогут сделать за день по мягкому моховому покрову, хлюпающей грязи, цепляющейся траве и багульникову не более тридцати тысяч шагов. И если их нужно полмиллиона, чтобы выйти из этих болот, — кричите, бейтесь в тоске, зовите кого хотите, — ничто вам не поможет... Полмиллиона шагов. — и из них ни одного неверного. Иначе, попав между кочками, корнями в щель каменных глыб россыпей, треснет хрупкая кость. Тогда — гибель...

Караван повернул под прямым углом налево, к далекой долине Мойеро. За сеткой дождя ничего не было видно, целыми днями шли только по компасу. Чурилин и Султанов почти не разговаривали, рабочий с эвенком тоже молчали. Ночью жалобно звенели ботала лошадей. — голодные кони толкались поблизости палатки. Иногда раздавался хриплый короткий рев лося. — началось время осенних боев между самцами...

На повороте только что проложенной тропинки Чурилин увидел остановившийся караван. Лошади сбились в кучу.

— Максим Михайлович, идите скорее! Воронко напоролся, — крикнул Петр с отчаяньем в голосе. Чурилин подошел. Молодой вороной конь был уже освобожден от вьюка и седла и стоял в стороне. По коже его пробежала крупная дрожь, задние ноги подгибались.

— Провалялся сразу обеими ногами,

и на пенек брюхом, — мрачно пояснил Султанов.

Кровь широкой струей сбегала по левой задней ноге Воронка. Конь пошатнулся и поспешно лег.

— Что делать, Арсений Павлович? — осмотрев рану спросил Чурилин.

— Что тут сделаешь? — Султанов отвернулся и пошел в сторону, — только я не могу...

Жалость к животному больно кольнула Чурилина. Но караван стоял, и Чурилин, слегка поблуднев, взял бердану и лягнул затвором. Ствол стал медленно подниматься к уху Воронка. Петр, застывший было в горестной неподвижности, сорвался с места и вцепился в бердану. Слезы текли по его щекам.

— Максим Михайлович, не стреляйте! Говорю вам, Воронко поправится, сам пойдет за нами...

Чурилин охотно уступил просьбам Петра. Груз, который нес Воронко, распределили между тремя другими лошадьми седло взвалили на четвертую. Воронко лежал и, вытянув шею, следил за исчезающим вдали караваном...

Маленький ручеек справа возник совсем незаметно из расплывчатой светлой грязи талика у круглого бугра, покрытого шапкой больших замшелых елей.

— Камни, Максим Михайлович! — и Султанов указал на небольшую возвышенность посредине ручья. Крупные округлые гальки с красным налетом железа просвечивали сквозь воду.

— Я посмотрю, — Чурилин шагнул к ручью, — а вы скажите Николаю, что сегодня будем идти до полной темноты.

Султанов заспешил к проводнику. Эвенк, выслушав распоряжение, хмуро кивнул головой и объявил, что сам знает надо торопиться.

От ручья донесся голос Чурилина:

— Стой! Арсений Павлович!

Сердце Султанова учащенно забилося. Он бросился назад. Чурилин размахивал куском камня и от волнения не мог произнести ни слова. Он молча сунул Султанову разбитый камень, а сам принялся лихорадочно выбрасывать на берег один за другим осколки валауны. Султанов взглянул на свежий раскол породы и вздрогнул от радости. Кроваво-красные кристаллики пирропа выступали на пестрой поверхности, в смеси оливковой и голубой зелени зерен оливина и диопсида.

— Гриквэит! — крикнул Султанов, и оба геолога принялись беспощадно разбивать набросанную Чурилиным гальку.

Вязкая плотная порода с трудом поддавалась ударам молотка. Каждый новый раскол открывал ту же пеструю, грубозернистую поверхность. Султанов полез в ручей за новыми камнями, и только ког-

да перед геологами предстал излом другого характера — темной, почти черной поверхности с зелеными точками — Чурилин выпрямился и вытер пот с лица.

— Уф! — вздохнул Султанов, — почти сплошь галька из гриквайта! А этот, уж не кимберлит ли?

— Думаю, что да, — подтвердил Чурилин, — из неразрушенной части интрузии.

Руки Чурилина, свертывавшие папиросу, дрожали.

— Это не галька, Арсений Павлович, — тихо и торжественно проговорил он, — такие валуны слишком крупны для маленькой ручейка.

— Значит, ручей размыл... — Султанов в нерешительности остановился.

— ...зловещую россыпь гриквайтовой породы! — твердо окончил Чурилин, — вспомните-ка, ведь гриквайтовые обломки встречаются в африканских трубах в виде валунов, они округлены при извержении.

Впервые за много дней Чурилин широко и светло улыбнулся.

— Та-ах, — протянул Султанов, — значит, нам нужно к вершинке ручья, там, где еловая роща... Поворачивай обратно! — крикнул он подошедшим Николаю и Петру. Эвенк, сощурившись, внимательно следил за радостными лицами своих начальников, а Петр хлопнул Буланого по крупу:

— К Воронку вернемся, дурья башка!..

С треском рухнула срубленная ель, за ней повалилась другая. В молчании темного леса гулко разносились удары топора.

Усталые люди присели покурить.

— Воронку-то наш поправляется, только еще хромает, — сообщил Петр, ходивший смотреть коней. — Что я говорил? Только тощат конишки. прямо тают, трава вон посохла...

Севший с вечера туман к утру лег сплошным покровом инея. Болото заискрилось, засверкало. Под елями попржему было темно. В сумраке громоздились поваленные стволы, покрытые наростами грибов. Грибы волнистыми и фестончатыми оборками торчали на пнях и корнях, цвели всевозможными оттенками красного, зеленого и желтого цвета, издавали гнилоостный запах и по ночам отлавляли едва заметным фосфорическим светом. Бугор был обиталищем сов. Пучеглазые любопытные птицы в сумерках восседали на ветвях близ лагеря и, склонив набок головы, рассматривали людей яркими желтыми глазами. Ночью их крики надрывно разносились в гуще ветвей, перекликаясь с ревушими на болоте лосями.

Люди рылись в земле, едва уделяя время на сон и еду, ожесточенно долбили

кирками твердую вязкую глину. Нехватало инструмента. Вечно-мерзлая почва плохо поддавалась, только огромные костры, разложенные в шурфах, заставляли ее уступать. Тогда на смену появлялся другой враг — вода. Два шурфа пришлось бросить — они попали внизу на талики и мгновенно заполнились водой.

Чурилин рассчитывал встретить коренную породу на двух-трех метрах от поверхности. Однако и эта ничтожная глина давалась с большим трудом.

Еще один шурф был заложен на самой вершине холма. Дым от костра заполнял еловую рощу, стелился под мохнатыми ветвями, длинным сизым языком выползал на болото и смешивался вдали с холодной сырой мглой.

Проводник принес на плече еще один сухой еловый ствол, бросил в костер и решительно подошел к Чурилину.

— Начальник, говорить надо. Кони скоро пропади, наша тоже пропади. Мука кончай, масло кончай, охота ходи не могу, работай надо. Плохой, шибко плохой дело, ходить надо ско-ро!

Чурилин молчал. Проводник лишь высказал его собственные неотвязные мысли.

— Максим Михайлович, — вдруг предложил Султанов, — пускай они с Петром уводят лошадей, а мы с вами добьем шурф. Инструмента все равно только на двоих. А мы потом по реке, на плоту...

Чурилин быстро шагнул к своему помощнику, внимательно взглянул в его похуевшее, заросшее черной бородой лицо и налившиеся кровью от дыма и бессонницы глаза и отвернулся...

— Вы пойдете со всем грузом прямо на Соттыр, — спокойно говорил он через несколько минут проводнику и помрачневшему Петру, — там, в поселке, сдадите лошадей. Я обо всем договорился на случай еще весной с начальником полярной станции. Я дам письмо, чтобы вас снабдили продуктами, а Петра доставили в Джергалах. Там он пусть заготовит лодку и ждет нас... Может быть, успеем сплавиться по Хатанге до аэропорта. Николай получит в Соттыре продуктами. — деньги выдам сейчас, пусть возвращается к себе... Как дойдете до Мойеро, оставьте все продовольствие, какое сможете выделить, на видном месте. Путь отмечайте засечками, мы пойдем следом. Сколько отсюда до Соттыра?

— Не знаю, — эвенк покачал головой, — километра триста ли будет однако.

— Ну вот, а до Мойеро пятьдесят.

— Не-ет, здесь тебе Мойеро ходи нельзя — шибко большой борог много. Через горы, та сторона ходи, тогда останется только маленький борог.

— Ну, сто километров?

— Сто ли, сто двадцать, однако, будет.

— Хорошо, вы пойдете тем же путем, на горах снегу еще нет, или есть, но мало.

— Сейчас я тебе карта пиши, дай бумага...

★

На еловом бугре стало совсем одиноко и тихо. Палатку увезли, вместо нее был устроен балаган из еловых лап. Горевший перед ним костер чуть дымился под дождем.

Султанов проснулся ночью от холода. Все тело болело. Мучительно не хотелось вставать, казалось просто невозможным пошевелить рукой. С огромным усилием Султанов поднялся и разбудил Чурилина. Тот быстро встал, выпил кружку пустого чая и начал искать впотьмах лежавшую где-то у костра короткую шурфовочную кайлу.

Пламя костра заметалось, оживленное новой порцией сухих дров. В шурфе, углубившемся в землю уже на два с половиной метра, было совершенно темно. Чурилин долбил кайлой наугад, выгребая комья глины руками в ведро, которое время от времени поднимал наверх на веревке Султанов. Боясь затопления, геологи не протаивали мерзлоту огнем, предпочитая мучительно медленную, но более верную работу по мерзлой почве. Вода и так уже стояла в яме на четверть, и каждый удар кайлы сопровождался громким всплеском.

Чурилина казалось порой, что он работает, согнувшись в этой тесной сырой яме, уже много лет, что всю жизнь он только и слышал, что глухое бунчание породы, звяканье ведра, что всю жизнь он копался ободранными распухшими пальцами в жидкой ледяной грязи...

— Довольно вам, уже двадцать пять ведер нарыли! Теперь моя очередь! — крикнула сверху Султанов как раз в тот момент, когда Чурилин почувствовал, что больше не сможет поднять кайлу. Он выбрался из шурфа, упираясь в стенки ногами и руками, и тяжело опустился на мокрую глину. Султанов исчез в яме, и оттуда послышался его приглушенный голос:

— Подходяще! Ну и сила у вас, Максим Михайлович... Еще четверть метра прошли, мелкие камушки уже звякают!.. Нет-да больше опять глина..

В то же время Султанов ощутил, что глина пошла несколько другого рода: по-прежнему плотная, она отворачивалась крупными кусками, неподатливая липкая вязкость исчезла...

Ведро за ведром таскал Чурилин, и горка вынудой глины все увеличивалась. Уже подошла к концу длинная осенняя ночь, когда Султанов слабо и хрипло крикнул из шурфа:

— Камни пошли! Один крупный есть, тащите!..

Последнее ведро казалось Чурилина невероятно тяжелым. Он извлек липкий, холодный и тяжелый кусок породы и у костра разбил его молотком. Темная матовая порода в мерцающем свете пламени ничем не отличалась от надоевших за время пути диабазов.

— Ну что? — нетерпеливо спросил снизу Султанов.

— Не знаю, темно, — не желая огорчать товарища, ответил Чурилин и бросил куски камня на кучу вырытой глины.

— Вылезайте, нужно поспать. Шесть часов. — скоро рассвет...

Хотелось долго-долго спать. Но время текло неумолимо, и в девять часов оба геолога были уже на ногах и готовили скудный завтрак.

— Как ни тяжела работа, а порции придется уменьшить, — сумрачно сказал Чурилин, — в мешке совсем мало муки...

Султанов усмехнулся, помолчал. Затем, подняв кружку с чаем, торжественно продекламировал:

— «Погибель верна впереди... и тот, кто послал нас на подвиг ужасный, — без сердца в железной груди...»

— Еще ужасней, что никто нас не послал... И, пожаловаться не на кого...

— Да, чорт возьми, кто собственно держит нас здесь? — тихо сказал Султанов, опустив голову.

Товарищи медленно поплеались к шурфу. Вдруг Султанов крепко впился пальцами в локоть Чурилина.

— Максим Михайлович, — желтая земля!!

На верху кучи вынудой породы кусками лежала какая-то особенная, зернистая, и в то же время плотная глина рыжеватого желтого оттенка. Чурилин поспешил поднять расколотый ночью камень — это была тяжелая, жирная на ощупь, синеватая черная порода. Наружный слой камня был мягким и более светлого, синеватосерого оттенка.

— Воды, Арсений Павлович, побольше воды, — прошептал Чурилин. — да вот в затопленном шурфе возьмём. Вылейте чай — чорт с ним! Нужно второе ведро... Вы начинайте промывку желтой породы, доведите на лотке. А я займусь осколками камней.

— Неужели... — начал Султанов.

— Подождите, — резко оборвал Чурилин.

Неторопливо, словно несколько не волнуясь, Чурилин принялся промывать все добытые кусочки твердой черной породы, очищая рыхлаые корки и грязь.

Позабыв про все на свете, геологи занимались своим делом. Внезапно Чури-

лин издал притлушенное восклицание и торопливо достал из нагрудного кармана складную лупу. Султанов бросил лоток и подбежал к нему. На синевато-черном фоне небольшого куска породы сидели почти рядом три прозрачных кристаллика с горошину величиною. Треугольные площадки их граней не были абсолютно гладкими, но тем не менее ярко блестели. Каждый кристалл представлял собою две соединенные основаниями четырехгранные пирамиды. Геологи не спустили глаз с кристаллов. В глубоком безмолвии леса слышалось лишь прерывистое дыхание людей...

— Алмазы, алмазы! — горло Султанова сжала спазма.

— Да, типичные октаэдры, как в Южной Африке, — произнес Чурилин, — чистой воды, хоть и не голубоватые. По тамошней номенклатуре — второй сорт высшего класса, так называемый Первый Капский... Вот и все, Арсений Павлович, наше дело сделано. Это вы... — Чурилин не договорил, сжав испачканную глиной руку Султанова. Тот устало опустился на забрызганный грязью, прижатый багульник.

— Значит, эта рыжая глина... и есть «изаллоу граунд» — желтая земля африканских копей, — говорил Чурилин, — самая верхняя и, вдобавок, всегда обогащенная алмазами «покрышка алмазной трубы... Несколькими метрами ниже пойдет синяя земля — «блю граунд», вот эта самая, куски которой мы нашли в желтой земле. Это менее разрушенная, менее окисленная кимберлитовая порода... А наш еловый холм, без сомнения, оконтуривает границу алмазной трубы. Такие холмы часто помогают в Южной Африке при поисках алмазных месторождений, показывая выступающую на поверхность, но скрытую под почвой верхнюю, расширенную часть трубы. И помните, дорогой Арсений Павлович, основную заповедь африканских охотников за алмазами: где одна труба, там ищи еще несколько. Они никогда не бывают в одиночку!.. Теперь — теперь нам нужно промыть всю нарытую желтую землю, тщательно отобразить образцы. Чтобы нести их, придется отказаться от части продовольствия. Репер, заявочный столб, — и с рассветом уходим отсюда: наши жизни теперь особенно драгоценны!..

Султанов в последний раз встряхнул лоток и высыпал на лист чистой бумаги все, что осталось после промывки целой тонны желтой земли. На белом листе рассыпались мелкие кристаллы — столбчатые, призматические, многоугольные, красного, бурого, черного, голубого, зеленого цвета. Это были сопутствующие алмазу ильменит, пироксен, оливин и другие стойкие минералы. А среди них, по-

добно кусочкам стекла, и все же не сходные с ним, сильным блеском выделялись мелкие кристаллы алмазов. Здесь были белые, чистой воды, камни, были — покрытые шероховатой бурой корочкой. Некоторые кристаллы имели розоватый или зеленый оттенок.

— Вот смотрите, кроме октаэдров — ромбододекаэдр, — Чурилин отделил спичкой зеленый двенадцатигранник, — этот вид алмаза отличается необыкновенной даже для этого камня твердостью. В Африке такие алмазы встречаются преимущественно в трубе Фоорспед... А это — борт, — он указал спичкой на округлое зернышко черного цвета, — сросток мельчайших алмазных кристалликов... Я смерил диаметр нашего холма, — продолжал Чурилин, — эта алмазная труба не из маленьких, не меньше четверти километра в поперечнике. Правда, в Южной Африке есть и больше, например Дютйтспан — чуть не семьсот метров. Это уже не труба, а целое вулканическое жерло...

Султанов задумчиво глядел на холм. Он старался представить себе огромную трубу, уходящую почти отвесно на глубину в несколько километров и заполненную драгоценной черновато-синей породой с алмазами. И это было здесь, в заболоченной мрачной равнине, под мхом и грязью, едва прикрывающими панцырь вечной мерзлоты!

Молчал и Чурилин. Он чувствовал себя таким усталым, что вся важность свершившегося воспринималась как-то плоско, без радости. Он механически ссыпал в мешочек алмазы, написал этикетки к кусочкам пород, тщательно завернул образцы и принялся вычерчивать подробный план месторождения.

Султанов обтесал высокий пенъ в виде столба и, раскалив кайлу, выжег на нем несколько букв и цифр. Вскоре был готов и репер — высокая ель с обрубленными сучьями и перекладной наверху...

Путь напрямик через горы был нелегко. — пересекая множество распадков, приходилось преодолевать по пятнадцати перевалов в день. Геологически механически шагали без слов и мыслей. Ничтожных порций пищи нехватало на покрытие огромной затраты сил. Передвижение начиналось при первых проблесках утреннего света, а кончалось далеко полночью. Осыпалась яркожелтая хвоя лиственниц, лес был мокр от непрерывного дождя, иногда сменявшегося снегом. Влага стекала с ветвей, ватники геологов быстро промокали насквозь и вечером долго сохли у сильного огня, а на следующее утро снова промокали в первый же час пути. Вода выступила на болотах, покрыв на четверть высокие кочки, между которыми, при малейшем неверном шаге, люди проваливались по по-

яс. Тонкий ледок хрустел под размокшими сапогами. Никакой дичи не встречалось на пути — горы словно вымерли, и бердана попеременно давила плечи товарищам бесполезным грузом...

Утро четвертого дня застало Чурилина и Султанова взбирающимися на крутой подъем. На вершине перевала перед путниками расступилась красновато-серая дымка тумана, и открылся обширный пологий спуск, образованный россыпью огромных остроугольных каменных глыб. Вдали вставал темносиней, испятнанной рыжим, стеной противоположный склон долины большой реки.

— Ну, вот и Мойеро! — Чурилин, присев на камень, вывернул карманы в поисках последних крошек махорки.

— Как они тут прошли с лошадьми!.. Последняя затесь на вершине, а дальше ничего не видно.

— Спустимся прямо по россыпи в долину и пойдем вниз по реке, — предложил Султанов, — потом вернемся вверх, где-нибудь обязательно пересечем их след...

★

...Начальник производственного отдела института вошел в кабинет Иващенко и молча опустил в кресло.

— Я серьезно тревожусь за Чурилина, — озабоченно сказал профессор, — этот человек слишком упрям, чтобы быть осторожным. Горюнов приехал уже месяц назад, а Чурилин с Султановым остался в тайге. Нужно послать телеграммы: всюду, куда можно, с запросами: в Соттыр, на Туру, Хатангу, Чирингдинскую базу Союзпушнины...

...И с высоких мачт радиостанции острова Диксон понеслись над тайгой колебания эфира. Прерываясь, снова возобновляясь, они несли один и тот же вопрос: «Хатанга, Соттыр, Тура.. Сообщите срочно, имеются ли известия экспедиции Главминсырья инженера Чурилина...»

Радиоволны достигли высокой каменной россыпи. Но оба геолога, конечно, не знали и не чувствовали, что пространство насыщено вопросом об их судьбе. Они осторожно балансировали на скользкой, покрытой лишайниками поверхности громадных плит, перепрыгивали глубокие провалы между глыбами, карабкались по острым граням и ребрам.

Россыпь растянулась на несколько километров невероятным хаосом изломанного камня. — сплошное мертвое поле, покрытое серыми костями гор. Будто столкнувшиеся в страшной битве силы земной коры разбили, исковеркали, рассыпали

горные вершины, и они повалились здесь поверженными скелетами, выставив обнаженные острые ребра...

... — Сергей Яковлевич! Соттыр сообщает: вчера прибыли рабочий и проводник Чурилина с лошадьми... Геологи остались в тайге! Вот телеграмма...

Профессор яростно стукнул кулаком по столу.

— Так и знал! Погибнут ни за что!.. Телеграфируйте в Соттыр... Впрочем, кто же передаст им?.. Экспедицию снаряжать надо...

Ивашенцев, волнуясь, стал перебирать бумаги на столе.

— И, главное, упрямство-то бесполезное: раз за три года ничего не нашли, так и в один лишний месяц ничего не добьешься...

★

— Молодцы! Смотри-ка, Арсений Павлович, платишко приготовили из сухих еловых лесин. — молодцы! Продуктов примерно на неделю, — ну, не беда: река быстрая, понесет хорошо... А ну, берем, раз-два...

Маленький плот закачался на воде, вернулся и, направляемый шестами, быстро поплыл по середине реки. Здесь Мойеро еще не была глубокой, под плотом быстро мелькали на дне длинные гладкие гальки. Оба геолога впервые почувствовали за много тяжелых дней радостное облегчение. Котомки не давили больше натруженные плечи, истертые расплосканные сапогами ноги наслаждались отдыхом, а река несла плот со скоростью не меньше шести километров в час. Пожалеуй, в этом была главная радость — сидеть, покуривая оставленную Николаем махорку, изредка выправляя плот толчками шестов, и в то же время сознавать, что подвигаешься вперед, что с каждым часом уменьшается бесконечный путь...

Можно будет позволить себе роскошь подумать, вспомнить, что существует другой мир. Плеск воды, переливы ее журчания на узких галечных косах, быстрое движение маленьких волн. — все казалось полным веселой жизни после гнетущего молчания, однообразия и неподвижного воздуха огромных болот...

Мойеро текла извилисто, описывая крутые изгибы. Мимо проплывали низкие берега. Широкая пойма осталась позади, лес подошел прямо к реке и зажал ее русло в темные высокие стены. Плот шел словно по коридору между густых елей. Многие деревья, подмытые рекой, круто склонялись к воде. Вдали лесной коридор, казалась, суживался, вершины наклоненных с противоположных берегов лесин скреплялись над водой, терявшей

своей живой блеск, струившейся сумрачно и холодно.

Огромная, недавно поваленная ель лежала поперек реки, почти касаясь своей еще зеленой вершиной широкой отмели левого берега. Геологи отвели плот к отмели и, прыгнув в воду, протаскили его по гальке. Дальше попало еще несколько таких деревьев, сильно задерживавших ход плота, но все это казалось Чурилину и Султанову пустяками, пока из-за крутого поворота реки они не услышали громкое журчанье и плещущие удары.

— К берегу, живо! К берегу! — крикнул Чурилин. — Впереди залом!

Но было уже поздно, — плот шел слишком быстро. Шест, воткнутый в дно реки, с треском сломався, и плот, как слепой, устремился прямо на высокую грудку древесных стволов, перегораживавшую реку.

Направо, где нагромождение деревьев было более редким, вода, громко хлопоча, устремлялась под завал. Ветки и тонкие стволы дружинили и вибрировали под напором воды, производя характерные всплески, похожие на удары гигантского валька.

Султанов и Чурилин бросились к заднему концу плота и схватили драгоценные мешки, топор и бердану. В ту же секунду плот нырнул под залом, остановился и начал подниматься вертикально, уходя все глубже под воду. Сильный толчок бросил товарищей вперед, но им удалось прыгнуть на залом. Вода зашумела сильнее, пучась валом за плотом, загорюлившим часть узкого прохода. Не теряя ни минуты, Чурилин с Султановым привалился поочередно рубить стволы единственным топором. После двух часов тяжелой работы можно было высвободить плот и с помощью веревки подтащить его к берегу, где у края завала воды было по пояс. Борясь со сбивавшей с ног ледяной водой, геологи насилу подняли плот повыше и проволокли его в прорубленную брешь через толстые скользкие бревна, лежавшие под водой в основании залома. Дальше путь был свободен, — но увя, всего на полтора километра!.. И снова перед плотом вырос лесной залом еще более широким нагромождением побелевших окоренных бревен, между которыми грозными пиками торчали толстые сучья и корни глубоко зарывшихся в гальку деревьев...

На белесой песчаной косе горел большой костер. Плот стоял, приткнувшись к косе. Чурилин и Султанов сидели лицом к реке, повернув к огню дымящиеся мокрые спины. Над песком круто поднимался берег, сухая трава на нем золотилась под ярким солнцем, разбудившим тучи оконечнейшей было мошки.

Султанов вдруг поднялся и неверными шагами направился в сторону. Его тош-

нило, желудок отказывался принимать только что съеденную пищу. Чурилин с тревогой следил за своим помощником. Он и сам чувствовал себя плохо. Истощенное непомерной работой, долгим недоеданием, бессонницей, сердце то падало и было тяжело и редко, то учащенно и слабо трепыхалось, требуя отдыха, длительного покоя.

Темный страх перед цепкими тисками лесной пустыни наполнил душу исследователя. Нужно проплыть около четырехсот километров рекой. А они вот уже второй день пробиваются сквозь завалы и проплывали за эти два дня семь километров... Семь километров! Еды осталось на четыре дня при самых маленьких порциях. А сколько предстояло еще непосильной работы по плечи в холодной воде: рубить толстые бревна, надсаживаясь, перетаскивать плот... Больше нет сил! Вряд ли они выдержат еще хотя бы один день. Кто знает, сколько впереди заломов — один или сотня?..

Султанов вернулся к костру и лег на песок. Чурилин подвинул под голову товарища сумки и встал на колени.

— Полежите, Арсений Павлович, я пройду вперед. — Он показал налево, где за широкой отмелью и сверкавшей в солнечных лучах водой громоздилась грудка переплетенных серых бревен.

Султанов сел.

— Максим Михайлович, вот что.. — он замаялся, — если я совсем разболеюсь, так вы идите один... Нужно, обязательно нужно кому-нибудь спастись... Я серьезно, я не шучу! — Султанов рассердился, увидев улыбку Чурилина.

— Бросьте, дорогой! Отдохнете — и все пройдет. Если выйдем, так оба! — громко сказал Чурилин, сам не находя в своем тоне уверенности. — Ну, я пошел! — И, подняв бердану, он медленно ползая по песку и хрустящим галечным отмелям на пересечку крутого кривуна. Ему хотелось пройти дальше вниз по реке, чтобы осмотреть долину ниже залома.

Страх, охвативший Чурилина, не проходил, как он ни пытался справиться с ним. Как хотелось ему скорее вернуться в привычный мир карт, книг, научных исследований, отдать своей стране богатства, спрятанные пол мхами и мерзлотой болот Амнунначи, иметь время для тихого спокойного раздумья за микроскопом, для бесед с товарищами... Неужели так и не удастся вернуться туда, где нет мошки, вечно мокрой одежды, едкого дыма... и беспрестанной гонки вперед, вперед?..

Чурилин пересек кривун и повернул вдоль берега.

Он шел и думал о Султанове: «Что заставляет людей идти на такие невидные, никому неизвестные подвиги? Если мы выйдем, разве кто-нибудь узнает о

стойком героизме этого человека? Пережитое быстро сотрется, забудется, покажется тяжелым сном. — кто же рассказывает всерьез о снах? А если мы не выйдем, тоже никто не узнает. Больше того, скажут — погибли от неумелости, неосторожности... А у Султанова там, в далеком мире, за тысячи километров — жизнь, счастье, любимая женщина... ждущая давно, тревожно и нетерпеливо...»

Справа, на противоположном берегу слышался шум. Хрустела галька, тихо шелестела сухая трава. Чурилин очнулся от задумчивости, посмотрел — и сердце его буйно заколотилось.

Под уступом берега, погрузив копыта в воду, стоял огромный самец-лось. Могучее тело его казалось издали совсем черным. Широкие рога, как ладони гиганта с растопыренными острыми пальцами, были светлыми, а между ними, обращенные в сторону Чурилина, ижицей торчали большие раструбы ушей. Лось всматривался в застывшего на месте геолога. Вот он склонил голову, выставив рога, и издал хриплое «уоп». Чурилин не шелохнулся, до боли зажав в кулаке ремень берданы.

Лось повернулся, и сразу стал другим — поджарым, горбатым, на высоченных ногах. В повадке животного чувствовалась ежесекундная готовность к стремительному бегу, скрытая энергия взведенной пружины. Мощная горбоносая голова поднялась, на горле растопырилась жесткая черная борода, крутой загорбок обозначился еще резче. Затем лось раставил широко ноги, ткнулся носом в воду и вошел в реку. Чурилин рванул с плеча бердану. Лось молниеносно повернулся. Щелкнул снятый с предохранительного взвода затвор, и Чурилин послал пулю в высокий загривок прыгнувшего на берег животного. Лось споткнулся, упал, вскочил опять. Гром второго выстрела разнесся по реке — и животное исчезло в кустах. Вне себя Чурилин бросился в реку, высоко поднимая бердану. Течение сбивало его с ног, но он справился с ним и вскоре был на противоположном берегу. В десяти метрах от воды в высокой траве виднелось черновато-бурое тело. Чурилин осторожно приблизился к нему и убедился, что зверь мертв. Лось лежал, запрокинув упершуюся на рог голову, передние ноги согнувшись в коленях. Великолепная мощь животного чувствовалась и в неподвижном трупe.

Чурилин не был настоящим охотником — встав на одно колено, он погладил горячую морду лося, будто сожалел о случившемся...

Как бы то ни было, но шестнадцать пудов превосходного мяса меняли судьбу геологов.

Чурилин выпрямился, опершись на бердану, оглянулся и увидел на реке еще один залом в четверти километра ниже. Дальнейший путь реки скрывался густой лесной щеткой. Однако эта щетка в одном месте понижалась и там виднелся горный склон, подхвачивший вплотную к реке.

«Если река войдет в ущелье — будут пороги, но заломы окончатся», — подумал Чурилин. Он быстро выпотрошил лося, взял губы, сердце, кусок мяса. Обозначил место высоким шестом и перебрался через реку по верхнему залому, кстати тщательно осмотрев его.

Обильная мясная еда сначала еще больше ослабила путешественников, но наутро Чурилин и Султанов заметно приободрились...

За последним заломом Мойеро приняла в себя справа большую речку. Долина сужалась, отроги пятнистых черножелтых от осенних лиственниц гор спускались к реке, течение которой все убыстрялось. Тусклая свинцовая поверхность воды словно дышала, плавно вздымаясь и опускаясь. Галечные косы возвышались, как крепостные валы. Быстро неслись назад отдели, деревья, черные промоины. Вот скалы надвинулись совсем близко, зашумели волны, вся река покрылась струйчатыми бороздами и островерхими пенными гребешками. Вода заливала несшийся по шивере плот. Несколько тревожных минут. — и плот снова вышел на мерно вздымавшуюся просторную воду.

Быстрое движение бодрило истомившихся людей. Наконец, в полной мере их охватило веселье одержанной победы.

Пройдет немного времени. — и тысячи людей придут сюда, где томились они оба в плену лесов и болот. Могущество труда рассечет непроходимые пространства дорогами, расчистит леса, высушит болота. Шум машин и яркий электрический свет вонзятся в темное молчание тайги...

★

— Сергей Яковлевич, телеграмма из Хатанги! Наверно от Чурилина!

— Что?! Давайте скорее! — Профессор поспешно вскрыл и прочитал телеграмму. Она выпала из его рук. — Ничего, я сам подниму... Идите — с ними все благополучно, возвращаются...

Оставшись один, Ивашенцев перечитал короткий текст: «Все, что искали, найдено, возвращаемся самолетом, здоровы. Чурилин, Султанов...»

Профессор Ивашенцев встал и низко поклонился телеграфному бланку, который он бережно положил на стол.

АК-МЮНГУЗ (БЕЛЫЙ РОГ)

В бледном, пылающем небе медленно кружил гриф. Широко распластав крылья, без всяких усилий парил он, неподвижно вися на огромной высоте.

Усольцев с завистью следил, как гриф то легко взмывал кверху, почти исчезая в спящей жаркой синеве, то опускался вниз — сразу на сотни метров.

Усольцев вспомнил про изумительное зрение грифов. И сейчас, как видно, гриф высматривает — нет ли где падали? Усольцев невольно внутренне содрогнулся. — пережитая им смертная тоска еще гнездилась в теле. Разум успокоился, но каждая мышца, каждый нерв слепо помнили пережитую опасность, содрогаясь от страха. Да, этот гриф мог бы уже сидеть на его трупе, разрывая загнутым клювом обезображенное, разбитое тело...

Засыпанная обломками разрушавшихся обнаженных скал долина была раскалена, как печь. Ни воды, ни деревца, ни травы — только камень, мелкий и острый внизу, обрывисто громоздившийся угрюмой массой вверху. Разбитые трещинами утесы, нещадно паляемые солнцем...

Усольцев поднялся с камня, на котором сидел, и, чувствуя противную слабость в коленях, пошел по скрежетавшему под ногами щебню. Невдалеке, в тени выступавшей скалы, стоял конь. Рыжий кашгарский иноходец насторожил уши и повернул голову, приветствуя хозяина тихим и коротким ржанием. Усольцев освободил повод, ласково потрепал лошадь по шее и вскочил в седло.

Долина быстро раскрылась перед ним, иноходец вышел на простор. Ровный уступ предгорий в несколько километров ширины вдали круто спускался в бесконечную степь, затянутую дымкой пыли и клубящимися струями нагретого воздуха. Там, далеко, за желто-серой полосой горизонта лежала долина реки Илы. Большая быстрая река несла из Китая свою кофейную воду в зарослях колючей джиды и цветущих ирисов. Здесь, в этом степном царстве покоя, не было воды. Ветер, сухой и горячий, шелестел тонкими стеблями чья...

Усольцев остановил иноходца и, поднявшись в стременах, оглянулся назад. Вплотную к ровной террасе прилежала круглая коричнево-серая стена, изрезанная короткими сухими долинами, разделявшими ее гребень на ряд неровных острых зубцов. Посредине, подобно главной башне крепости, выдавалась отдельная отвесная гора. Ее изрытая выпуклая грудь была подставлена знойным ветрам широкой степи, а на самой вершине торчал совершенно белый зубец, слегка изогнутый и зазубренный. Он резко выделялся на фоне темных пород. Гора была значительно выше всех

других, и ее острая белая вершина походила на высоко взметнувшийся в небо гигантский рог.

Усольцев долго смотрел на неприступную гору, мучимый стыдом. Он — геолог, исследователь, отступил, дрожащий от страха, в тот самый момент, когда, казалось, принял твердое решение... И это он — о котором говорили как о неутомимом и стойком исследователе Тянь-Шаня... Как хорошо, что он поехал один, без помощников. Никто не был свидетелем его страха. Усольцев невольно огляделся кругом, но палящий простор был безлюден, — только широкие волны ветра шли по заросшей чием степи и лиловатое марево неподвижно висело над уходящей на восток горной грядой.

Иноходец нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что же, Рыжик, пора нам домой! — тихо сказал геолог коню, и тот, словно поняв, выгнул шею и двинулся вдоль уступа. Маленькие, крутые копыта отбивали частую дробь по твердой почве. Быстрая езда успокоила душевное смятение геолога.

С крутого спуска Усольцев увидал стожанку своей партии, служившую ему домом уже в течение целого месяца. На берегу небольшого ручья, под сомнительной защитой филигранных серебристых ветвей джидовой заросли, были раскинута две паатки и поднимался едва заметный столбик дыма. Подальше, уже на границе степи, стоял толстый карагач, словно придавленный тяжестью своей густой листвы. Под ним виднелась еще одна, высокая паатка. Усольцев посмотрел на нее и с привычным ощущением грусти быстро отвернулся.

— Ребята не вернулись еще, Арслан?

Старообразный рабочий-уйгур, мешавший плов в большом казане, подбежал к лошади.

— Я сам расседаю, а то пригорит у тебя плов... Есть не хочу — жарко.

Узкие, темные глаза уйгура внимательно взглянули на Усольцева.

— Наверно, опять Ак-Мюнгуз ездил?

— Нет.. — Усольцев чуть-чуть покраснел, — в ту сторону, но мимо.

И он сосредоточенно занялся расстигиванием задней подпруги.

— Старики говорят. — Ак-Мюнгуз даже орел не садится, он острый, как шемшир (меч), — продолжал уйгур.

Усольцев, не отвечая, разделся и направился к ручейку. Холодная прозрачная вода дробилась на острых камнях и издавала казавшуюся лентой измятого белого бархата. Звонкое переливное журчание было исполнено отрады после мертвых раскаленных долин и свиста сухого ветра. Усольцев, освеженный умыванием,

улегся в тени под тентом, курил и думал...

Сознание поражения отравляло отдых, вера в себя пошатнулась. Усольцев пытался успокоить свою совесть размышлением о признанной недоступности Белого Рога, но успокоиться он мог. Глубоко задетый своей неудачей, он невольно потянулся к той, которая уже давно была его неизменным другом, но только в мыслях о ней. — «Только в мыслях»... — горько улыбнулся Усольцев. Сегодняшняя неудача надломилась волю. Вопреки принятому решению, Усольцев поднялся и медленно пошел к высокой палатке под карагачем. Он вспоминал слова давнего разговора:

«Что пользы тревожить старое? — сказала она, — все давно глубоко запылано. покрылось пылью...» — «Пылью?»... — гневно спросил Усольцев, и ушел, не сказав ничего, с твердым решением не возвращаться больше...

Работа снова нечаянно свела их вместе: она заведывала шлиховой партией, обследовавшей район его съемки. Уже больше двух недель палатки обоих партий стоят рядом. Но она так же далека и недостижима для него, как... Белый Рог. И вот он, избегавший лишних встреч, обменивавшийся с ней только необходимыми словами, идет к ее палатке. Еще одно поражение, еще одно проявление слабости. — ну, все равно...

На ящике у палатки сидела и шила полная девушка в круглых очках. Она дружелюбно приветствовала Усольцева.

— Вера Борисовна в палатке? — спросил геолог.

— Да, сегодня она читает запоем весь день...

— Входите, Олег Сергеевич, — раздался из палатки мягкий, чуть насмешливый голос, — я узнала вас по походке...

— По походке? — переспросил Усольцев, откидывая полу входа: — Что вы нашли в ней особенное?

— Она у вас такая же угрюмая, как и вы сами!

Усольцев вспыхнул, но сдержался и робко взглянул в строгие, серые с золотистыми искорками глаза.

— Что-нибудь случилось? Вы сегодня какой-то...

— Ничего не случилось, — поспешно проговорил Усольцев, — вы ведь скоро уезжаете, я и зашел вас проведать на прощанье...

— А у меня сегодня был день восхитительного безделья. Мои поехали в Подгорный, за почтой. Управление телеграфировало еще на прошлой неделе об изменении дальнейшего плана. Работа здесь кончена, и мы — на отлете. А у меня прекрасная книга, прислали по почте, я весь день читала. Завтра тоже одыш, а там — в новые места, ско-

рее: всего на Кегень. Жаль, что здесь все было так неудачно. Нашли несколько кристаллов касситерита... и все... А месторождение, бывшее наверху, давно смыто!

— Да, если бы уцелели более высокие вершины, — согласилась Усольцев.

— Только Белый Рог, — вздохнула Вера Борисовна. — но он неприступен, а сверху ничего не падает, должно быть очень крепка порода... Мой совет — просите сюда пушку, чтобы отбить кусок Рога, а то плохо ваше дело — секрет останется неразгаданным. — весело закончила она.

Усольцев протянул руку к лежавшей на чемодане книге.

— «Восхождение на Эверест» — вот чем вы зачитывались весь день!

— Чудесная книга! На ее страницах лежит отблеск вечных снегов гималайских вершин... Меня захватила — как бы вам сказать — не самая атака Эвереста, а постепенное внутреннее восхождение, которое проделали в душе, каждый по-своему, главные участники атаки... Понимаете, — борьба человека за то, чтобы стать выше самого себя...

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — ответил Усольцев, — но ведь они так и не поднялись на самую вершину Эвереста?

Глаза Веры Борисовны потемнели.

— Да, с вашей точки зрения это было поражением. Они сами признавали это. «Нам нет извинения, мы разбиты в этом честном сражении, побеждены высотой горы и разреженностью воздуха», — прочитала, взяв книгу из рук Усольцева, Вера Борисовна. — Разве этого мало — выбрать себе высокую, невероятно трудную цель, пусть несоразмерную с вашими данными? Вложить всего себя в ее достижение... Я так ясно представляю себе Эверест. Роковая, обнаженная, скалистая гора. На той недоступной высоте ужасные ветры — даже снег не держится. Вокруг — страшные пропасти. Рушатся ледники, скатываются лавины... И люди упорно ползут наверх, вперед... Если бы мы могли почаще ставить себе подобные Эвересту цели!..

Усольцев молча слушал.

— Но ведь только единицы способны на такие подвиги. И Эверест, в конце концов. — он тоже только один в мире...

— Неправда, это просто неправда! У каждого могут быть свои Эвересты. Неужели вам нужны примеры из нашей жизни?.. А война — разве она не дала героев, поднявшихся выше собственных сил?..

— Но тот — настоящий Эверест, он безусловен для всех и каждого, — не сдавался Усольцев: — А в выборе своего Эвереста можно ведь и ошибиться!

— Это вы хорошо сказали! — воскликнула молодая женщина. Она насмешливо смотрела на Усольцева: — В самом деле.

представьте себе: вы вкладываете все, что в вас есть, в Эверест, а на деле он оказывается маленькой горюшкой — ну хоть вроде этих наших... Какой жалкий конец!

— Вроде этих наших? — вздрогнув, переспросил Усольцев, и в тот же момент он с потрясающей отчетливостью вспомнил, как всего несколько часов назад он распластался на крутом каменистом откосе, по которому, как дробь, катились мелкие угловатые кусочки щебня. Пытаясь удержаться, он прижимался к склону всем своим телом. Чувствовал, что при малейшем движении вниз или вверх он неминуемо сорвется со стометрового обрыва. Как медленно текло время, пока он, собирая всю волю, боролся с собой и, наконец, решившись, толчком бросился в сторону, покатился, перевернулся и повис, вцепившись скрюченными пальцами в трещины камня. Одинокая, молчаливая борьба в смертной тоске...

Усольцев вытер выстужившийся на лбу пот и, не прощаясь, ушел...

Четыре головы склонились над придавленной камушком картой. Палец прораба царапал бумагу сломанным ногтем.

— Сегодня мы дошли наконец до северо-восточной границы планшета. Вот здесь эта долинка, Олег Сергеевич. Там опять сброс — впритык стоят древние дюриты. Следовательно, конец нашего островка метаморфической толщи — последняя точка.

Прораб начал развязывать мешочки, спеша до темноты показать образцы.

Усольцев разглядывал изученную до мельчайших подробностей карту. За извилинами горизонталей, стрелками, за цветными пятнами пород и тектоническими линиями, перед геологом вставало законченное представление о строении изучаемой местности. Совсем недавно — что такое миллион лет по геологическим масштабам? — низкое ровное плоскогорье раскололось гигантскими трещинами, вдоль которых большие участки земной коры задвигались, опускаясь и поднимаясь. На севере образовался провал. — теперь там, в этой котловине, течет река Или и расстилается широкая степь. К югу от того места, где стоят их палатки, поднимается уступами хребет, как гигантская лестница. На самых высоких уступах работа воды, ветра и солнца разрушила ровные ступени, образовав беспорядочное скопище горных вершин. Верхние пласты на этих горах снесены. Они рассыпались и легли рыхлыми песками, и глинами на дно низкой котловины. Но вот этот первый уступ должен хранить под покровом наносов те породы, которые исчезли на горах: его поверхность не подвергалась размыву. Если бы пробить верхний покров уступа шурфом или шахтой — он не более тридцати метров толщины!.. Но для того, чтобы предприни-

мать такую дорогую работу, нужно знать, хотя бы приблизительно, что обещает исчезнувшая на горах верхняя толща. Ответ на этот вопрос может дать только Белый Рог: на его неприступной вершине уцелел маленький островок верхних слоев. Грань между темными метаморфическими породами и загадочным белым острием видна совершенно отчетливо — падение в сторону сброса. Следовательно, нет сомнения, что в опущенном участке эта белая порода полностью сохранилась...

Усталые за день помощники Усольцева быстро заснули. Чистый холодный воздух опускался сверху на теплую землю. Лунный свет струился зеленоватыми каскадами по коричневым обрывам. Усольцев лежал в стороне от палаток, подставляя ветру горящие щеки, и старался уснуть.

Он снова переживал неудачную попытку восхождения на Белый Рог. Он считал чудом свое спасение от неминуемой гибели и в то же время знал, что еще раз повторит попытку...

— Теперь же, на рассвете! — решил он. — Пока не зашла луна, нужно достать зубила...

Усольцев встал, осторожно пробрался между веревками палаток к ящику со снаряжением и, стараясь не шуметь, принялся рыться в нем.

От дальней палатки послышалось тихое пение. Усольцев прислушался — пела Вера Борисовна.

«Узнаешь, мой княже, тоску и лишения, великую страду, печаль...» — тихо разносился голос по выбеленной луной степи. Усольцев захлопнул ящик и вернулся на свое место.

— Нет, подожду немного, пока не уедет... Если разобьюсь, еще подумает что-нибудь... А тут еще этот разговор об Эвересте... Хорош Эверест — в триста метров высоты!..

— Куда мы сегодня поедем, Олег Сергеевич? — спросил Усольцева прораб.

— Никуда, — планшет окончен. Даю вам два дня на приведение в порядок съемки и коллекций. Потом поедете в Киргиз-сай за подводой.

— Значит, переберемся поближе к границе?

— Да, в Такыр-Ачинохо.

— Это хорошо, там места куда лучше: горы повыше и рощицы есть — не то, что здешнее пекло. А вы сегодня будете отдыхать?

— Нет, проедем вдоль главного сброса...

— К Ак-Мюнгусу?

— Нет, немного дальше.

— Знаете, я забыл вам сказать: когда я был в Ак-Таме, мне рассказывал начальник погранотряда, что на Ак-Мюн-

гуз пробовали взбираться альпинисты. Приезжали какие-то спецы из Алма-Ата...

— Ну и что? — с нетерпением перебил Усольцев.

— Ничего не вышло — признали Белый Рог абсолютно неприступным...

Редкая пыль тянулась за рыжим иноходцем. Усольцев ехал изучать непобедимого противника. Белый Рог повис над ним всей своей выдвинувшейся в степь громадой, словно чудовищный бык, старавшийся подняться из захлестнувших его волн каменного моря. Прямо к подножью горы вегер накатывал клубки сухих колоуных растений. Здесь когда-то зияла трещина, здесь терлась друг о друга два передвигавшихся горных массива. Следы этого трения остались на груди утеса, поблескивая полированным камнем. Темносерые и шоколадные метаморфические сланцы, пересеченные тонкими жилами кварца, были наклонены внутрь горы и образовали мелко-слоистую поверхность обрыва, подобную стене из тонких, плотно сложенных плиток. Как ни напрягал свое воображение Усольцев, но ни малейшей надежды подняться вверх хотя бы на полсотни метров с этой стороны Ак-Мюнгуса не было. Восточный отрог горы представлял собою острое, как нож, ребро, глубоко выщербленное в середине. Нет, единственный путь — с юго-западной стороны, из долины, отделяющей Белый Рог от других вершин, — там, где Усольцеву уже удалось подняться почти на сто метров — т.е. на треть высоты страшной горы. До вершины оставалось еще двести метров, и каждый из них был недоступен.

Закинув голову, Усольцев смотрел на белые острые горы.

Если бы иметь специальное снаряжение — крючья, веревки, опытных товарищей... Но где же взять все это. Альпинисты, и те отказались от подъема на Белый Рог.

Усольцев повернул коня и поехал вокруг Ак-Мюнгуса к устью сухой долины. — Эверест, Номпомо, Макалу, Кангченгюнга — высочайшие пики Гималаев, — думал он. — Что Гималаи? — совсем близко отсюда сияющий голубой Хан-Тенгри, алмазные зубцы Сарыджаса. Красивые, грозные снежные вершины. Мир прозрачного воздуха, чистого света. Все это как-то невольно настраивает на подвиг. А здесь — низкие, угрюмые, осыпанные обломками горы, тусклое, лиловое от жара небо, пыль и дрожащее степное марево... Нет, не нужно преувеличивать, и этот ветренный палящий простор тоже прекрасен, и в этих обломках развалившихся гор есть свое особенное печальное очарование. Даже в висящих у горизонта, бледных, простых по очертаниям облаках — тоже печать сухой, грустной

Азии — страны обнаженного камня и высокого чистого неба...

Вместе с душиным зноем долины душу окутала тень пережитого здесь... Вот этот столб пегматитовой жилы, похожей на рваное мясо, пересекающей темную массу сланцев... По выступам этого столба с сербренными зеркальцами слюды он тогда добрался до идущей наискось второй жилы. Но дальше. — дальше пути не было. Он попытался ползти по крутому склону, извиваясь как червяк. Склон оказался покрытым мелкими кусочками щебня, катившимися под его телом, как дробь, и не дававшими ни малейшей опоры. Здесь чуть было и не произошла катастрофа...

Усольцев спешился и поднялся на противоположный склон долины. Нет, ничего не выйдет, не обойдешь вот эту крутизну. Если бы одолеть северо-западное ребро, — то оттуда почти до самого рога ровная поверхность склона... А какими силами удержишься на ребре? Кто опустит веревку с самого пика?.. Усольцев проследил взглядом за протянутым мысленно канатом и вдруг заметил у основания белого зубца небольшую площадку, вернее, выступ нижних черных пород, примыкающий к отвесной белой стенке. Поверхность площадки понижалась к зубцу и почти не была видна снизу.

«Странно, как я раньше не видел этой площадки? Правда, сейчас она не имеет значения: добраться до нее, это значит добраться до зубца...»

Усольцев устал стоять и, найдя удобный выступ, уселся, не спуская глаз с горы. Он постепенно обдумывал план подъема и одновременно все больше убеждался в почти полной невозможности этого предприятия...

— Какой прохладный вечер! — пророб лениво развалился на кошме в ожидании чая.

— Так бывает на середине луны, — пояснил Арслан, — потом пять дней дует сильный ветер — оттуда, — уйгур махнул рукой в сторону, — или бывает совсем холодно...

— Отдохнем от жары перед отъездом, верно, Олег Сергеевич?

Усольцев молча кивнул.

— Товарищ начальник какой стал — сидит, молчит, раньше почему был другой? — Уйгур засмеялся мелким смешком, но глаза оставались серьезными. — Я понимаю, начальник Ак-Мюнгуз любит. Скоро ехать Ачинохо — как бросать будет? Баба лучше — собой тащить можно, Ак-Мюнгуз нельзя!

Молодежь расхохоталась, невольно улыбулся и Усольцев. Ободренный успехом шутки, Арслан продолжал:

— У нас старая сказка есть, как один батур влез на Ак-Мюнгуз.

— Что ж ты раньше не говорил, Арслан, Расскажи! — воскликнул с интересом прораб.

— Джахши, чай готовлю, потом буду рассказать, — согласился Арслан.

Старый уйгур поставил на кошму чайник, вытаскивал пиалы, лепешки. Уселся, скрестив ноги и, прихлебывая чай, начал рассказ.

Несмотря на ломаную русскую речь уйгура и бедность чужих для него слов, Усольцев слушал с жадным вниманием. Воображение его наделяло легенду яркими, горячими красками. Такой она, вероятно, и была на самом деле у этих поэтических жителей Семиречья.

Усольцева поразило, что, по словам уйгура, все это произошло сравнительно недавно. — лет триста назад. Легенда так совпадала с его собственными намерениями, что геолог не переставал думать о ней, когда все улеглись спать. Сон не шел, Усольцев лежал под яркими близкими звездами, вспоминая рассказ Арслана и наделяя его новыми подробностями...

«...Всей этой областью владел могучий и храбрый хан. Его кочевой народ обладал многочисленными стадами, постоянно умножавшимися благодаря удачным наработкам на соседях. Однажды хан предпринял с большим отрядом далекое путешествие и дошел до Таласа. Недалеко от древних стен Садыр-Кургана хан напнулся на целую орду свирепых джете. Завязался кровопролитный бой. Джете были разбиты и бежали. Хану досталась богатая добыча. Но больше всего радовался хан одной из пленниц — женщине необыкновенной красоты — возлюбленной побежденного предводителя. Она была похищена джете в Ферганской долине, на пути из какой-то далекой страны к своему отцу, служившему при дворе могущественного кокандского повелителя. Ее красота, совсем иная, чем у здешних кенцинь, околдовывала и зажигала сердца мужчин. Хан привез пленницу к родным горам, и здесь она стала любимой наложницей его и трех его старших сыновей по древнему обычаю. Певцы слагали песни о ее красоте, о сладости ее ласк. Прошло два года. Снега уже высоко поднялись на склонах гор, когда хаң раскинул свой лагерь у края зеленой глады Каркаринской долины. К нему съезжались на пир владыки соседних дружественных племен. Все большее количество юрт вырастало на равнине. Неожиданно к хану прибыл высокий мрачный воин. Он приехал совершенно один, не на коне, а на огромном жерблоде с короткой, мягкой, как шелк, перстью. Странен был и наряд его — лицо обвязано черным платком, на голове юлочный плоский шлем со стрелой, шужая юльчуга спадала до половины бедра, а колени были обнажены и снизу стя-

нуты черными ремнями. Меч, два кинжала, маленький круглый щит и большой топор на длинной рукоятке были его вооружением. Приезжий потребовал, чтобы его провели к хану. Неторопливо сложил он на белую кошму свое оружие, опустил на шею платок, закрывавший лицо, почтительно и смело поклонился владыке. Его суровое лицо было отмечено следами большого и тяжелого жизненного пути. — пути воина и начальника, пути храбреца, неспособного на низкие поступки. Хан невольно залюбовался чужеземцем. Тот заговорил, и язык его был понятен всем столпившимся вокруг.

— Великий хан, — сказал приезжий, — я приехал к тебе из далекой жаркой страны, где страшный пламень солнца жжет мертвые пески на берегах горячего красного моря. Трудны были мои поиски. Целый год блуждал я по горам и долинам — от Коканда до синего Иссык-Куля, пока слухи и рассказы не привели меня к тебе. Скажи, у тебя ли находится девушка, прозванная вами Сейдюрш, взятая у джете Таласа?

Хан утвердительно наклонил голову, и воин продолжал:

— Эта девушка, хан, моя нареченная невеста, и я поклялся, что никакие силы неба и ада не разлучат меня с нею. Три года воевал я на границах Индии и в страшной пустыне Тар, вернулся и узнал, что родные, не дождаввшись меня, послали ее к отцу. Снова пустился я в далекий и опасный путь, сражался, умерал от жажды и голода, прошел множество чужих стран — и вот я здесь, перед тобой. Быстро мчится река времени по камням жизни. Я уже не молод, но все попрежнему бесконечно сильна моя любовь к ней. Скажи, о хан, разве не заслужил я ее этим трудным путем? Верни мне ее, могущественный повелитель — я знаю, не может быть иначе, она тоже долго ждала часа моего возвращения.

Легкая улыбка пробежала по грозному лицу хана. Он сказал:

— Благородный воин, будь моим гостем. Останься на пир, сядь в почетном ряду. И после, вечером, тебя проведут ко мне, и сбудется, что начертал Аллах.

Суровый воин принял приглашение. Веселье гостей возрастало. Наконец появились певцы. После любимой песни хана на горном орле зазвучали песни, восхвалявшие Сейдюрш, возлюбленную хана и его сыновей. Хан украдкой взглядывал на чужеземца и видел, как все больше мрачнело лицо воина. Когда старый певец — гордость народа — пропел о том, как любит и ласкает Сейдюрш своих повелителей, чужой воин вскопчил и крикнул старику:

— Замолчи, старый лжец! Как смеешь ты клеветать на ту, у которой недостойн даже ползать в ногах!

Ропот негодования пронесся по толпе гостей. Старшие вступились за оскорбленного певца. Пылаких юношей возмутило презрительное высокомерие воина. Сильной, не знающей пощады рукой он отбросил двух кинувшихся на него, и вот на пиру хана засверкали мечи. Воин огромным прыжком бросился к своему оружию, схватил щит и длинный топор. Прижавшись спиной к скале, встретил толпу нападавших. Они разбились о него, как волны о твердый камень, отхлынули, бросились вновь... Два, три, пять человек упали, обливаясь кровью, а воин был невредим. С быстротой молнии рубил он направо и налево, повергая лучших джигитов. Все более грозным становилось лицо воина, все страшнее удары его топора. Но тут хан властным окриком остановил нападавших.

Нехотя отступила разъяренная толпа, сжимая мечи. Опустил топор и чужеземец и стал перед лицом врагов, неподвижный и страшный, обгаренный кровью.

— Чего хочешь ты, чья дерзкая самопадеяность пролила столько крови? — гневно спросил хан.

— Правды, — ответил воин.

— Правды? Хорошо, так знай же! Я, не сказавший никогда лживого слова, говорю тебе: все, что пели певцы — истинная правда!

Вздрогнув чужеземец, выронив топор и щит. Старым и измученным стало его лицо.

— Что же, ты попржнему просишь отдать ее тебе? — спросил хан. Воин сверкнул глазами и выпрямился, как распрямляется согнутый арабский клинок.

— Да, хан, — был твердый ответ.

В жесткой усмешке оскалил хан зубы.

— Хорошо, я отдам ее тебе, но ты заплатишь за это дорогой ценой.

— Я готов, — бестрепетно ответил воин. Хан задумался.

— Теперь год быка, — обратился он к гостям, — помните пророчество, написанное над входом древнего гумбеца, который стоит вблизи Ак-Мюнггуза? — «В год быка, кто положит свой меч на рог каменного быка, пронесет свой род на тысячи лет». Несколько храбрецов погибли, пытаясь выполнить эту задачу, но Ак-Мюнггуз остался недоступным.

— Вот твоя плата, храбрец, — повернулся хан к неподвижно слушавшему воину, — поднимись на Ак-Мюнггуз и положи мой золотой меч на его вершину, исполни древнее пророчество, и тогда, — слово мое твердо, — ты получишь женщину.

Радость и страх охватили присутствующих. Приказ хана звучал смертным приговором.

Но чужеземец не дрогнул, его мрачное лицо осветилось гордой улыбкой.

— Я понимаю тебя, хан, и выполняю твою волю. Только знайте, ты, повели-

тель, и вы, его подданные — каков бы ни был конец — я сделаю это не ради своей любимой, не ради Сейдюрш. Я иду защитить поруганную ею честь своей свободной и гордой страны, вернуть в глаза вашего народа славу моей далекой родины. Милость всемогущего бога будет вести меня к высокой и славной цели!

По приказу хана оружейники принесли его знаменитый золотой меч — чтобы сохранился он навеки на вершине Ак-Мюнггуза. Залили салом волка ножны, облили просмоленной тканью. Множество народа поехало к Ак-Мюнггузу. До него был целый день пути, и только к вечеру хан и его гости слезли с утомленных коней на широком уступе у подножия страшной горы. Хан приказал чужеземцу отдохнуть, и тот безмятежно проспал ночь под стражей воинов хана.

На утро выдался свежий ветреный день. Словно само небо гневалося на дерзость храбреца. Ветер свистел и стонал, обвывая неприступную кручу Ак-Мюнггуза. Чужеземец разделся и, оставшись почти обнаженным, привязал к спине ханский меч, а сверху накинул свой широкий белый бурнус.

И он сделал то, чего не удавалось ни одному храбрецу за все время, пока стоит Ак-Мюнггуз: он положил меч на вершину рога и спустился обратно. Шагаясь, стоял он перед ханом весь изодранный, окровавленный. Хан сдержал слово — к чужеземцу привели Сейдюрш. Она испуганно отшатнулась при виде его. Но воин властно привлек ее к себе, открыл ее прекрасное лицо и впился в него мрачным взглядом. Затем, мгновенно выхватив спрятый за поясом острый нож, он пронзил сердце своей невесты. С яростным воплем сыновья хана бросились к чужеземцу, но хан гневно остановил их.

— Он заплатил за нее величайшей для человека ценой, и она — его. Пусть уедет невредимым. Верните ему оружие и верблюду.

Чужеземец гордо поклонился хану, и вскоре его высокий, белый верблюд скрылся за далеким отрогом Кетменя...

Иноходец раскачивался под Усольцевым, копыта скользили по камням. Облака быстро бежали по небу, гонимые могучим напором ветра. Лишенные яркого освещения горы выглядели суровыми.

Усольцев спешил и нежно погладил инходца, поцеловал его в мягкую верхнюю губу. Оттолкнул голову лошади, хлопнул по крупу. Рыжий конь отошел в сторону и, изогнув шею, смотрел на хозяина.

— Иди, пасись, — строго сказал ему Усольцев, чувствуя, как сдаливает горло волнение.

Геолог снял лишнюю одежду, привязав к руке длиннохвостый молоток. На твердом обрыве Белого Рога молоток был бесполезен. Он был нужен для забивания зубила и — потом, — если удастся...

Усольцев решительно сбросил ботинки. Острые камни скоро изрежут ему ноги, но он знал, — если он взлезет, то только босиком. Геолог повесил спереди мешок с зубилами и двинулся к красному столбу пегматитовой жилы.

Окружающий мир и время перестали существовать. Все физические и духовные силы Усольцева собрались в том гибельном для слабых, последнем усилии, достигнуть которого не часто дано человеку. Прошло несколько часов. Усольцев, сотрясаемый дрожью напряжения, остановился, прижавшись к отвесной каменной груди утеса. Он находился уже немного выше того места, где повернула направо при первом подъеме. От главной жилы отходила тоненькая ветвь мелкозернистого пегматита, пересекавшая склон наискось, поднимаясь вверх и налево. Ее твердый верхний край едва заметно выступал из сланцев, образуя карниз сантиметра в два-три шириной. По этой жилке можно было бы приблизиться к срезу западной грани горы, там, где она переламывалась и переходила в обращенный к степи главный северный обрыв Белого Рога. Выше склон был сравнительно не так крут, и была надежда подняться по нему на значительную высоту.

Усольцев предполагал забить в трещинах сланцев выше тонкой жилки несколько зубил и с их помощью удержаться на карнизе.

И вот, прилепившись к стене на высоте ста пятидесяти метров, геолог понял, что не может отнять от скалы на ничтожную долю секунды хотя бы одной руки. Положение оказалось безнадежным — чтобы обойти выступавшее ребро и шагнуть за карниз, ему нужно было ухватиться за что-то, а вбить зубило он не мог.

Распростертый на скале, геолог с жадной надеждой рассматривал нависший над ним обрыв. В глубину души начала просачиваться леденящая струйка отчаяния. И в тот же миг ярко блеснула мысль: «А как же тот чужеземный воин...» Усольцев внезапно шагнул в сторону, перебросив тело через выступ ребра, вцепился пальцами в гладкую стену и... качнулся назад. Со страшной болью, будто разрываясь, напряглись мышцы живота, пытаясь задержать падение. В ту же секунду порыв вырвавшегося из-за ребра ветра мягко толкнул Усольцева в спину. Сжиснутое смертью тело, получив неожиданную поддержку, выпрямилось и прижалось к стене. Усольцев был на карнизе. Здесь, за ребром, ветер был силен. Его мягкая мощь поддерживала геолога. Усольцев почувствовал, что он может

двигаться по карнизу жилы, несмотря даже на подъем ее вверх. Он поднялся еще на пятьдесят метров выше, удивляясь тому, что все еще не упал. Ветер бушевал сильнее, давя на грудь горы, и вдруг Усольцев понял, что с его помощью он может выпрямиться и прямо идти по ставшему менее крутым склону... Медленно переставляя окровавленные ступни, Усольцев ощупывал склон и сдвигал в сторону осыпавшуюся вниз разрыхленную корку. Медленно-медленно поднимался он все выше. Ветер ревел и свистел, щебень шуршал, скатываясь, — и Усольцева охватило странное веселье. Он словно парил на высоте, почти не опираясь на скалу, и уверенность в достижении цели придавала ему все новые силы. Наконец, Усольцев уперся в гладкую отвесную стену высокого цоколя. На этом цоколе все еще на большой высоте стремился в облака острый конец рога. Усольцев отметил, что белая масса рога вблизи казалась испещренной крупными черными пятнами. Но это впечатление сейчас же стерлось радостью при мысли о том, что все его двенадцать зубил сохранились неизрасходованными. Стена, примерно на высоту десяти метров, была настолько плотна и крута, что никакие силы не помогли бы ему преодолеть это препятствие. Опытный глаз геолога легко находил слабые места каменной брони — трещины, кляважи, места соприкосновения различных слоев. Усольцев забивал сюда зубила поглубже. Он взял с собой только самые тонкие и легкие зубила, а достаточно было одному из них сломаться, и...

Поднявшись по зубилам, геолог был вынужден перейти на южную сторону каменной башни. Головы слоев образовывали небольшие уступы, что давало возможность дальнейшего подъема. Здесь ветер, бывший верным союзником, стал опасным врагом. Только прикрытые скалы спасло Усольцева от падения под ударами ветра. Несколько раз геолог срывался ногами с осыпавшихся выступов и долго висел на руках, обливаясь холодным потом, судорожно нащупывая пальцами ног опору. Все большее число смертоносных метров подъема уходило вниз. Наконец, Усольцев, в последних отчаянных усилиях, дважды соскальзывая и дважды мысленно прощаясь с жизнью, сумел опять перебраться на западную сторону вершины и, вновь подхваченный ветром, уцепился за край площадки у основания Рога. Не думая о победе, без мыслей, словно оглушенный, он подтянулся на руках и повалился на наклонную внутрь ровную поверхность, величиною с небольшой стол. Он долго лежал, изнуренный десятью часами смертельной борьбы, слыша только однообразный резкий вой ветра, разрезаемого острым лезвием рога. Потом в сознание вошли низ-

ко летящие над вершиной облака. Усолец поднялся на колени, повернувшись лицом к загадочной белой породе. Она была теперь перед ним, упиралась в его плечо, вздымалась еще на несколько метров вверх. Ее можно было ощупать рукой, отбить сколько угодно образцов...

Достаточно было одного взгляда, чтобы распознать в белой породе грейзен — измененный высокотемпературными процессами гранит, переполненный оловянным камнем — касситеритом. В чисто белой массе беспорядочно мешались серебристые листочки мусковита, жирно блестящие топазы, похожие на черных пауков «солнца» турмалина, и — главная цель его предприятия — большие, массивные грейзы бурные кристаллы касситерита. Этот грейзен имел свои особенности, ранее неизвестные Усольцеву — от самого гранита почти ничего не осталось. Его место занял молочно-белый кварц, очень плотный и крепкий.

«Похоже на полностью измененную пластовую интрузию, — подумал Усолец, — если это так, то оловянное месторождение, скрытое под степью, внизу, может быть огромным... Руда очень богата...»

Геолог взглянул вниз. Гора спадала круто и внезапно, основание ее тонуло в клубящейся пелене поднятой ветром пыли. Усолец стоял, как бы на неимоверно высоком столбе, ощущая беспредельное одиночество. Ему казалось, что между ним и миром, там внизу, оборвалась всякая связь. И действительно, между ним и жизнью лежала еще непройденная смертная грань: спуск был опаснее подъема. И еще он подумал о том, что если ему суждено будет вернуться в жизнь — он вернется другим, не прежним. Сверхъестественное усилие, вложенное им в достижение цели, как-то изменило его душу... Он теперь навсегда отмечен печатью страшной горы...

С усилием отбросив цепкую власть неимоверной крутизны, Усолец принялся выполнять долг исследователя. Много труда стоило ему обнаружить тонкие, как ниточки, трещины в стекловидной слитности кварца. Вслед за этим, под терпеливыми ударами молотка, с грохотом полетели вниз крупные куски белой породы. Усолец внимательно следил за их падением — они подсказывали на гранях горы и свистя летели в долину. Геолог отметил место их падения на плане, набросанном в записной книжке, затем аккуратно записал элементы залегания пород вершины, начертил контур предполагаемого месторождения, прибивал несколько слов о направлении поисков.

Открыл первую страницу и поперек нее крупно и четко написал — «Внимание! Здесь данные об открытом мною место-

рождении Белого Рога». Положил книжку в карман и застегнул пуговицу. На секунду мелькнула картина — как поворачивают карманы... Усолец невольно зажмурился, размотал взятую с собою веревку. Она была коротка, но все же ее должно было хватить на спуск по отвесному основанию Рога до вбитых им зубил.

«Где же закрепить веревку! Вот за этот выступ? Выгоднее бы пониже, на самой площадке».

В поисках трещины геолог начал разбивать молотком тонкий слой щебня. Ветер выл все сильнее, подхваченные им осколки щебня ударили по лицу и рукам Усольцева. Молоток звякнул о металл — и этот тихий звук потряс геолога. Усолец вытащил из-под щебня длинный тяжелый меч, золотая рукоять которого ярко заблестела. Истлевшие лохмотья развевались вокруг ножен. Усолец оцепенел. Образ воина — победителя Белого Рога из народной легенды встал перед ним, как живой. Тень минувшего, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломило Усольцева. Немного спустя геолог почувствовал, как новые силы вливаются в его усталое тело. Будто здесь, на этой недоступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения. Усолец накинул веревочную петлю на небольшой выступ белой породы. Осторожно поднял драгоценный меч, крепко привязал его за спину и, улыбаясь, положил на площадку свой геологический молоток...

У основания отвесного фундамента Белого Рога геолог остановился, выбирая путь. Прямо на Усольцева, гонимое ветром, надвигалось облако. В полете вздымавшейся белой массы, свободно висевшей в воздухе, была неизменно легкая, пьянящая смелость. Страстная вера в свои силы овладела Усольцевым. Он поставил грудь ветру, широко раскинул руки и принялся быстро спускаться по склону, стоя, держа равновесие только с помощью ветра, в легкой радости полета. И ветер не обманул человека, с ревом и свистом он поддерживал его, а тот, переступая босыми ногами, пятная склон кровью, спускался все ниже. С бредовой, невероятной легкостью Усолец достиг узкого карниза, миновал и его. Тут ветер угас, задержанный выступом соседней вершины, и снова началась безысходная смертельная борьба. Усолец скользил по склону, раздирая тело, кроша ногти, переворачивался, задерживался, снова сползал. Сознание окружающего исчезло совсем, осталось только ощущение необходимости цепляться изо всех сил за каждый выступ каменной стены, судорожно искать под собой ускользающие точки опоры, с жуткой обреченностью прижиматься к камню, борясь с отрываю-

щей от горы, беспощадно тянущей вниз силой. Никогда позже Усольцев не мог вспомнить последний этап своего спуска с Ак-Мюнггуза. В памяти сохранился только самый последний момент. Больше не осталось ни сил, ни воли. Усольцев отпустил изодранные руки, коснулся ногами острого выступа камня, качнулся назад и упал на спину, достигнув дна долины позади Белого Рога, уже тонувшей в темноте...

...Он открыл глаза и увидел над собою золотое утреннее небо. В небе, совсем низко — так, что виднелись растопыренные перья крыльев, кружил большой гриф.

Усольцев долго смотрел на птицу, прежде чем сообразил — что гриф спустился на этот раз прямо к нему. Нет! Он не только не погиб, он победил Белый Рог, и гриф не властен над ним!

Усольцев попытался сесть, но что-то мешало ему. Геолог нащупал привязанный за спиной меч, освободился от него и сел. И сразу его охватили переживания вчерашнего дня. У него закружилась голова. С ужасом увидел Усольцев свои обезображенные, почерневшие от крови ноги и руки, изодранную и тоже перепачканную кровью одежду. Сделав несколько движений, он убедился, что кости целы. Тогда, не обращая внимания на рвущую боль в ступнях, геолог встал. Он услышал приветливое ржание своего коня и снова погрузился в мрак...

Холодная вода лилась на лоб, попадала в рот. Усольцев глотал без конца, утоляя ненасытную жажду. Открыв глаза, он опять увидел над собой голубой небосвод, на этот раз уже дышавший дневным жаром, и испуганное лицо старого уйгура. Геолог поднялся на колени, уйгур отступил от него с почтительным страхом...

— Что ты боишься, Арслан, я живой...

— Где ты был, начальник? — спросил Арслан.

— Там! — Усольцев поднял руку к небу. Над долиной торчал, черный с теновой стороны, выступ Ак-Мюнггуза. — Вот смотри! — он протянул уйгуру меч с золотой рукояткой. Половина ножен отвалилась при спуске, из-под растрескавшей-

ся бурой корки блестела драгоценная голубая сталь. — та сталь легендарных персидских оружейников, секрет приготовления которой ныне утерян. Старик опустился на колени, не притрагиваясь к мечу.

— Что же ты, бери, смотри, — нетерпеливо повторил геолог.

— Нет, — затряс головой уйгур, — никакой человек не смеет брать такой шемшир — только батуры, как ты...

И старик коснулся лбом камней перед изумленным Усольцевым...

Два больших шарообразных карагача, веером расходясь из одного корня, стояли на краю поселка. За ними поднимался затянутый голубой дымкой вал Кетменского хребта. Иноходец Усольцева миновал последний, поросший полынью холм. Узенькая степная тропа влилась в мягкую пыль наезженной дороги. Дорога загибалась налево и у края зеленых садов соединялась с другой, направлявшейся на юг, огибая промоины и обрывы красных глин. На ней вздымалось облачко желтой пыли — крытая цыновкой подвода катилась из Подгорного. Кто-то, ехавший по краю дороги верхом, вдруг повернул коня и понесся обратно, наперерез Усольцеву. Геолог натянул поводья, к нему подъехала Вера Борисовна.

— Я вас узнала издалека, — она внимательно присматривалась к нему.

— Куда вы едете?..

— Я еду в Управление. Нужно немедленно организовать тяжелую разведку Ак-Мюнггуза, — негромко сказала Вера Борисовна, сдерживая пляшущую лошадь. — Я видела вашего Арслана... — Она помолчала. — Когда встретимся осенью в Управлении, я буду очень просить вас подробно рассказать о Белом Роге... и золотом мече. Ну, мои уже далеко, — она поглядела вслед подводе. — До свидания... батур!

Молодая женщина прищипорила коня и умчалась. Геолог проводил ее взглядом вдоль полосы горячей пыли, тронул иноходца и въехал в поселок.

КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ

★

Весны знакомые приметы
Лежат пред вами в трех шагах;
Игра теней, мельканье света
На обнажившихся холмах.

Грачиный крик на перепутье
У придорожной колеи,
Лозы оттаявшие прутья,
Непостоянные ручьи.

Высокий звон — неодолимый
Средь покоренной тишины —
Летящей с юга по долинам
Казачьей всадницы-весны.

Дымок над кузней синеватый,
Соломы желтая труха;
И в кузне — свекор бородатый
Куёт над горном лемеха.

Пригреет солнце — у калитки,
Вдыхая запахи земли,
Ордеңоносцы-инвалиды
Сидят, сложивши костыли.

Они табак неспешно курят,
Неторопливые в словах —
Но отраженье грозной бури
Еще горит у них в глазах.

На площади станичной старой,
Непререкаемо с утра,

У деревянного амбара
Рокочут ровно триера.

И в сапогах, в косынках пестрых,
В солдатских ватниках простых.
Поют казацьи жены, сестры
С утра до ночи возле них.

Потом гурьбой от хаты к хате
Они усталые идут:
И — одинокие кровати
Неторопливо разберут.

Пусть от работы поясница
Болит и коет в полночь —
Мужская ласка долго снится,
И отогнать ее не в мочь.

Потом проснутся и услышат,
Как над просторами земли,
Над самой хатой, низкой крышей
Летят, курлыча, журавли.

Вздохнет и, ватник натянувши,
Казачка выйдет за порог
Далекий шум в ночи подслушать,
Во тьме идущий от дорог.

И на какое-то мгновенье
Она услышит вдалеке
Того, кто снился, в поле пенью
И отзвук песни на реке.

УКРАИНСКИЕ ПАРТИЗАНЫ

(Из дневника военного корреспондента)

ЛЕОНИД КОРОБОВ

★

1. ЗА ЛИНИЮ ФРОНТА

На горизонте показывается Киев. Туманный город возвышается над разливом Днепра. В воздухе летают истребители, проходят в высоте звенья бомбардировщиков, в окно нашего самолета видны кварталы города и Днепр, по которому черные пароходы деловито тащат за собой караваны барж.

Звонок с аэродрома приносит первое разочарование. Ковпака в Киеве нет. Легендарный старик путешествует по старым партизанским маршрутам, которыми его соединение ходило по оккупированной немцами Украине. В десятках мест закапывал тогда Ковпак ящики с документами, и теперь, когда земля стала свободной, надо все это откопать и привести в порядок.

Зато соратник Ковпака, Петр Петрович Вершигора, находится в Киеве. На протяжении 15.000 километров, которые прошел по тылам врага Ковпак, Петрович был его заместителем по разведке. Сейчас он командует 1-й Украинской партизанской дивизией имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ковпака.

В прошлом году зимой я три месяца пробыл в этом соединении. Тогда оно совершало рейд из Брянских лесов на правобережную Украину. Мне посчастливилось пройти около тысячи километров по тылам врага через шесть областей Белоруссии и Украины. Работал я в разведке соединения под командой Петровича. С тех пор мы не видались полтора года. И то, что я услышал от него сейчас о делах партизанской дивизии, меня чрезвычайно взволновало и обрадовало как журналиста и советского человека.

Украинская партизанская дивизия в начале 1944 года с боями ворвалась на территорию Польши. Ей первой выпала честь показать на деле, что советское партизанское движение способно помочь другим

славянским народам, угнетенным немцами. Три с половиной тысячи километров по тылам врага — таков последний рейд дивизии по Вольни, Галиции, Польше и Восточной Пруссии.

Хотелось расспросить Петровича о необыкновенном рейде, затем, дождавись Ковпака, получить от него статью и вернуться в редакцию.

Но Петрович срочно улетал в тыл врага.

— Летим к нам в дивизию, — сказал Петрович, — здесь времени у меня на интервью нет. До приезда Ковпака в Киев ты соберешь у нас материалы о дивизии, а там — полетишь обратно.

И вот снова аэродром. На нем обычная трудовая жизнь. В самолеты грузятся тюки с патронами и взрывчатым веществом, свежие московские и киевские газеты, пушки, снаряды. Партизаны, вышедшие из немецкого тыла, теперь работают на аэродроме. Они тщательно укладывают груз, распикивают по мешкам купленную на киевском базаре махорку. Это — для приятелей.

За четверть часа до отлета на аэродром привезли наши парашюты и автоматы. Петрович распорядился погрузить их в самолет.

Его жена, Ольга Семеновна, заботливая женщина, посмотрела, хорошо ли все уложено, взяла автоматы и вынула кассеты. Она с укоризной посмотрела на нас:

— Не наговорились днем? Автоматы-то пустые, прямо со склада.

Она достала мешок с патронами и принялась набивать ими кассеты. Так она провожала мужа. Вечерело. Механики докладывают о готовности к отлету. Моторы заведены, и вот вечерний Киев распластался под крыльями «Дугласа».

Командир дивизии Петрович, два радиста и я лежим на мешках с толом. Парашюты и автоматы — в хвосте маши-

мы. Мы не надеваем парашюты, они нам не пригодятся, самолет летит очень низко. Петрович лежит молча. Молчат и другие. Каждый посматривает на часы. Через час десять минут — линия фронта. Самолет переходит на бреющий полет. В полумраке мы проносимся над рекой и на светлом фоне воды видим мост, два парохода и баржи. От моста мимо самолета взметнулись вверх красные, зеленые и белые шары. Вражеские зенитки открыли огонь.

— На бреющем полете не сожгут, — кричит Петрович. Он оживился. — Вообще на войне стало здорово. Это тебе не сорок первый год, не то время! Интересно, когда привезут мне две пушки — сегодня или завтра?

На горизонте небо освещено бледно-желтым светом. Справа три прожектора стараются поймать нас, в двух местах световые маяки врага высвечивают для своих самолетов три точки и тире. Это знак для пилота, определяющий тот или иной географический пункт. Внизу леса. Изредка мы видим костры.

Прожектора безнадежно гоняются за нами по небу. Снова река, под крыльями черные массивы леса, в воздухе ракеты, и самолет идет на посадку.

Поле пустынно. Самолет садится и, пробежав немного к лесу, разворачивается. Запихают моторы. Из леса высыпает люди и с криком бросаются к машине. Первое впечатление такое, будто народ поднялся в атаку. По тому, как спокойно ведет себя Петрович, я понимаю, что мы у своих.

Открыли дверь. Петровичу не дают спрыгнуть. Народ подхватывает его на руки и выносит из самолета.

— Парашюты спружать? — крикнул кто-то из самолета.

— Вернуть Киеву!

После того, как самолет разгрузили, командир корабля крикнул:

— Раненых, быстро!

Носилки с четырьмя ранеными переносят ближе к носу самолета. В хвост машины кладут зарезанную корову, завернутую в парашют, потом туда же поднимают живую корову.

— Это раненым в госпиталь, — крикнули из темноты. — Вчера отбили у немцев корову не резать. Она хорошо доится. Свежее молоко в подарок раненым.

2. ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ

Караван телег двинулся в лес. По ухабам и хрящеватым сосновым корням запрыгала наша тачанка. Полчаса спустя мы были в первом полку партизанской дивизии.

— А, старый знакомый! Привет, при-

вет! — закричал Бакрадзе, узнав меня при свете костра.

Бакрадзе — старый партизан, прошедший по тылам врага более 18 тысяч километров. В прошлом году он командовал артиллерийским расчетом, затем ротой, а теперь получил полк. Как и тогда, он младший сержант. Он грузин из Тбилиси, окончил институт, был призван на войну, пять раз выходил из окружения, бежал из плена и пришел к Ковпаку.

Вокруг костра собрались партизаны. Приятно, когда в тылу врага встречаешь знакомых.

— А фото где? — спрашивают несколько человек.

— Привез.

— Показывай.

Впервые я понял силу фото. Снимки разбирались нарасхват, вызывали восторг, и многие из них напминали людям о павших в боях друзьях, о деревнях и реках, которые в прошлом году были местами боев на правобережной Украине.

— О, Черемушкин! Жалко парня!

Я понял, что Черемушкин убит. Он был изумительным разведчиком.

— В Карпатах ущелье собой закрыл, — сказал Бакрадзе.

— Гапоненко! — крикнули у костра. — Он!

— Погиб. Кавалерийским эскадронном командовал, — сказал Петрович. — Ты его должен знать.

Лейтенант Гапоненко был командиром взвода разведки. Он был сброшен в тылу врага с парашютом и, выполнив задание, случайно набрал на разведку Ковпака. Это было в Брянских лесах. С тех пор он продолжал воевать вместе с партизанами. В прошлом году в одной из деревень Западной Украины нам сказали, что в 18 километрах немецкий транспортный самолет сделал вынужденную посадку. Ковпак вызвал Гапоненко и сказал: «Надо, лейтенант... Да что тебе говорить? Сам знаешь, что надо с этим самолетом сделать! А тебе, — обратился он тогда ко мне, — надо бы снять пожарец». Гапоненко, двенадцать разведчиков и я пошли к самолету. Днем к нему подобраться было нельзя, сожгли его ночью.

— Вот Усач, Усач! — крикнул кто-то, восторженно размахивая фотографией.

«Усач», — это Александр Николаевич Ленкин, мастер по захвату речных переправ и железнодорожных переездов. В прошлом году он командовал взводом конной разведки, теперь — кавалерийским дивизионом.

— Вырос, — сказал Петрович.

— Ужин готов, — доложил Бакрадзе.

В палатке, сделанной из грузового парашюта, был приготовлен ужин. В честь

прилета Петровича зарезали барана, и командир полка сам зажарил шашлык.

Утром я проснулся от невероятного шума. Я вылез из-под ковра, прыгнул с тачанки и увидел, что это строился полк Бакрадце.

Разношерстная одежда, оружие, обувь — обычная партизанская картина. У палатки знаменосцы полка готовили три знамени. Под сосной, на сколоченном наспех столе были разложены красные корбочки с орденами.

Полк построен. Подана команда «смирно!» Знамена пронесли на середину квадрата, образованного батальонами. Отдан рапорт Петровичу. Стоя у столика, он кратко говорит, что по приказанию правительства вручает эти ордена и медали награжденным и что правительством в Киеве ему передано знамя дивизии.

Бакрадце получает орден Ленина.

За ним Тютюрев. В прошлом году мы расстались с ним недружелюбно. А вчера посмеялись над нашей ссорой. Сегодня я снимаю торжество вручения ему ордена Ленина. Саша Тютюрев — забияка, романтик и, как цыган, любит менять лошадей.

Несколько раз в прошлом году, находясь в соединении, я просил у Ковпака лошадь. Приводил веские доводы: чтобы снимать, надо, мол, бывать в батальонах и т. д. Ковпак молчал и лошади не давал. Однажды, выслушав все мои старые и новые доводы, он сказал:

— У нас все добывается в бою. На поле боя выбор большой. Божьсь дать тебе лошадь — вдруг не понравится? Выбери сам!

И вот под Житомиром, в одной из деревень, заселенной исключительно немцами, разыгрался бой. Стреляли с чердаков, из окон и из-за углов. Забыв об опасности, я бросился к первой попавшейся конюшне. Пока я выбирал лошадь, в дверь влетел еще кто-то и крикнул: «Свои или немцы?»

— Свои, — ответил я.

— Этот конь мой, — быстро сказал вошедший.

— Я первый его взял, — ответил я.

Короче говоря, дело у нас дошло до ссоры. Пока мы делали сорванную с лошади уздечку, двое других вывели коня. Мы оба увидели это и бросились вдогонку, отняли коня и явились к Ковпаку на суд. «Дед» расспросил, кто первый накинул на коня уздечку, и отдал лошадь мне. С тех пор мы были с Сашей в «контрах».

Я сфотографировал его, и он, глядя на меня, улыбнулся и сказал:

— Вот чудачки были! Ну, помиримся... В знак дружбы прими от меня вечную ручку...

Солнце помогало съёмке. «Контакт» отщелкивал кадры. Партизаны, как всегда, просили послать снимки родным.

Петрович поздравил награжденных.

На торжественном обеде речей не было. Пообедали скромно и торопиво. Тридцать конных автоматчиков ждали нас у тачанки, запряженной парой хороших коней. Лошади нетерпеливо били копытами, и Яшка, ординарец Петровича, он же ез-



Командир партизанского полка Давид Ильич Бакрадце

ловой, адъютант и главный помощник во всех делах, одетый в форму немецкого капитана, недовольно журил лошадей:

— Ишь развенались, ишь веселятся..

Мы сели в тачанку, Яшка натянул шелковые вожжи, лошади рванулись вперед и вылетели через поляну на лесную дорогу.

Впереди нас неслись автоматчики. В случае встречи с немцами, они должны будут вступить в бой. В лесу пронзительно звенели птичьи голоса, лился звон бубенцов, однотонный и немножко унылый.

Мы вспомнили прошлогодний рейд.

— А знаешь, — сказал Петрович, — твою фотографию «Партизаны за Днепром» мы расклеили в Карпатах, на Волыни, в Галиции, в Польше. Народ толпами собирался, смотрел.

3. КАРПОВНА

Ни одного села мы не видели, автоматчики вели нас лесами. Только ночью въехали в деревню. В темноте нас встретил парень; на ломаном русском языке он отдал Петровичу рапорт и пригласил в дом. Зажгли свет, накрыли на стол, стали ужинать.

— Познакомьтесь, — сказал Петрович, — это — Карповна, которую боятся все разведчики. Вот, хочу сделать ее замполитом начальника разведки дивизии Клейна.

Статная девушка подавала на стол. При этих словах Петровича она подбоченилась и, как бы стесняясь, но втайне довольная таким комплиментом, сказала:

— Ну тоже, борода, скажешь! Что ж я сажей вымазана, что ли, меня боятся-то?..

— Не вы ли та Карповна, которая ходила в местечко к словацкому полковнику с предложением сдаться вместе с полком Ковпака? — спросил я женщину.

— Было и такое дело, — сказала она и вышла на кухню.

В прошлом году в Украинский штаб партизанского движения пришли донесения о героическом поступке некоей Карповны, чуть не склонившей словацкого полковника к сдаче в плен. Но сколько ни запрашивали по радио Ковпака о дополнительных материалах, «дед» молчал и, наконец, ответил, что о Карповне надо передавать целую книгу, такой она человек, а у радиостанций соединения не хватает электропитания.

Карповна вышла из кухни со сковородой в руках, на которой пестрела, точно вода кувшинками, огромная яичница-глазунья.

— Все-таки этот полковник перешел к нам, — сказала она, — теперь воюет с немцами.

Дело происходило так. Ковпака между двух рек теснили немецкие дивизии и танки. Ковпаковцы оборонялись и готовили переправу на западный берег, на котором открывались леса. На пути в заслоне стоял словацкий полк. Под сильным давлением немцев словаки аккуратно несли службу. Тогда Ковпак решил повести с командиром-словаком переговоры о сдаче полка в плен или о заключении тайного перемирия.

Парламентером была назначена Карповна. Ее одели в шелковое платье и модные туфли. Она сказала тогда:

— Полковнику будет приятно вести переговоры с такой шикарной дамой.

Карповна ушла. Она пробралась в местечко, прошла на Церковную улицу и в одном из домов спросила Юлю. Здесь была явочная квартира разведки.

Юли не оказалось дома. Ее мать подозрительно посмотрела на Карповну, пыта-

ясь выяснить, откуда та знает ее дочку, потом накормила Карповну и уложила спать.

Карповна не знала Юлю в лицо, и ее мучил вопрос: узнает она девушку или нет. Над кроватью висели две фотографии. На них были сняты молодые девушки. Может быть, одна из них — Юля!

И вдруг на кухне раздался девичий голос. Голос быстро смолк, и в комнату, где лежала на кровати Карповна, вошла девушка. Она подошла к кровати и посмотрела на гостью. Карповна сквозь полу закрытые веки увидела девушку, одну из тех, чьи фотографии висели над кроватью.

Карповна рискнула.

— Юля, — сказала она наугад.

Девушка оказалась Юлей. Карповна объяснила ей, что она от Ковпака, и просила помочь связаться с словацким полковником.

Утром обе пошли к зданию штаба полка. Штаб помещался в двухэтажном доме. На крыльце стояли жандармы, из ворот выводили на прогулку собак, с которыми полк выезжал на облавы партизан. Вдоль улицы вытянулся караван машин.

Когда девушки подходили к штабу, на крыльцо вышла группа офицеров. Юля указала среди них полковника, и Карповна двинулась наперерез офицерам.

— Я хочу видеть полковника, — сказала она.

— Полковника нет, — ответил один из офицеров.

— Как нет, а вот он стоит, — сказала, улыбнувшись, Карповна.

— Что вам нужно? — спросил ее полковник.

— Мне нужно с вами поговорить по личному делу.

— Я не разговариваю по-русски.

— Будем говорить по-немецки.

Полковник пригласил ее в штаб. Они поднялись на второй этаж и, пройдя через большую комнату штаба, вошли в кабинет командира полка. Полковник занимал маленькую комнату. В ней стояла походная кровать, пианино, письменный стол и два стула.

— Что вам нужно? — спросил снова полковник.

— Я пришла к вам, господин полковник, как представитель Красной Армии, — сказала Карповна.

— Какой армии? Насколько мне известно, она еще не подошла к Днепру.

— Красной Армии, действующей в тылу немцев.

— Что вы хотите?

— Мой генерал хочет, чтобы вы начали действовать так, как действует патриот Чехословакии — полковник Свобода.

— А знаете ли вы о том, что я вас расстреляю? — строго сказал полковник.

— Не грозите, не надо, — ответила Карповна. — О смерти поговорим в конце нашего разговора. У вас хватит времени меня расстрелять или повесить. Я принесла вам письмо от генерала Ковпака.

— Ковпака? — изумился полковник. — От самого Ковпака? — переспросил он.

Полковник был поражен и даже слегка растерян. Ему не удавалось этого скрыть. Он пробормотал:

— Тогда я понимаю ваше хладнокровие.

— Прошу прочесть, — нахмутив брови, сказала Карповна.

— Я по-русски не читаю, — овладевая собой, сказал полковник.

— Тогда я сама вам прочту. Вы ведь хорошо понимаете русский язык, — Карповна села на стул и прочла письмо.

— Это сделать невозможно, — сказал полковник. — У меня и у моих офицеров в Словакии семьи. Немцы их уничтожат.

Он открыл стол и из кожаной папки вынул бумагу, напечатанную немецким шрифтом. Он понизил голос и начал переводить. Это был приказ немецкого командования, в котором говорилось, что в случае перехода на сторону советских войск или партизан семьи словацких солдат и офицеров будут расстреливаться, а имущество конфисковываться.

Полковник задумался. Он молчал, тер лоб, и кожа на лбу от этого становилась красной.

— Вы знаете, — сказал он, — я ведь все-таки вам помогаю чем могу. Когда Ковпак наступал на город Б., я ушел со своим полком из-под города.

Он опять замолчал и, подумав, добавил:

— Немцы сильно нас контролируют, подзвывая в связи с партизанами. Здесь большая концентрация немецких войск. Они намерены уничтожить Ковпака. Они подтянули сюда мотопехоту и танки. Уходите. Я вас не выдам жандармам и не задержу.

Полковник умолк. Карповна сидела и пристально смотрела на него.

— Зачем вы так хорошо оделись? — вдруг спросил полковник.

Карповна впервые смутилась. Она осмотрела свое платье и, найдя его в порядке, сказала:

— У нас, у русских, такой обычай — идти на смерть в парадной форме. А раз я женщина и пошла на верную петлю, я должна одеться хорошо. Ведь умирают-то один раз в жизни. Человек только что родится — его одевают в новую рубашонку. Умереть он должен тоже в новом платье.

— Надо бы скромнее одеться, — сказал полковник. — Уходите, уходите, вам надо жить. — Он подумал, посмотрел на

Карповну и со вздохом сказал: — Такие, как вы, должны жить обязательно.

Но Карповна не уходила. Она встала и шопотом сказала:

— Будете переходить или нет? Мне не нужно вам доказывать, что мы правы. Моя родина и ваша родина угнетены общим врагом. Интересы у нас, как и у наших народов, общие.

Полковник встал и тоже шопотом сказал:



Александра Карповна Демидчик

— Сдаться не могу. Семей жалко. Но передайте Ковпаку, что я заключаю с ним тайное перемирие. Когда немцы погонят нас в бой, мы будем на вас наступать. Но каждый мой солдат будет стрелять вверх. От моего имени попросите Ковпака передать приказание своим людям, чтобы они тоже стреляли вверх и иногда маневрировали, делая вид, что я тесно его подразделения.

Карповна ушла. Разведчик Пархоменко, который ее сопровождал, был пойман, и его провели мимо нее. Они обменялись взглядами и разошлись. Но когда Пархоменко вывели на расстрел, словаки его вышустии.

С тех пор словацкий полк много раз участвовал в карательных экспедициях против ковпаковцев. Солдаты этого полка

стреляли вверх, партизаны тоже свято соблюдали условия негласного перемирия. В конце концов дело дошло до того, что словаки и ковпаковцы ходили друг к другу в гости. Словаки часто приезжали к ковпаковцам за картошкой.

— Потом этот полковник все-таки перешел к нам и воюет с немцами, — повторила Карповна.

— Как противник? — спросил Петрович.

— Доволен, что мы ушли в лес, — сказал начальник разведки Клейн.

— Что делается на шоссе и дорогах, на железных? — снова спросил Петрович.

— На восток идет много машин. Контрольные «языки», взятые вот здесь, — достав карту из нового планшета, начальник разведки ткнул в нее пальцем, — рассказывают, что после нашего рейда немцы усиленно воздвигают оборону вокруг мостов, аэродромов и уездных центров. По шоссе ездят составы, каждый в 25 автомашин. Думаю послать разведку под этот город, — он опять показал на карте. Я взглянул. Палец лежал на кружочке, обозначающем крупный город Польши.

— Так, так, — сказал Петрович и постукал карандашом по столу.

В хату внесли большие охапки соломы. Ее расстелили на полу, накрыли большим ковром, положили невероятных размеров подушки. Петрович долго не спал, расспрашивал о Москве, и я видел, что он больше думает об обстановке, чем слушает меня.

— Видно, — сказал он, — завтра будет хороший день. Ты веришь в народные приметы? Надо верить, народ редко ошибается.

Наконец он сказал: «спать», и мы уснули.

4. ПАРТИЗАНСКИЙ ХИРУРГ СОБИРАЕТСЯ В АКАДЕМИЮ

Утром за Петровичем приехали из штаба его дивизии. С проселка мы свернули в лес, и нашим глазам открылась деревня. Бревна, разметанные и сорванные крыши, обгорелые стены и пепелища — все на этой улице говорило о том, что здесь шел большой бой или деревня подверглась бомбардировке.

— Когда вы улетели, — сказал Яшка Петровичу, — двадцать семь немецких «юнкеров» разбомбили деревню.

— А дом, где я жил? — спросил Петрович.

— В него первой же бомбой попал. А второй — в тот дом, где радиостанция была, — ответил Яшка и повернулся ко

мне. — Деревня пострадала сильно, ж ведь мы вместе с населением с рассветом ушли в лес, так что никто не погн. Разве только радиоприемник немецкий сгорел, да еще... — но он замаялся, не договаривая.

— Что еще? — спросил Петрович, — не верное, письма не уберет?

— Ну что вы, я за пазухой их ношу. Китель новый сгорел.

— Наживем другой, не горюй! — усмехнулся Петрович.

За деревней на хуторе был расположен штаб. Мы проехали мимо пушек, саперов и госпиталя. Коня въехали во двор хутора. Штаб был в сборе. Начальник штаба улыбаясь, двинулся навстречу командиру, обнял его, расцеловал, а затем обнял меня. Это был Василий Александрович Войцехович, в прошлом инженер-меллиоратор, потом боец Красной Армии, партизан, начальник оперативной части Ковпака, а ныне начальник штаба партизанской дивизии. Он выбирал и прокладывал все маршруты для своей дивизии, и партизаны прозвали его «Кутузовым».

Здесь меня встретили тем же вопросом: привез ли фото.

— Привез.

Я вынул из сумки несколько конвертов, в которых были заранее отобранные снимки, и вручил их Войцеховичу.

— Он прилетел к нам ненадолго, — сказал Петрович, показывая на меня. — Надо быстро ввести его в курс дел.

— Можно. Сперва о чем писать будешь? — спросил Войцехович. — Если о боях и рейде по Польше, то хоть сейчас. Но сначала полагается позавтракать.

В столовой собрались работники штаба. На стол подали лук в сметане, жареную картошку, поросенка, начиненного гречневой кашей, и вино в красивых бутылках.

— Это из Люблина разведчики принесли, — сказал начальник штаба, указывая на бутылки.

Закусили и, не выходя из-за стола, начали разговор. Темой была Польша. Партизаны рассказывали о сложной политической обстановке между Бугом и Вислой.

Радиостанция штаба передала в Киев о благополучном возвращении Петровича в тыл врага. Радисты принесли в избу комдива приемник, и в полдень мы слушали последние известия по радио.

После обеда я встретился с хирургом соединения Скрипниченко. Он рассказывал о том, как трудно раненым следовать за дивизией в условиях легкой партизанской борьбы с немцами. Только раны начнут подживать, как вдруг, после удара по объектам врага, начинается стремительный отход. Раны вновь открываются,

и лечение приходится начинать сначала. Поэтому хирурги в тылу врага долгое время искали новые методы лечения, чтобы быстрее восстанавливать здоровье бойцов.

Слушая рассказ Скрипниченко, Петрович иногда прерывал его и рисовал перспективы нового метода лечения раненых в тяжелых условиях маневренной войны.

— Кстати, — сказал комдив, обратившись к хирургу, — ты полетишь в Киев и доложишь о нашем новом методе на заседании Академии наук.

Скрипниченко поморщился.

— Знаю, знаю — улетать не хочется, — сказал комдив. — Яшка, вызови «АХЧ»¹.

Когда поляк, взятый в дивизию во время рейда под Варшавой, пришел, Петрович строго сказал ему:

— Мобилизуй всех своих варшавских портных, шей хирургу новый костюм, в Киев отправляется... в командировку.

Через четверть часа около хирурга вертелось трое портных. К вечеру они принесли костюм на примерку, и работники штаба оценивали, как сидит обновка на уважаемом хирурге.

В разгар примерки во двор въехала телега. На ней лежал раненый. Скрипниченко, одетый в китель с одним приметным рукавом, выбежал во двор и, сев на телегу, уехал к своим палаткам. Раненый стонал и кричал: «Милый, хламинном меня, хламинном!» В дивизии бойцы называли так чудесный метод лечения, применяемый Скрипниченко.

Портные выжили. Костюм не годился. Китель офицера Красной Армии польские портные сшили по образцу западноевропейских армий. «АХЧ» получил нагоняй за оплошность портных, и к обеду следующего дня костюм был готов. Скрипниченко, сделав последний обход своих раненых, перебрался из госпиталей в штаб. Он готовился к докладу в Академии.

5. ПОСЛЕ БОЕВ

На следующий день Войцехович знакомил меня с деятельностью партизанской дивизии в Польше. Мы сидели на скамейке перед домом. Большие голубые глаза начальника штаба иногда задумчиво смотрели в ту сторону, где на высоких берегах трещала воробьиная стайка. Видимо, в воображении Войцеховича вставали эпизоды, о которых он рассказывал. Русые его волосы вились крупными завитками. Считая варшавскими портными гимнастерка плохо сидела на нем. Грудь

его была украшена орденом Красной Звезды и медалью.

— Ты спрашиваешь, что нас встретило в Польше? — спросил он. И не дожидаясь подтверждения вопроса, Войцехович сходил в дом, принес тетрадь с отчетом о деятельности дивизии во время польского рейда и передал ее мне. В коротких абзацах этого документа было скупо рассказано о боях с немцами на земле соседнего с СССР славянского государства.

Из отчета дивизии

«Выйдя на правый, западный берег Буга в районе Рава-Русска, а затем идя на Белгорай-Янув, дивизия вступила на землю Польши.

Дивизия с боями во время польского рейда форсировала 48 железнодорожных переездов на 16 железных дорогах, перешла 25 шоссеиных дорог и провела 139 боев, из которых 24 — продолжительностью каждый более 6 часов.

Командование дивизии направляло свои подразделения в большинстве случаев на коммуникации и крупные военные объекты врага. Так была выведена из строя на 28 суток дорога Львов—Варшава, свыше 30 суток не работала после диверсии дорога Рава-Русска — Ярослав, взорвано 99 железнодорожных и 57 шоссеино-дорожных мостов, 13 спиртовых заводов, 1176 погонных метров железнодорожного полотна.

Советские партизаны уничтожали все, имеющее военное значение для немцев в Польше. Рейдируя по тылам врага, партизаны неожиданно выходили к городам и заводам. Они давая оломиться врагу, подразделения дивизии набрасывались на водокачки, электростанции, мельницы, продовольственные и вещевые склады и железнодорожные станции.

В наступательных и оборонительных боях, в засадах и диверсионными группами уничтожено:

Солдат и офицеров противника 5.160, взято в плен 598, пушено под откос 24 немецких поезда, разбито 75 танков и бронемашин, автомашин 196, мотоциклов 10, тягачей 16, самолетов 5, моторных лодок 2, пушек 2, минометов 11, станковых пулеметов 8, снарядов и мин 1.460, винтовочных патронов 159.500, дзотов 30, узлов связи 3, радиий 2, телефоных аппаратов 117, телефонной связи 28 километров, различных складов 40, лигнешефтов (наподобие фольварков) 18.

В боях взяты трофеи:

Минометов 15, мин к ним 240, пушка, снарядов 630, станковых и ручных пулеметов 91, автоматов и винтовок 717, гранатометов 6, гранат 510, патрон винтовоч-

¹ «АХЧ» — начальник административно-хозяйственной части.

ных 113.860 лошадей 208, сахару 5 тонн, муки 21 тонна, овса 17 тонн и много другого военного имущества и снаряжения.

Трофеи давали возможность прокормить и одеть личный состав дивизии за счет противника, не затрагивая интересов мирного населения, а, наоборот, помогая ему.

Во время рейда дивизия выросла на 661 человек за счет освобожденных военнопленных и мелких партизанских групп.

Потери дивизии:

Смертью храбрых пали 163 партизана и 318 ранено. Из вооружения потеряно — разбито осколками мин, снарядов и авиабомб винтовок 67, миномет, 3 противотанковых ружья, 14 пулеметов и пушка.

— Ну как? — спросил подошедший Войцехович. — Нравится работа? — И его глаза снова задумчиво устремились к берегам, на которых все еще шумели воробьи.

И только было начальник штаба хотел рассказать о некоторых боевых операциях, как из-за деревьев выехало несколько всадников; они направили своих коней к штабу дивизии. Войцехович встал. Он пристально посмотрел на подбегавших и, повернувшись ко мне, сказал:

— Это польский капитан, партизан по кличке «Уздечка». Он может рассказать об операции в районе Сталевои воли.

Приехавшие польские партизаны спрыгнули с коней и, привязав их к забору под дубом, подошли к нам. Поздоровавшись, старший из них, по кличке «Уздечка», сказал:

— Я приехал к вам, пане начальник, чтобы попросить патронов для автомата. Израсходовал последние во вчерашнем бою.

На его шее висел советский автомат ППП. На ложе блестела серебряная табличка с надписью: «Уздечке». В знак дружбы советского и польского народов. Вершигора».

Поляки получили патроны и, закурив, легли за домом на лужайке.

— О, — сказал «Уздечка», — «Сталева воля» — была отличная операция. Эта операция подтвердила нашу дружбу.

Он говорил спокойно. В нем чувствовался профессионал-военный и глубоко разгневанный человек, как то и подобает патриоту, отечество которого оккупировано врагом. Минута за минутой развертывалась картина налета на один из крупнейших оборонных заводов врага в Польше.

Клейн вел усиленную разведку крупных предприятий. И вот однажды его разведчики взяли на дороге несколько рабочих с завода «Сталева воля». Рабочие показали свои табельные номера, превышающие цифру 13.000.

— Сколько рабочих на заводе? — спросил Клейн.

— Больше тринадцати тысяч. Завод делает и ремонтирует подбитые на фронте орудия, изготавливает снаряды.

Рабочие поняли, в чем дело, и высказали свое мнение о том, как нанести заводу сокрушительный удар.

Когда Петрович получил о заводе полные разведывательные данные, он начал искать отважных польских патриотов, которые хорошо бы знали подходы к заводу. В это время в дивизию как раз и явился «Уздечка». Он был польщен предложением.

Два раза он водил артиллеристов дивизии к заводу и вместе с ними выбирал огневые позиции для пушек. На рекогносцировке было решено ударить по электростанции и водокачке. Если ударить по цехам, то в них неминуемо погибло бы много польских рабочих, а разрушение электростанции и водокачки без лишней жертв выводило из строя весь завод.

На операции вышли полк Бакрадзе, батальон Токаря и артиллеристы Тюлова. Они в темноте заняли свои огневые позиции. На водокачку и электростанцию был дан заранее условленный сигнал о том, чтобы рабочие покинули здания. Пушки и минометы открыли огонь. После нескольких попаданий станция загорелась и развалилась водокачка. Потом над станцией поднялось белое облако и раздался грохот. Котлы и турбины взорвались. Свет в цехах потух.

Около окопов, в оборонительной полосе завода, металась немецкая охрана с электрическими фонариками. По ней били наши пулеметчики и минометчики.

Артиллерийский завод «Сталева воля» был выведен из строя. Прибыл немецкий полк. Полмесяца работали различные комиссии гитлеровцев и наконец решили, что электростанцию с водокачкой не восстанавливать, а значит, и завода не пустишь. Тогда немцы принялись увозить станки и оборудование.

«Уздечка» закончил рассказ и похлопал по ложу автомата.

— Русские — это особые люди, — сказал он. — Сколько надо иметь мужества, чтобы в чужой стране так воевать.

Он замолчал и, посмотрев на меня и на автомат, не без хвастовства сказал:

— Я единственный поляк, которому лучшими партизанами Советов подарен такой автомат.

Поляки уехали. Из раскрытых окон домика доносился стук пишущей машинки. На пороге крыльца сидел ординарец Войцеховича и старательно чинил его шинель. Хозяйка дома в огороде сгоняла кур с гряд. Начальник штаба сидел у окна, читая донесения.

Он положил на каждом донесении резолюцию и вышел на улицу.

— «Уздечка» не рассказывал, как соседний отряд поляков помог нам рвануть один мост?

— Нет, — сказал я.

— Об этом я могу рассказать.

После его рассказа я записал в своем дневнике следующее: «Возле Красностава на железной дороге Львов—Варшава стоял 127-метровый мост, перекинутый через отличную шоссейную дорогу. Петрович, после доклада разведчиков, приказал приготовиться к взрыву моста. Диверсия была заманчивой. В случае удачи убивали сразу двух зайцев: выводили из строя важную железную дорогу, а обрушившиеся на шоссе фермы выводили из строя и самое шоссе.

Было решено провести эту операцию совместно с польскими партизанами. Поляки хорошо знали подходы к мосту, места расположения охраны и могли быть отличными проводниками. На диверсию назначили взвод Степана Бокорева — секретаря комсомольского бюро полка. Туда вошли опытные минеры Дубиллер и комсомолец Олейник.

Польские партизаны хорошо приняли диверсионную группу, произвели тщательную разведку и повели диверсантов к мосту. Ночью, открыв автоматный и пулеметный огонь, партизаны разогнали охрану и захватили мост. Дубиллер и Олейник заложили в фермах моста более ста килограммов тола и взорвали его. Одна из ферм упала на шоссе и закрыла путь.

Минеры могли бы уже отходить, дело было сделано, но Дубиллер и Олейник во время диверсии всегда старались устроить врагу сюрпризы. Они поставили и замаскировали на мосту в невзорванных фермах мины замедленного действия.

Позднее удалось установить, что железная и шоссейная дороги вышли из строя на 28 дней. Кроме того, сюрпризы Дубиллера и Олейника действительно доставляли немцам много хлопот. При восстановлении моста произошло несколько взрывов, во время которых погибло немало немецких мостовщиков».

6. «ПОДЗЕМНАЯ ПОЛЬША»

Этот день в дивизии был шумным. На телегах, верхом и пешком приезжали и приходили в штаб дивизии поляки-партизаны. Они были одеты в гражданское платье, но по выправке в них легко можно было угадать военных. Часто слышались: «пане комдив», «пане генерал».

Были среди пришедших и молчаливые люди. Они говорили редко, и если вели

разговоры, то на одну только тему: как бы сильнее ударить где-нибудь на немецкий гарнизон. Они внимательно слушали советы наших партизан, никому не льстили и не хвалили наше оружие. Это были серьезные люди, душой ненавидившие немцев.

Мы находились в штабе Петровича. Один из поляков сел со мной рядом и, узнав, что я прилетел из Москвы, стал расспрашивать о польской армии генерала Берлинга. Затем разговор перекинулся на «Катынское дело».

— Неужели Москва и советские люди думают, что польский народ поверил немецкой провокации о «Катынском деле»? — сказал сидевший рядом со мной высокий поляк. — Польский народ с самого начала не верил немцам. — Он говорил взволнованно. — Мы с самого начала располагали неопровержимыми доказательствами того, что наших офицеров в Катынском лесу убили немцы.

— Возьмем хотя бы такой пример из местечка Малый Кужин, — сказал он, — это в Болгорайском повете Люблинского воеводства. В нем жил поручик Гетко. После падения Польши в 1939 году Гетко пришел домой и открыл ресторан. В 1941 году гестапо арестовало поручика, и с тех пор о нем не было вестей.

— Когда немцы подняли кампанию о «Катынском деле», — продолжал он, — и опубликовали списки польских офицеров, якобы расстрелянных русскими, то поручик Гетко из Малого Кужина оказался в этих списках. Семья Гетко была изумлена. Жена поручика пошла в гестапо за справками. Там она сказала, что ее муж был арестован немцами и не мог попасть в Катынский лес. Немцы выслушали ее, арестовали, забрали всех членов семьи поручика и увезли. Примеров много...

Гестапо в 1940 и 1941 годах на территории Польши произвело регистрацию офицеров, а затем, забрав их, отвезло в лагерь польских военных. Позднее эти арестованные гестапо офицеры появились в списках тех, кто якобы был убит вашими под Смоленском.

К нам под село несколько поляков. Они развернули кисеты и сосредоточенно начали крутить папиросы. Они возвращались с железной дороги и, проходя расположением дивизии, решили зайти в штаб и рассказать последние новости. Так повелось у партизан всех воюющих стран сообщать соседу последние разведывательные данные. У них была удачная ночь. Их минер на изгибе железнодорожного полотна дороги Варшава—Брест пустил под откос поезд с танками.

— 42 немецких танка не доехали до Восточного фронта, — сказал минер.

Завязался откровенный разговор. Польские повстанцы поведали, чем живет Польша.

— Польский народ, — говорили они, — был поработан Гитлером в 1939 году. Мы слышали о немецких зверствах в России. Немцы этим зверствам учились на нашей шкуре. Они научились здесь грабительским словам: «матка, млеко, яйки». У нас немецкие заводы начали впервые пополняться рабской рабочей силой с Востока. Именно от нас, с Востока на Запад, немцы впервые логнали эшелоны с людьми, скотом и хлебом.

Мимо хутора проехало десятка полтора телег. Клячи с ребрами, похожими на деревенский часток, тянули шарабаны, вроде цыганских кибиток. Из-за грязных пологов шарабанов выглядывали обрванные детишки, по обочине дороги шли старики, старухи и молодайки. Босые их ноги были рассечены, все они были одеты в рубища.

— Вот посмотрите, — сказал сидящий в стороне от нас польский учитель, — на родине, а без прикута.

Таких сел-таборов много путешествует по лесистым районам Польши. Из тысяч сел и деревень выселили немцы польское население и на его место вселили так называемых «фолькс-дойчеров», привезенных из Румынии, Болгарии, Венгрии и других государств. Польское крестьянство лишилось не только земли, скота и крова. Немцы оставили себе все крестьянские пожитки.

— Неужели эмигрантское правительство, — сказал один из наших партизан, — не знает обо всем этом?

Учитель вздохнул:

— О, это правительство! — он горько усмехнулся. — Оно все знает через свою подпольную агентуру. Оно знало и о том, что «Катынское дело» — дело рук немцев, и отлично знало, что даже его собственная агентура, как и весь наш народ, не верит немцам. Но правительство пошло на поводу гитлеровцев. Оно и сейчас запрещает своей агентуре воевать с немцами.

С улицы донесся шум. Кто-то ругался по-польски. Послышались крики, возня. Мы бросились к окну и оказались свидетелями невероятного происшествия: дрались поляки. Трое наступали на двух и, тесня их к забору, с ожесточением били.

— О, — сказал учитель, — видите, это плоды работы лондонского правительства. Эти трое из «батальонов хлопских», они бьют молодчиков из агентуры.

— Они, видимо, не поладили, — сказал я, — а причем здесь эмигрантское правительство?

Наши партизаны разняли дравшихся и

развели их в разные концы хуторского двора.

— Как причем? — сказал возмущенно учитель. — Вам не понятно? Тогда я расскажу все по порядку.

Учитель торжественно начал: «Вы находитесь на территории «подземной Польши». Я услышал от него, что эмигрантское польское правительство начало заводить в оставленной им стране тайную агентуру. Всеми мерами оно создавало свое подполье, и ему удалось завести довольно разветвленную сеть агентов.

Эмигрантское правительство приказало своей агентуре ждать сигнала к выступлению. Агентура сидит и ждет, ждет уже почти пять лет.

— Мы ненавидим всех этих агентов, — сказал перебивший рассказ учителя боец «батальонов хлопских». — Мы воюем с немцами, а они нас за это преследуют, обезоруживают и убивают. Вот видите, — сказал он, — до чего у нас дошла ненависть друг к другу. Будучи у вас в гостях, мы не могли скрыть ее и побили молодчиков.

Среди разговаривающих сидел капитан. Он внимательно слушал все, что говорилось, и, когда учитель замолчал, сказал:

— Эта организация занимается всем чем угодно, только не войной с немцами. Основная масса организации хотела бы воевать с немцами, но руководство сдерживает.

Он замолчал, задумался, нахмурил брови и, опустив глаза, как бы чего-то стесняясь, сказал:

— Руководители этой организации получают директивы в гестапо. На протяжении войны «соединения» сжигали украинские села, грабили украинцев и белорусов, преследовали настоящих поляков-патриотов. Это ведь не что иное, как предательство.

После обеда, расположившись на кошке сена, мы продолжали разговор о делах в Польше. Многие польские партизаны уехали, и в штабе дивизии осталось несколько человек подпольщиков. Одних привлекало любопытство к украинским партизанам, иные имели тайное намерение посоветоваться с советскими коллегами о том, как создать настоящий отряд, поделиться опытом в минировании железных дорог или сообщить важные разведывательные данные о противнике.

Среди оставшихся был еще один подпольщик. Он курил, о чем-то напряженно размышляя и, наконец, сказал:

— Как вы думаете, если перейти на коней, то это придаст отряду значительно большую маневренность?

— Безусловно, — ответил наш партизан, — мы на конях бывали и в Восточной Пруссии.



Партизаны на отдыхе

— Слышали, — сказал подпольщик, — слышали и завидовали.

Я взглянул на него. Пожалуй, он в самом деле принадлежал к тем, кто завидовал нашим партизанам.

— Мы не можем итти, — сказал он, — за случайными элементами, вроде «Ойтеца Яна» или майора Зомба. Мы хотим воевать и краснеем, видя, как ваша дивизия бьет немцев на нашей земле. История не простит нам бездеятельности в такое время.

Он поведал мне некоторые тайны одного так называемого «партизанского соединения». Руководит им бывший польский офицер по кличке «Ойтец Ян». Этот «Ойтец Ян» выключает приемник, когда московские радиостанции передают о польских патриотах. Однажды на совещании командного состава он заявил, что если будет умирать, то с оружием в руках против СССР. Случилось, что в его «соединение» пришло десять украинцев и русских пленных, бежавших из немецких концлагерей. Яновцы их расстреляли.

Соседним «соединением», которое входит в ту же агентуру, руководит майор

Зомб. Майор не уступает «Яну». Он травит и расстреливает украинских, белорусских и русских пленных, сбежавших из немецкой неволи.

Немцы с помощью эмигрантского правительства в значительной степени прибрали к рукам агентурное подполье и используют его для борьбы с настоящими партизанскими отрядами, раздувают гражданскую войну на польской земле, ловко используя для этого внутриорганизационную борьбу агентурного подполья, начатую правительством Соснковского.

В сложнейших условиях внутрипартийной борьбы и немецкого террора в январе этого года в Польше была подпольно создана Крайова Рада Народова (Польский Национальный Совет).

Разговор наш затянулся бы надолго, если бы из польского партизанского отряда не приехала тачанка, запряженная парой коней. Поляки приглашали меня к себе, и через несколько часов я ступил на территорию, занимаемую польскими повстанцами.

7. У ПОЛЬСКИХ ПОВСТАНЦЕВ

Это был обычный лесной партизанский лагерь. Шалаши из сосновых веток, двери палатки, стол под сосной, кухня — вернее, костер, над которым висят котлы, в тени в козлах — винтовки. Партизаны, не занятые на боевых операциях, чинили одежду, сапоги, возились с оружием.

Нас встретил командир отряда, высокий поляк, без фуражки, в новых немецких сапогах и потертом мундире. Он с любопытством рассматривал человека из Москвы, а я, не менее любопытно, смотрел на человека, который в тылу врага пять лет не выпускал из рук оружия.

В шалаше перед входом горел костер, отгонявший назойливых комаров. Мы начали беседовать. Сначала я отвечал на вопросы поляков о польской армии генерала Берлинга, о делах на советско-германском фронте, о жизни в СССР. И только после этого мне начали рассказывать историю отряда.

Она типичная для многих партизанских подразделений Польши. До осени 1943 года на польских землях партизанское движение было развито чрезвычайно слабо. Эмигрантская агентура прибирала к рукам зарождающиеся отряды, сковывала их действия, не давала расти.

Борьба с немцами на польской земле завязалась после начала войны Советского Союза с фашистской Германией. Первые советские пленные, бежавшие из немецких лагерей, добывали оружие и продолжали борьбу с общим врагом СССР и Польши. Польский народ хорошо помогал нашим пленным, но правительственная агентура всячески преследовала первые партизанские отряды.

С зимы 1944 года в Польше по-настоящему развернулось партизанское движение. Народ и «подземная Польша» поняли, что им с предательским правительством не по пути. Подпольно созданная в Варшаве Крайова Рада Народова призвала поляков к беспощадной борьбе с немцами. Она выразила самые сокровенные думы польского народа. Повстанческие отряды с этого времени начали быстро расти. Отряд, о котором идет речь, только за три дня увеличился на 83 бойца.

До зимы этого года гитлеровцы звали Польшу «Землей покоя». Здесь они развертывали школы танкистов, летчиков, артиллеристов и беспрестанно ездили из конца в конец по всему государству. Но зимой и весной 1944 года и особенно перед летним наступлением Красной Армии Польша поднялась на немцев.

Отряд, в который я приехал, организовался осенью прошлого года. В нем объ-

единились бывшие солдаты, два подпоручика, учителя, врачи, крестьяне и рабочие — всего 350 человек. С этим отрядом уже не в силах бороться правительственная агентура. Она его попросту боится. Немцам тоже трудно бороться с партизанами — народ скрывает повстанцев и помогает им продуктами и разведкой.

Командир отряда показывает мне дневник. В нем записано:

«Январь 1944 года.

Отряд насчитывает 49 человек. В отбитых у немцев каменоломнях взято взрывчатое вещество. Приступили к изготовлению мин. Капсулы берутся из гранат.

Отряд единогласно примкнул к Крайовой Раде Народовой.

Март 1944 года.

Агентура эмигрантского правительства встала на путь немцев. 6 диверсионных групп отряда нарвались на засады, устроенные агентами правительства. Отряд лишился трех товарищей, остальные благополучно бежали.

Шайка агентов в д. Осередок уничтожила две крестьянские семьи, которые давали пристанище нашим разведчикам. В д. Кошели другая шайка за то же убила железнодорожного рабочего.

Нет сомнений в том, что все эти «подпольщики» связаны с немцами. Они систематически докладывают врагу о передвижениях нашего отряда. Во время немецкой облавы ракетчики из «подпольщиков» наводили на наш отряд немецкие разведывательные самолеты.

Немцы используют агентуру эмигрантского правительства для борьбы против настоящих польских патриотов и для отвлечения повстанцев от диверсий на коммуникациях, от разгрома немецких гарнизонов и вообще от повстанческого движения.

Апрель 1944 года.

Бои с немцами учащаются. Пуцен под откос девятый поезд с немецкой артиллерийской частью.

По Польше идет упорный слух о советской партизанской дивизии имени Ковпака. Правительственная агентура, с появлением украинских партизан, начала притихать, поджимать хвост. Дивизия действует на северо-запад от Люблина к Варшаве.

Ведется широкая агитация за Крайову Раду Народову. Народ считает, что правительство, возглавляющее во время немецкой оккупации борьбу с гитлеровцами — есть самое законное правительство».

В дневнике много подобных записей. В апреле и марте мелкие партизанские

отряды объединились в более крупные и приступили к серьезным задачам. Немцы вынуждены были вводить усиленную охрану своих военных объектов. Партизаны повели наступление на все немецкое, и «Земля покоя» начала превращаться для немцев в «Землю ада». Немецкие управляющие бежали из имений; госпитали, разбросанные по тихим деревням, стали подтягиваться к железным дорогам, гарнизоны оставляли населенные пункты, группируясь вдоль коммуникаций и уездных центров.

В Польше началось то, что было на временно оккупированной советской территории: кусты начали стрелять в немецких солдат и офицеров, в ночах на дорогах прекращалось движение. Поляки взяли за оружие без ведома предавшего их правительства. Подало сигнал к восстанию и возмездно новое правительство.

Я перелистываю кожаную тетрадь дневника. Командир отряда переводит с польского на русский, с трудом подбирая слова. Он обеспокоенно смотрит на часы, чаще и чаще поворачивает голову к лесной тропе.

Увидев идущую к шалашу группу бойцов, он поднимается. Семь человек, вооруженных пятью автоматами и ручным пулеметом, разношерстно одетых, подходят к нам. Один из них докладывает о выполнении задания.

Перед нами — одна из мелких групп отряда, ходившая на диверсию. Она пустила под Варшавой два воинских поезда немцев под откос и, устроив на шоссе новой дороге засаду, расстреляла и рассеяла вражескую колонну численностью до роты.

— Осмелел народ, — с видимым удовольствием говорит командир отряда, — перестал бояться немца. Если бы не подлые правители, бежавшие в Лондон, то Польша боролась бы с немцами по-настоящему.

Вечером, у костра, штабные работники отряда попросили рассказать о советских партизанах. Они жадно слушали о рейдах Ковпака и об операциях других соединений, в которых за время войны мне пришлось побывать. Полякам понравилось, как наш народ называет своих партизан. Начальник штаба сказал, что отряду нужно дать какое-нибудь название. Командир тут же написал приказ, в котором говорилось, что с 0,0 часов сегодняшнего дня отряд носит название «Народный мститель».

Беседа затянулась за полночь. На расвете около шалаша собрались начальники подразделений отряда. Присутствующих на совещании командир попросил приготовить карты. Когда на коленях по-

явились настоящие и самодельные карты, командир сказал:

— Отряд переходит к работе большого масштаба. Каждое подразделение формирует сегодня по четыре мелких группы, вооружает их минами и направляет к железнодорожным узлам. Мы обязаны мешать немцам так, как мешали советские партизаны. Наша главная задача — работа на коммуникациях, поездах.

— Пуск поездов, — продолжал он, — это выгодное во всех отношениях дело. Чтобы убить 200 немцев, всем отрядом надо драться три или пять дней. За это время мы потеряли бы немало своих товарищей. Но один пущенный под откос поезд, в составе которого разбиваются четыре вагона с солдатами, уже дает 200 убитых немцев. Их уничтожает один, всего только один минар и маленькая группа его охраны. Нам надо как можно больше поездов пускать под откос. Мы начнем за ними охоту.

Лагерь заснул под утро. Когда командиры ложились спать, у костров появились поварахи. Пели на множество голосов соловьи, где-то куковала кукушка.

— Раз, два, три... — считал командир отряда крик кукушки. Он насчитал до шестнадцати.

Завернувшись в брезент, он громко захрапел.

8. «ПАННОЧКА С ВИСЛЫ»

Кто она, эта легендарная польская девушка, мне никто не мог сказать. Но с кем бы я ни говорил о партизанской борьбе в Польше, мне непременно рассказывали о «панночке с Вислы», командире польского партизанского отряда.

В моей записной книжке было несколько записей. Вот они:

«Панночка с Вислы». Когда зародилась ее отряд — никто сказать не может. Одни говорят, что он организовался этой зимой, другие утверждают, что осенью прошлого года на реке Висле. В отряде примерно около двухсот конников. Лошади отборные. Бойцы в отряде вооружены в большинстве автоматами и ручными пулеметами.

«Панночка с Вислы». Польская девушка мстит немцам. В 1939 году, во время войны поляков с немцами, убит ее отец. Она скрылась в деревне. Немецкие власти обещали ей жизнь, но она бесследно исчезла.

«Панночка с Вислы». В Варшаве на балу, устроенном немцами, танцевала вальс одна из красивейших девушек Польши. После бала на банкете были отравлены два генерала и один крупный

гражданский чиновник, Рассказывающие приписывают это «панночке с Вислы».

Записи накапливались. Один старик, старшина кочующего по Польше села, рассказывал:

«Панночка с Вислы» действительно существует. Мы как-то ночевали в белогорайских лесах. В таборе горели костры, по весне было холодно. Табор спал. Я проснулся и вдруг увидел, как неведомо откуда взявшиеся офицеры разжигают костры и подводят к одному из них какую-то панночку. Другие офицеры разбивали поодаль палатки. У деревьев ржали подвязанные кони. Табор проснулся. К кострам подошел народ, спрашивая приезжих: «Кто и откуда?» Все это было похоже на сон. У костра сидела панночка, на правой руке ее висела нагайка, сапоги были в грязи.

Офицеры вились около нее, точно оводы вокруг лошади. Но она сидела молча.

— Кто же вы? — наконец, придя в себя, спросил я у одного офицера. — И зачем в поздний час в лесу?

— Мы партизаны, дедушка, — ответил офицер. — за Польшу мстим немцам. А это, — указал он на девушку, — «панночка с Вислы».

— Хорошее, — говорю, — дело.

Я признаюсь, не раз слышал об этой панночке. Слухом земля полнится. Под Краковом рассказывали нам, как ее отряд сжег семь немецких имений, влетел на станцию железной дороги и взорвал водоканчку, захватил поезд и тоже сжег. Видели и мы ее работу. На одной из дорог, которую мы переезжали, валялась двенадцать сожженных грузовиков. В соседней деревне нам рассказали, что это дело рук «панночки с Вислы».

Панночка обогрелась у костра и поманила к себе офицера с седыми усами. Он пожилой такой, но сила, видно, в нем еще есть. Он подбежал, и она что-то сказала ему. Тот окликнул кого-то. Подбежало сразу двое, и вскоре у костра появилось мясо, картошка и лук. Приезжие начали готовить обед.

Когда он был готов, панночка оторвала глаза от костра и сладко потянулась, словно не спала семь дней. Один из офицеров принес ведро воды, панночка сняла меховую куртку, шапочку и начала мыться. Она, как утка, плескалась в воде, потом вытерлась белым полотенцем. Пока она умывалась, повара накрыли скатерть на одной из наших телег и расставили кушанья. Панночка и еще человек восемь офицеров кушали и выпивали, стоя у телеги. Покушали и легли спать, панночка легла в палатке.

Табор снова затих. Я уже не мог заснуть и разговорился с одним солдатом. Он мне поведал об их делах. Кто такая

панночка — он не знает, офицеры не говорят. Но то, что она затаила большую записку на немцев — об этом весь отряд знает. Она командует конниками и совершает налеты на немцев. Этот солдат примкнул к отряду нынешней весной, когда около панночки собралось уже несколько офицеров. А в лес приехали потому, что немцы стали отряд теснить, убив в последнем бою четырех конников.

Под утро, когда в отряде все еще спали люди табора снялись и поехали, куда глаза глядят. Мы опасались, как бы на нас не набрели немцы, идя по следам панночки. Сама она была спокойна, крепко спала. Соколо ее палатки ходил часовой...»

Так рассказывал мне старый поляк-крестьянин.

Проезжавшие через расположение дивизии Петровича диверсанты одного из польских партизанских отрядов поведали нам следующее: «Нам не повезло сегодня «панночка с Вислы» привлекла много немцев в район намеченного взрыва моста. Накануне она там вела большой бой, потом исчезла, как в воду канула.

«Панночка» у нас в большом почете, — говорили они, — народ ее очень любит и помогает всем, чем может. Она точно ветер неуловимо гуляет по Польше».

Записи в моей книжке прибавлялись. Один из связных польского партизанского отряда, приехав в штаб дивизии, сказал мне: «Сегодня ночью у нас в отряде была «панночка с Вислы». Повела отряд под Варшаву». Я познакомился однажды с ксендзом, который сообщил: «Она исповедывалась у меня, просила благословить ее на ратные дела». Но ни одного бойца из отряда загадочной панночки я не видел. Рассказы разносились по Польше, в них вставала чистая душа польская Жанна Д'Арк. Мне иногда начинало казаться, что ее вообще не существует в природе и народ просто выдумал героиню, как это часто бывает во время войн.

Мое пребывание в польском партизанском отряде уже подходило к концу. Пора было возвращаться в свою партизанскую дивизию. Были запряжены кони. Они стояли под соснами, понурились головы. дремали равнодушные ко всему окружающему. Ездовой достал сено, взбил его и накрыл большим ковром.

Командир отряда подошел ко мне:

— Я без обеда вас не выпущу. Пообедаем, а затем и поедем, да и надежные проводники еще найдутся на пути в отряд.

Я согласился. У костров возились повара. На столе под сосной постелили бумагу, нарезали хлеб, расставили миски.

Обед не был еще готов. Я подошел к усатому шорнику, который сидел на пенке поодаль от стола. За все утро он не проронил ни одного слова, сосредоточен-

но чинил хомут, зажав толстую и длинную вощеную нитку в зубах. Мы разговаривались.

Шорник оказался старым солдатом, служившим, как он говорил, еще при Николае Романове, бился с немцами в четырехнадцатом году, дрался с ними же в 1939 под Данцигом. Чудом уцелел, бродяжил по родине, скрывался все от тех же немцев, боясь, что они угонят его в Германию. И вот однажды, встретив знакомого солдата, пошел вместе с ним к партизанам. В засады ходить он уже стар, и в отряде ему поручили следить за сборуей. С утра до ночи старый солдат, привыкший с детства к труду, чинит седла, уздечки и хомуты.

— Наверно, обед скоро, — сказал шорник, скручивая конец вощенной нитки, — пожалуй, не кончу.

Я сидел с ним рядом и записывал мои впечатления, частенько поглядывая на стол.

— Прошу за стол, — сказал командир отряда, подойдя ко мне.

Шорник положил хомут на еловые ветви, поднялся и побрел в лес, очевидно, к своему подразделению. Я тоже поднялся, и мы направились с командиром отряда к столу под сосной.

И только мы хотели сесть за стол, как по лесу раздался свист. Все насторожились, взяли автоматы. Защелкали затворы, раздалась команда, партизаны быстро разбежались по местам своих боевых расчетов. Мой ездовой взобрался на козлы, усадил меня рядом и был готов в любое мгновение умчаться в лес. Шорник с куском хлеба в руках выбежал из-за деревьев, схватил оставленный им хомут и вновь скрылся между елей. Со стороны юрочи послышались три свистка, и все мушкетеры автоматы.

— Три свистка, — сказал подошедший к нашей тачанке начальник штаба отряда, — значит, ложная тревога. Идут или едут свои.

Издали послышалось цоканье копыт. Из-за высоких деревьев вынырнуло четыре автоматчика на горячих конях, а вслед за ними на поляну выехало до полсотни всадников в форме польских офицеров. В середине кавалькады на белой лошади сидела молодая девушка лет 22—23. На ней была кожаная коричневая куртка, темносиние бриджи и высокие кавалерийские кожаные сапоги с изящными шпорами. На правой руке, поверх перчатки, висела ременная четырехгранная плеть, привинченная к ручке. На голове ее было кокетливо надето темносиний берет, опоясанный белым пером. Спереди на берете играл разноцветными огнями орел.

Она ловко спрыгнула с коня. Командир отряда подошел к девушке. Она пожала его руку, не снимая черной лайковой перчатки. Полковник обратился к командиру отряда:

— Все мы ужасно хотим есть, лошади наши устали и должны, как и мы, отдохнуть. Просим приюта.

— Прошу располагаться, — сказал командир отряда, — лошадей сейчас проводят на пастбище. Мой шалаш к вашим услугам.

Девушка молчала. Она посмотрела на маленькие часы, поправила цветной латочек в левом грудном кармане и попросила у полковника карту. Тот подал, и девушка, вынув из бокового кармана курвиметр, начала что-то измерять.

— Через час, — сказала она стоявшему рядом полковнику, — все наши будут в условленном месте. Прикажете приготовить обед.

— Обед готов, — сказал командир отряда, — прошу к столу.

Нужно ли говорить, что это и была «панночка с Вислы». Она держала себя властно, как человек, привыкший повелевать. Пышные ее волосы были забраны в толстую косу, сложенную вокруг головы, из бокового правого кармана куртки смотрел черный глазок ствола маузера.

Командир отряда предложил гостям вина. Полковник налил «панночке» бокал, и все подняли свои кружки. Командир отряда встал и сказал:

— За нашу Крайову Раду Народову, за наши звонкие подковы как символ боевого счастья!

Я смотрел на легендарную женщину, сидящую за столом напротив меня. Она сняла перчатки. На пальцах блеснули кольца. Она стала закусывать. После второго бокала, «панночка» посмотрела на всех, подумала и сказала:

— Прошу налить мне в кружку. Когда-то в России в горах под Кисловодском я пила из простого стакана. Хочу и сейчас из простой кружки.

Все улыбнулись. Она подняла кружку с вином и, встав, сказала:

— За победу над подлыми немцами, над проклятой агентурой бежавших в Лондон изменников, за наших солдат и офицеров, за Польшу!

После обеда, когда «панночка» ушла в шалаш, мы сели с полковником под сосной и разговорились.

— Сегодня ночью, — сказал полковник, — мы сделали налет. В одной из деревень остановился штаб немецкого полка. Мы его ликвидировали и еле унесли ноги. Весь наш отряд теперь рассыпан и собирается в назначенном месте.

По мере того, как мы продолжали разговор, у меня составилось полное представление о конном отряде. Но так и не удалось узнать, из какого «панночка» рода. Полковник лишь намекнул, что она из хорошей военной семьи, и с немцами имеет большие и старые счеты. «Вся в отца», — сказал полковник. Сам он — начальник ее штаба, в прошлом командир полка, разбитого в 1939 году немцами под Лодзью, потерял семью, ненавидит немцев и эмигрантское правительство, мечтал когда-то попасть к генералу Андерсу, но после того, как тот оказался предателем, примкнул к партизанам.

Весной этого года отряд примкнул к законному правительству, сформированному демократическими польскими партиями. До многих партизан дошло воззвание Крайовой Рады Народовой. Сначала отряд «панночки» состоял из десяти офицеров, потом он вырос, теперь в нем больше двухсот человек.

Отряд успел много сделать. Его люди бывали в Варшаве, Кракове, Каттовицах, Лодзи. Немцы подкупили агентуру эмигрантского правительства и дали ей задание уничтожить мятежную полку. Но и это провалилось. Тогда немцы подкупили некоторые так называемые «партизанские соединения» правительственной агентуры, поставив перед ними ту же задачу. Но и здесь их постигла неудача.

«Панночка» проснулась, когда солнце уже клонилось к закату. Подойдя к нам, она сказала:

— Полковник, наши люди давно уже в сборе. Лошади отдохнули, пора ехать. Отдайте приказание собираться.

Полковник ушел. Лошади вскоре были приведены. «Панночка» попрощалась со всеми, проворно села в седло и шагом выехала на тропу. За ней устремился весь ее отряд.

9. В ГОСТЯХ У ОТДЫХАЮЩИХ КОННИКОВ

На следующий день, успев отдохнуть после поездки к польским партизанам, я присутствовал при вручении орденов во втором полку. Материал о действиях полка был у меня уже собран, и я решил сфотографировать полковое торжество. Было хорошее утро. Я чувствовал, что съемка удастся. Но в самый разгар торжества кончилась пленка. В Киев я взял ее немного — только для того, чтобы снять Ковпака, но здесь расход пленки превысил все мои ожидания. Многие партизаны просили снять момент вручения им орденов. Разве можно было отказать?

Выручил Петрович. Он достал из кармана моток пленки и подал его мне. Старое

кожаное пальто, превращенное в мешок, помогло мне быстро перезарядить кассеты.

Петрович — любитель фотографии, в прошлом кинорежиссер киевской кинофабрики, фотографирует последними немецкими «лейками». В Киеве его приятель, киноработник, провозжая, сунул ему в карман моток пленки.

Мы вернулись в штаб дивизии. Во дворе хаты Петровича стояло до двадцати оседланных коней.

— Кто бы это мог приехать? — сказал Петрович. — Я думаю, твой друг «Усач», услышав, что ты прилетел, примчался за тобой.

Да, это действительно был командир казачьего дивизиона Александр Николаевич Ленкин по кличке «Усач». Прозвали его «Усачом», естественно, за усы, и Петрович изредка предупреждает его, что за самое малейшее нарушение приказов усы у него будут срезаны.

Мы поздоровались, и он, поглядывая на Петровича, издала завел разговор о моей поездке к конникам. Я хотел приехать к нему позднее, но он обещал дать хороший материал о проведённых боях и вдобавок вывести на съемку весь дивизион.

— Знаешь, — сказал он, — у нас под боком опорный пункт немцев. Мы его можем разнести, пушки будут бить прямой наводкой, дивизион пойдет в атаку, — вот материал-то будет, вот снимки-то будут!

— Поезжай, — сказал Петрович мне.

«Усач» сказал, кивая на меня:

— Тутученко прислал ему свою лошадь...

— Он жив? — спросил я.

— Жив. Как же!

Семен Павлович Тутученко был первый ковпаковец, который в прошлом году ввел меня в курс дел легендарного ковпаковского соединения. Тутученко очень хотел посмотреть заграничные города. Оказалось, он до войны был архитектором и скульптором. Поэтому он всегда в кармане возил комок мятого хлеба и от нечего делать лепил.

— Вечерет, товарищ командир, — сказал «Усач», — а ведь тридцать километров ехать-то.

Он вскочил в седло. Его лошадь с тонкой шеей вскинула голову, и все остальные, как бы считая ее старшей, повернулись к ней.

Конники бросились к лошадям, и я взял поводья своего коня. Яшка хотел было помочь мне сесть в седло, но «Усач» крикнул на него: «Со мной тысячу верст в седле проехал, не нуждается в помощи». Я сел и натянул поводья, «Усач» прищипил своего скакуна, и тот, ринувшись на

плетень, перемахнул его и, вытянув шею, пустился огородами к дороге.

— Абрек, — сказал Петрович, — настоящий абрек!

Я пытался объехать плетень, но лошадь, хорошо вытрезившаяся, ринулась за всеми. Я ни о чем не успел подумать, как взлетел вместе с ней над плетнем.

— Опасная лошадь, — сказал скакавший рядом со мной автоматчик, показывая на лошадь «Усача», — пойдём в атаку, так она «Усача» выносит вперед метров на семьдесят. В дивизионе ни одна ее не догонит. Погибнет он от нее, как Вещий Олег.

Ленкин услышал эту фразу и, нахмурился брови, посмотрел на автоматчика. Тот от его сурового взгляда отпрянул назад.

Мы ехали мимо деревенского кладбища и высоких крестов, поднимающихся над полями и дорогами. Вскоре мы прибыли в расположение дивизиона.

В огромном сарае собрались конники. Тутученко, начальник штаба, обнял меня и обратился к бойцам:

— Товарищи, он прилетел из Москвы. Послушаем новости с Родины.

Два с половиной часа рассказывал я о Москве и о жизни в Советском Союзе.

Следующий день начался рано. Утром конники вывели своих коней на пастбище, на лесную поляну. Под дубом заиграл баян, в стороне большая толпа автоматчиков окружила пару борющихся. Ленкин подъехал ко мне и сказал:

— Вот занятная сценка, — указал он на борьбу, — сними, пожалуйста.

— Хорошо. Мне бы хотелось снять дивизион на марше, — добавил я.

— Это от тебя не уйдет, будет время, снимешь.

Он о чем-то задумался и внимательно начал смотреть на борьбу двух бойцов.

— Ковлаковцы, — сказал он. — Я бы рекомендовал тебе их снять.

— А как ты это думаешь сделать? — спросил я.

— Я не фотограф, — сказал он, — вот гляди, наш народ отдыхает после драки с немцами. Ты и сними. Партизанский табор! Лошади пасутся в седлах, а рядом под дубом... Сам видишь, что тут творится. Ведь интересно же будет нашим детям посмотреть, как их батьки в тылу немцев жили.

— Попробуем, — сказал я. Кони паслись в седлах. Под дубом играл баян.

Я снял лошадей и повел аппаратом слева направо, захватывая сечь на отдыхе в кадр. Когда съемка была сделана, «Усач» подъехал ко мне и сказал:

— Памятник непобедимым партизанским конникам хочешь снять?

— Какой памятник? — спросил я. — Поедем к реке. Тутученко, Зезулин, за мной!

Мы проскочили к лесу и, не торопясь, поехали от поляны на юг.

— Снимать надо быстро, — сказал «Усач». — Ты проскочишь вперед, в речку, она мелкая, мы же выскочим на бугор. Ты снимешь, махнешь рукой, а мы, рассыпавшись, умчимся в лес. В деревне, что 250 метров от речки, стоит немецкий гарнизон.



Командир партизанского кавалерийского дивизиона Александр Николаевич Ленкин «Усач»

Из леса мы высмотрели в бинокли деревню. Было как будто спокойно.

— Ну, — сказал «Усач», — давай!

Я завел завод, установил диафрагму и экспозицию и бросился вперед. Проскочив мимо бугра, заехал в речку, и правый высокий берег ее скрыл меня от немцев. Я ждал конников. Они стремительно вынеслись из леса и, выскочив на обрыв, замерли, как «памятник».

Я снял их несколько раз и махнул рукой. Они умчались все, за исключением Семена Тутученко. Он крикнул:

— Сними живого Петра Первого! — и вздыбил коня над обрывом.

Я снял. Мы по лугу поскакали к лесу. Немецкие разрывные пули захолапали по деревьям, и мне показалось, что стреляют из засады, из лесу. Проехав пятьдесят шагов, мы очутились в густом лесу, а через час были в дивизионе.

Вечером в сарае, на сене, «Усач» и Тутученко по порядку рассказывали о делах дивизиона. При свете огромной лампы, добытой в каком-то имении, я записывал о том, как конники громили станции железной дороги, захватывали переезды, жгли немецкие имения, ходили под Варшаву.

Все было интересно и ново. Много говорилось о том, каких людей дивизион потерял в сражениях, вспоминали знакомые имена. И еще мне рассказали о том, как дивизион отомстил немцам за сожженное польское село.

Когда немцы сожгли село вместе с поляками, Петрович выпустил листовку, предупреждая немцев, что за одно польское село он будет жечь три немецких. Дивизион «Усача» ворвался в Восточную Пруссию и дотла сжег три немецких деревни. После этого налета и новой листовки Петровича немцы в районе действий его дивизии перестали жечь польские села.

На следующий день было воскресенье. Конники, отдохнувшие после рейда, разбрелись группами по кустам и лесу — кто с баяном, кто с аккордеоном, кто с гитарой.

Командир первого эскадрона, тоже мой старый приятель, пригласил меня к кусточкам. Возле него лежал баян, который он добыл на одном железнодорожном переезде под Варшавой. «Усач» увидел нас, подошел и сел рядом. На командиров нашло мечтательное настроение. Они не то ропщась вспоминали боевые дни, опасности, которые пришлось им пережить.

— Эх, были денечки, — сказал Ленкин, — на двести километров уходили от своей дивизии. Как действовали под Львовом! Взорвали мосты и умчались. За дивизионом хвост вражеской конницы и машины. Пустили три эшелона под откос. Опять стремительный отход. Ворвались на станцию Стажевска воля. Всю разгромили, изуродовали путевое хозяйство и пошли гулять по немецким имениям. Мы гуляем, а впереди на сотню километров слух: советские запорожцы — спасайся, немцы, кто как может.

«Усач» задумался и, кусая травинку белыми зубами, вздохнул. Я молчал, не желая нарушать ход его воспоминаний.

— Застали мы немецкий полк врасплох, — продолжал он. — На галопе влетели в деревню, выбили полк и давай косить его на поле. Какая жаркая схватка была!

— Наверное, не все охотно шли в кон-

ники, зная твой характер? — спросил я Ленкина.

— Нет, шли охотно. Потому — любят воевать. Каждый нашел себя на войне. Партизаны сраженья сами ищут.

— Ну, конечно, не без нареканий. — сказал он. — Все случалось. Я помню, сидел не было. Где достать седла? Думал, думал и придумал такое дело. В дивизионе есть столяры, плотники, слесаря, кузнецы, кожевники. Дай-ка я своими силами сделаю и седла. Сказал. Берутся неохотно. Тогда я разозлился на эту бесседельную конницу, давай ее гонять без седла по пятьдесят километров. Набьют себе зады, и давай роптать на нехватку седла. А я говорю им: или в бою доставайте, или сами делайте. У всех сразу появились седла. Посмотри, можем соревноваться с лучшей конницей в мире.

Он смотрел на трех пасущихся в седлах лошадей, и в его взгляде можно было угадать, что он видит в это мгновение свой дивизион только зарождающимся и слабым лошадям без седла. А теперь перед ним картина всего его стройного войска, пылившего копытами на полевых дорогах в чужом государстве, лихие атаки, когда это хлопцы, прижав подмышками автоматы, встают на галопе во весь рост и стреляют или просто конскими копытами разбивают вражеским солдатам черепа.

Он задумался. Зезюлин, его первый помощник, лежал на спине и то закрывал глаза, то поглядывал на «Усача». Потом приподнялся на локте и, поглядев на меня, сказал:

— А не слышал, как мост на Буге брали? Мы брали, конники.

Он медленно рассказывал об этом мосте. Он весь подобрался, словно идя в атаку, голос его становился все жестче и жестче.

— Этот мост, — говорил он, — был около села Окшешень, на шоссе Брест—Варшава. Сюду были у немцев укрепления фронтového порядка. Они ждали советские войска и хотели загородиться Бугом.

Четырехсотметровый мост был белый. Его только что построили, и проезд по нему был закрыт. Дзоты на обоих концах. День и ночь из них глядели на дорогу пулеметы. 60 немцев тщательно несли охрану.

— Петрович приказал нам взять мост и держать его до тех пор, пока не переправится с берега на берег вся дивизия. Нам, не кому-нибудь другому! — сказал Зезюлин. — На рассвете дивизион и пошел на штурм моста. лейтенант Гапоненко повел своих на галопе на тот берег и захватил те дзоты, мы заняли этот конец. Перебили охрану, захватили дзоты со станковыми пулеметами и блокировали остатки охра-

ны в каменном здании. В этот раз и погиб твой друг лейтенант Гапоненко.

Зезюлин замолчал. Молчал и Ленкин.

— А потом, — закрыв глаза, сказал Зезюлин, — потом вся дивизия подошла. И как только все перешли, мы зажгли мост и местами взорвали его. Немчура сунулась было, но моста-то уже нет, танки так и остались у них на берегу. Вот как было дело. Гапоненко похоронили со всеми почестями.

Мы лежали на траве, и лошади постепенно подходили к нам. Они жадно ели сочную траву, изредка поглядывая на нас. На каждой была уздечка с набором. Бляхи начищены, у одной — ремешки, уздечки перевиты красными шелковыми ленточками.

— Видишь, — сказал Ленкин, — по одним уздечкам можно судить, как наши любят свой род оружия. Ишь, каналья, перевил ремешки ленточками!

К нам подошел невысокого роста автоматчик с нагайкой на руке. Он сел рядом и молча потянулся к баяну. Взял его и растянул меха. Потом начал тихо-тихо играть протяжную мелодию, в которой чувствовались и грусть покоя, и строгие нотки. Точь-в-точь так бывает утром на реке, когда туман поднимается над зеркалом застывшей воды.

— Что это за мелодия? — спросил я.

— Эта мелодия, — сказал «Усач», — родилась после одного боя. Давно это было. Он, — Ленкин указал на баяниста, — назвал ее «Утро на Днестре». Почему на Днестре, когда бой был вдалеке от реки, и не от Днестра, а от Буга? Мы все предлагали назвать эту мелодию «После партизанского налета», но он не согласился. А он автор. Возражать тут не приходится.

Автоматчик играл и, казалось, не обращал на нас внимания. Ленкин вдруг оживился и, повернувшись ко мне, сказал:

— Эта мелодия родилась после интересного боя. Я расскажу тебе. Это было под Бяла Подляска. Там находился крупнейший немецкий аэродром транспортной авиации: 40 шестимоторных самолетов и 100 трехмоторных «Юнкерсов». Рядом — лагерь военнопленных на 200 человек. Три полка пехоты в охране разбросаны по деревням вокруг аэродрома.

Нашу дивизию после боев кольцом окружали вражеские части. По ночам кругом возникали пожары; немцы опоясывали дивизию мертвой зоной. Впереди на север лежала железная дорога. Ее надо было форсировать, не теряя же силы в окружении — прошло то время. И вот западнее этой Подляски третий полк начал форсировать дорогу. Другая часть с дивизионом начала переходить дорогу ближе к Подляске. Поезда на этой дороге ходили через каждые тридцать минут. Моя

разведка заняла переезды. Перебили немецкие патрули и начали закладывать в полотно мины. Смотрим — идет поезд. Мина взорвалась и разорвала поезд пополам. Полпоезда пришло на группу Петровича, другая половина осталась мне. Смотрим — на платформах танки. Мы ударили по ним из пушек. Петрович тоже ударил по своему полпоезду из пушек. Платформы загорелись, с них открыли стрельбу. Кавалерия моя бросилась к тан-



Командир партизанского кавэскадрона Николай Гапоненко, погибший на бугском мосту

кам с гранатами. Пока ударные группы дивизии добывали поезд, дивизия форсировала дорогу. И вдруг весь воздух загудел авиадвигателями. Над железной дорогой появилось множество самолетов. Столько я и не видел за время войны. Они ярсами ходили с зажженными огнями, кружась над нами. Ну, думаем, вот дадут сейчас нам жару! Но самолеты не бомбили. И лишь потом мы узнали — почему...

Всюду появились мелкие группы противника. Мы уничтожили их и продвигались далее на север. Третий полк и все другие подразделения встретились в имении Рогожница, которое управлялось немцами. Здесь мы перебили около ста человек охраны и освободили 200 пленных. Они лежали на соломе за проволо-

кой, все были обуты в деревянные ко- лодки.

В двухстах метрах от имения проходи- ло шоссе Москва—Варшава. Нам здесь гостивлась лодушка. Немцы подтянули на это шоссе бронемашину, и те открыли огонь. Но как только ударили по ним пушки, они отскочили, а мы, не теряясь, взорвали мост и отрезали их от себя.

На следующий день мы были уже дале- ко. Самолеты летали десятками, разыски- вая нас, но обнаружить дивизию им не удалось. Наши конники захватили на до- роге легковой автомобиль с немецким офицером, и тот на допросе сказал, что партизаны спугнули с аэродрома более ста пятидесяти самолетов. Они поднялись столь поспешно, что не успели захватить бомб, и пробыли в воздухе до утра, боясь сесть на летное поле. Вот какое было де- ло. Он сложил эту мелодию после того боя.

— Эх, — сказал «Усач», — если бы до- браться до настоящей Германии!

10. «10 ПЛЮС 2» И «12 МИНУС 9»

Через день кавалерийский дивизион выступил по направлению к штабу дивизи- ии.

— Вот тебе и марш, — сказал «Усач», — снимай, сколько душе угодно.

Через несколько часов лавина всад- ников втянулась в хутор. Яшка показал «Усачу», где готовится торжество — вру- чение орденов. Командиры эскадронов начали строить свои подразделения в виде квадрата. Мы с «Усачом» вошли в хату Петровича. В просторной комнате на лавках сидело много народа. Когда мы вошли, все замолчало. Присутствовали здесь: начальник штаба дивизии, началь- ник особого отдела и командиры всех трех полков. Но были и чужие. Меня уди- вило общее молчание. По прежнему опыту я знал, что когда все в сборе и молчат, значит, в соединении случилось что-то важное.

Мы поздоровались. Ленкин обвел всех выкатившимися из орбит глазами и мед- ленно повел нагайкой по полу. Петрович встал из-за стола и, подойдя ко мне, ска- зал:

— Для газеты интересный материал есть. Вот видишь, — показал он на разно- шерстно одетую группу мужчин, — немцы заслали в дивизию разведку. Мы были предупреждены о ней и ловили их по- одиночке, пока не поймали всех двена- дцать. Девять из них уже получили «по заслугам», осталось, как видишь, трое.

Пленные рассказали, зачем их немцы послали в лесную деревню. Немцы дали

своим разведчикам пароль «10 плюс 2» и списки сел, которые нужно разведать. Эти списки они приказали зашить в под- кладке.

— Давайте, садитесь, — сказал Петро- вич, — будем немцам писать разведыва- тельную сводку. отошлем ее с этими обормотами.

«Усач» смотрел на немецких разведчи- ков. Он молчал, поглядывая то на них, то на Петровича.

Все сели за стол. Писарь дивизии вынул из кармана походную чернильницу, и Петрович начал диктовать. Сидящие во- круг него вставляли замечания, перефрази- ровали сказанное им и иногда громко смеялись.

Наконец, писарь поставил последнюю точку и передал написанное переводчику. Тот раскрыл машинку и переписал по- слание по-немецки. Копии были вручены всем разведчикам. Затем им завязали гла- за и, вывезя за пятнадцать километров от штаба дивизии, выпустили.

Немецкие шпионы понесли своему на- чальству следующее письмо:

«Справка. Настоящим удостоверяет- ся, что тайный агент гестапо Домбров- ский был направлен гестапо по заданию и с паролем «10 плюс 2» в ряд сел. Сек- ретный список сел, зашитый агентом в подкладку, нами прилагается. В этих се- лах Домбровский должен был собрать о нас подробные данные для гестапо, после чего — возвратиться к начальнику не- мецкой разведки. По независящим от не- го причинам к сроку явиться не мог.

Уточняя вопрос о селах, указанных в секретном списке гестапо, подтверждаем, что эти села существуют, в чем можно убедиться, взглянув на карту. В этих се- лах мы действительно дислоцируемся.

Все интересующие гестапо материалы о нас, включая ряд добавочных, как, на- пример, количество убитых нами немец- ких захватчиков, подорванных мостов, пущенных под откос эшелонов с немец- кой живой силой и техникой, разгромлен- ных немецких частей и подразделений гестапо, жандармерии и полиции, нами подготовлены.

В любое время ждем гестапо и немец- кие воинские части, чтобы передать этот материал лично, причем интересующие гестапо вопросы о количестве и качестве нашего вооружения, боеспособности, люд- ского состава и тому подобном — проде- монстрируем на деле.

Агенту гестапо Домбровскому, направ- ляющемуся в гестапо с этим письмом, оказывать самое широкое содействие и не задерживать его ни в заставах, ни в караулах.

Его пароль «12 минус 9».

Советские партизаны».

Ковпаковцы смело могли писать это — их дивизия собиралась сниматься со старых мест.

Перед обедом конники, штабные подразделения, часть бойцов из полков, вернувшихся с диверсий и не получивших ранее награды, были построены, и состоялось вручение орденов и медалей.

Начальник штаба дивизии Василий Александрович Войцехович и командир дивизиона конников Александр Николаевич Ленкин получили ордена Ленина. Все конники получили награды, за исключением их начальника штаба Семена Тутученко. Он, нахмурился брови, стоял на своем месте, и все видели, что он обижен.

На обеде Петрович сказал:

— Архитектор, не грусти. Не в традициях ковпаковцев унывать. По секрету скажу тебе, начальство представило тебя к званию Героя Советского Союза.

После обеда все быстро разъехались, и на штабном хуторе стало тихо.

11. ПОСЛАНИЕ КАРПОВНЫ

Под вечер на хуторе было как-то особенному тихо. В кустах на полянке, у копны сена, собрались ординарцы штабных командиров. Поляк обучал одного из них игре на трофейном аккордеоне. Потом, видимо, наука надоела ординарцам, и поляк начал играть унылые свои песни.

На завалянке сидели Петрович, Клейн, Войцехович и я. Все молчали, вслушиваясь в мелодию.

— Вместе с ним, — показал Петрович Клейну на меня, — полетишь в Киев, получишь орден Ленина, Золотую Звезду и партизанскую медаль. Разведку оставишь на Карповну. Она придет?

— Да, уже должна быть здесь, — ответил Клейн.

Через несколько минут на рыжей лошадке в седле подъехала Карповна.

Петрович поставил перед ней задачи по разведке. На карте он показал ей города и крупные населенные пункты, имения и фольварки, которые интересовали дивизию.

Карповна высказала свои соображения и потом, когда беседа была закончена, спохватилась и достала из кармана письмо.

— Попрошу вас, — обратилась она ко мне, — тот полковник, к которому я ходила, теперь воюет на советской стороне. Не сможете ли передать ему письмо?

Она передала мне письмо, в котором говорилось:

«Господин полковник! Вы, наверное, уже не помните той партизанки-парламентера, которая приходила к вам в местечко Х. Вы тогда грозили ей расстрелом, но постарались быстро отправить ее из Х,

боясь за ее жизнь. А я вас помню, очень часто вас вспоминаю. Таких хороших людей, как вы, на свете мало. Узнала, что вы перешли на сторону советских войск, и решила вам написать. После Х я вместе с нашим отрядом была в Карпатах, теперь в Польше и попрежнему жива и здорова. Если вас будет интересно, то я вам напишу об этих рейдах подробнее, а интересного очень много, но только



Командир 1-й Украинской партизанской дивизии имени Дважды Героя Советского Союза генерал-майора С. А. Ковпака Петр Петрович Вершигора — Петрович

тогда, когда получу от вас ответ. Пишите по адресу полевая почта номер... Пишите, жду. Привет от Андрея Сакса, вашего шофера, за которым я теперь замужем. С партизанским приветом Александра Карповна Демидчик».

Я взял письмо Карповны. Кто знает, может быть, мне удастся встретиться где-нибудь на фронте с тем полковником, и я смогу передать письмо. Будет его ответ, будет его фото, будет для газеты интересный материал.

12. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ГОСТЯХ У КОВПАКОВЦЕВ

Этот день я провел у пушкарей, как здесь зовут артиллеристов. Пушки изредка постреливали, расположившись на опушке леса.

Потом прибежал радист к командиру батареи и сунул ему радиogramму: пехота просила прекратить огонь. Немцы разбиты и бежали с поля боя. Мне удалось снять несколько кадров у артиллеристов, трофейное оружие, принесенное с поля боя, и мы уехали обратно в штаб.

В штабе капризничала радиостанция, радисты вынесли ее на улицу, и штабные работники пытались поймать Москву. Я сидел у окна хаты Петровича и записывал рассказы артиллеристов. Вдруг у радиостанции начали аплодировать. Я не знал, что там происходит, и, побуждаемый журналистским любопытством, бросился к группе командиров. «Контакс» висел у меня на шее, приготовленный к съемке. Я снял командиров, окружавших радиста, у которого за плечами висела радиостанция.

— Здорово! — крикнул Войцехович.

— Что случилось? — спросил я.

— Англичане и американцы высадились в Нормандии, — радостно улыбаясь, говорил он. — Теперь немцы попадут в тиски.

— В честь этого, — сказал Петрович, — надо бы сегодня еще раз ударить. Вася, у первого полка под боком немецкий гарнизон. Прикажи, чтобы снесли его с лица земли.

— Передавай, — сказал начальник штаба радисту, — передавай приказ.

Радист передал в первый полк на имя Бакрадце несколько шифрованных строк.

В имение, расположенное рядом с кавалерийским дивизионом, приехала немецкая карательная экспедиция. Конники узнали об этом и атаковали экспедицию. Но подходы к имению были открыты, и немцы, заметив конную лавину, открыли по ней пулеметный огонь. Несколько человек упали с коней, и кони, сдружившись со своими хозяевами в боях, остановились над убитыми.

Два часа длился бой. Немцы были изгнаны из парка и укрылись в постройках, но и постройки постепенно захватывались смельчаками. Конюшня была занята, амбары тоже. Оставался барский дом. В него проникли партизаны-автоматчики. Победа была уже почти в руках. Очищая комнату за комнатой, Тутученко с группой автоматчиков дошел до спальни управляющего имением, из которой отстреливался немецкий майор. Архитектор ударил сагогом в дверь и дал длинную очередь из автомата по кроватям и дивану. Спальня молчала. Тутученко перешагнул порог, и тотчас же из-за шкафа прозвучал выстрел. Тутученко упал. Заметив у шкафа сапоги, Тутученко снова выстрелил. Немец схватился за ногу. Тогда Тутученко выстрелил третий раз и убил немца.

Затем архитектор вынул из кармана врага документы и, увидев в дверях «Усача», почувствовал, что силы его оставляют. В сапогах его хлюпала кровь. Тутученко присел на белое покрывало кровати, по которому поползло красное кровавое пятно.

Начальника штаба конников уложили на барскую прележку, постелили перины и подушки, запрягли пару выездных рысаков и отправили в штаб к Петровичу, в походный госпиталь. «Усач» похоронил в парке убитых и повел своих бойцов за шестьдесят километров от места боя. На следующий день он дрался с немцами под стенами польского уездного города, а еще через сутки — атаковал вражескую колонну на шоссе. Расстреляв ее, он вернулся к месту стоянки.

— 124 немца за каждого нашего конника набили мои казаки, — докладывал он Петровичу.

— Добре, — сказал Петрович. — Добре. Тутученко ранен в ногу и полетит в киевский госпиталь, — сказал он задумчиво.

О чем думал Петрович в эту минуту?

Может быть о том, что с каждым боем рдеет старый костяк дивизии, а может быть мысли его были те же, что и мысли «Усача». Ленкин громко сказал:

— Если в ногу ранен, то, возможно, и лететь ему не след. А? Будем возить его на перинах, а там, глядишь, и заживет рана. А?

Петрович молчал.

— Я пойду к нему, — сказал «Усач» и раскрыл дверь. За ним волочилась, точно змея, его черная ременная плеть. — Пошли, — кивнул он мне, и через десять минут мы были в палатке партизанского госпиталя.

Скрипниченко сразу понял, зачем мы пришли. Он повел нас в тень кустов, и мы увидели на рессорной тележке лежащего Тутученко. Нос его заострился, словно кто затесал его топором. Глаза смотрели вверх, на небо. Около его головы лежала самодельная кавалерийская фуражка.

— Ну, как? — спросил «Усач».

— Ничего, — ответил Тутученко.

Они помолчали.

— Больно? — спросил «Усач».

— Больно, — ответил Тутученко.

Опять наступило молчание.

— Хорошо бы тебе не лететь, — сказал «Усач», — неизвестно, к каким врачам попадешь. Дома-то легче бы тебе было. А?

— Конечно, здесь лучше бы остаться, — сказал Семен Павлович. — Только вот он, — указал он глазами на Скрипниченко, — настаивает на Киеве.

— В Киев, — категорически сказал хи-

руг, — здесь ему никак нельзя. Я сделал все, чтобы он хорошо долетел до Киева.

— Ну, как дела у нас? — спросил больной.

— Хорошо, — ответил «Усач» и стал глядеть в сторону, — мы, того, за тебя и за других хлопцев малость покуролесили.

— Хорошо, — сказал Семен.

— Так что в среднем за одну нашу душу по 124 головы немецких посрывали.

— Далеко ходили? — спросил Семен, не поворачиваясь, а только скосив большие свои глаза.

— Нет, не особо, на шоссе да под городок, Скрипниченко, — обратился он к хирургу, — может, уладим? Не посылай ты его в Киев, он в тоске по дивизиону сохнуть будет.

— И не говори, — сказал хирург, — не говори, обязательно в Киев полетит.

— Эх, — сказал «Усач», и крупная слеза покатилась по его щеке.

Тутученко смотрел на своего командира, не мигая. Его глаза тоже стали влажными, но он, видимо, хотел отделаться от нахлынувшей на него минутной слабости, повернул голову ко мне и сказал:

— Спасибо, что пришел. Хорошо, что снял живого Петра, а то чуть не ушел на тот свет вместе с немецким майором, — он улыбнулся одними глазами. — Вот только на телеге чувствуешь, как сильно жить хочется. Вот, кто умирает в полном сознании, да победив при этом, да молодой еще вдобавок, то, наверно, чувствует себя самым несчастным на свете.

— Не след, Семен, вести такие речи, — сказал серьезно Ленкин, — начинали мы с тобой в Брянских лесах — пришли к Висле. Немцу капут в этом году будет. Не для того столько страдали, чтобы умирать. Ей-богу, мы с тобой будем жить, я в это вот так верю, — и он вскинул свои глаза на выкате к небу. — Эх, народ темный, — сказал он, смотря на хирурга, — ей-богу, Семен в Киеве от тоски увянет...

Хирург взял нас под руки и вежливо повел от Тутученко.

Материалы о действиях партизан были собраны. Петрович запросил Киев по радио, приехал ли Ковпак. К вечеру получили ответ, что Ковпак будет в Киеве через два дня. Надо лететь!

Распрощавшись с друзьями, мы тронулись на тачанке к аэродрому. Рядом со мной сидел хирург Скрипниченко в новом мундире и Клейн, Сзади, в барской пролетке, дремал на перинах Тутученко.

13. ДНЕПРОВСКАЯ СТАРИНА

Рессорная тачанка убажкивала нас, и мы через час пути начали было дремать. Скрипниченко изредка посмаривал на-

зад, на пролетку раненого Тутученко. Лопатки архитектора не отставали от нас.

Раза два пролетка Тутученко подпрыгнула на горбатых сосновых корнях, и до нас долетел тихий сдавленный стон. Мы знали, что больному тяжело, что он обладает нечеловеческой волей, и если застоял, то, значит, боль действительно невыносима.

Стон Тутученко спугнул нашу сонливость. Где-то в стороне от дороги раздались два выстрела, в кустах на минуту смолкли птицы, и попрежнему над лесом



Начальник разведки партизанской дивизии
Роберт Александрович Клейн

звучали серебряные голоса бубенчиков. Мне хотелось узнать историю Клейна, недавно получившего звание Героя Советского Союза.

Он сидел со мной рядом в кителе немецкого полковника, и только красноармейская фуражка выдавала в нем партизана.

Мы сидели молча. Я заговорил первым: — Рассказали бы, Роберт, как вы сделали Героем?

Он странно посмотрел на меня и Скрипниченко и, чувствуя, что я все равно рано или поздно узнаю о нем, начал рассказывать. Говорил он скупко, как будто докладывал о проведенной операции, иногда упоминая часы событий. Вот что я

узнал о Роберте Клейне по пути на аэродром.

Партизаном он стал во второй половине войны. Вместе со своими друзьями оперировал на правом берегу Днепра. Работали исключительно на автомобилях. Мундир немецкого полковника помогал Роберту Клейну пробираться в такие места, куда не мог зайти ни один храбрый диверсант. Они останавливали на дорогах автоколонны, били водителей и жгли машины. Но не за это Клейн получил звание Героя Советского Союза. Он отличился на Днепре и за это отличие награжден.

— Это было уже давно, — сказал он, — теперь это дело стало днепровской стариной.

Отряд, в котором он работал, перебрался с правого берега на левый и ждал прихода Красной Армии. В отряде был умный командир Тканко (получивший звание Героя Советского Союза вместе с Клейном). Они правильно предположили, что первыми к Днепру прорвутся танки. А раз они прорвутся, то, естественно, воюя в отрыве от своих баз, будут нуждаться в горючем.

И танки пришли. Они заправили в баки 150 тонн бензина, подготовленного партизанами, и танкисты начали беспокоиться о переправе на тот берег. У воды, в кустах, партизаны с танкистами приступили к разработке операции по захвату у немцев переправы.

Тканко и Клейн пришли к выводу, который поддержали и танкисты, что переправу надо захватить без боя. Для этого оба выехали вперед на легковом автомобиле. Они подъехали к переправе; Клейн вышел из машины и приказал Тканко, который сидел за шофера, встать в стороне. За новоявленным немецким полковником приехал немецкий грузовик с автоматчиками.

Когда Клейн вылез из автомобиля, начальник немецкой охраны отдал ему честь. Клейн подождал его и строго сказал:

— За Днепр не пропускать ни одной машины. Отступающая наша армия должна окопаться на левом берегу и поджидать резервов.

Автоматчики из отряда Тканко и Клейна, одетые в форму немецких солдат, заняли места охраны на переправе. Они не подпускали к себе ни солдат, ни офицеров. Как только те начинали приближаться, строго кричали: «цурюк» и поднимали автоматы.

Вскоре показались первые грузовики отступающей немецкой армии. Они хотели проехать на тот берег, но Клейн приказал командирам окопаться на левом бе-

регу, закопав и замаскировав от советской авиации машины. Те беспрекословно послушались старшего по чину. Потом, сколько бы ни приходило автомашин с немецкими солдатами, они не пропускались на правобережье, где их ждали заранее подготовленные укрепления.

Но вот на переправу приехал немецкий генерал. Он увидел чудовищную картину; армия была задержана. Взбешенный, он набросился на Клейна. Генерал кричал:

— Вы предатель, губите армию!

— Я действую по приказу фюрера. Я его уполномоченный. Мне велено задержать отступление, — сказал Клейн.

— Я вас расстреляю, предатель! — крикнул генерал.

— Именем фюрера! — вскрикнул Клейн и выстрелил из пистолета в генерала. Присутствовавшие при этом немцы окончательно убедились, что перед ними полковник, облеченный неограниченной властью.

Шесть часов Клейн с Тканко и своими автоматчиками удерживали переправу. Они видели, что бой стремительно приближается к реке, и вот-вот должно появиться командование немецкой армии. Надо было уходить. Клейн отдал приказание немецкому начальнику переправы не пропускать ни одной машины и ни одного человека на тот берег, снял своих автоматчиков и под предлогом осмотра занятых войсками позиций на левом берегу уехал.

Они не застали танкистов в расположении своего отряда. Те получили по радио приказ спуститься вниз по течению и переправиться по другой, захваченной к этому времени переправе. Тогда на «свою» переправу партизаны вызвали авиацию, и летчики устроили немцам настоящую мясорубку.

Клейн родился на Волге. Жена и дочь его живут в Ульяновске. Двенадцать лет прослужил в Красной Армии, был танкистом. Во время войны, зная хорошо немецкий язык, он начал работать на диверсиях. А потом сдружился с командиром партизанского отряда Тканко и пошел с ним гулять по тылам немцев.

В партизанах его приняли в кандидаты партии, и теперь он ехал в Верховный Совет Украинской республики получать самую высокую награду.

Приехали на лесной аэродром под вечер. Здесь царил обычное оживление партизанской посадочной площадки.

Горели костры, около них, в загонах, сделанных из березовых жердей, стояли коровы и овцы. Пять раненых, обложенных подушками, ждали самолета. Была звездная ночь. И вдруг в темноте неведомо откуда взявшийся самолет начал кру-

жится над аэродромом. В лесу раздался крик:

— Немец! В окопы!

Костры были быстро потушены, все бросились к окопам. За первым самолетом появилась вторая. Завыл и загрохотали бомбы. Лес молчал. Самолеты отбомбились и улетели.

Как только звук моторов стих, на аэродром высыпало человек сто партизан. С карманными электрическими фонариками начали осматривать посадочную площадку. К счастью, она оказалась нетронутой.

Через час после бомбежки над нами снова зажужжал самолет. По лесу раздался новый крик:

— Разводи костры, наш!

На поле загорелось несколько костров, и «Дуглас», включив два прожектора, пошел на посадку.

— Как вы отличаете свои самолеты от немецких? — спросил я у Скрипниченко.

— Очень просто, — ответил он, — по звуку моторов.

Самолет сел. Командир корабля после разгрузки, как и в ночь моего прилета в дивизию, крикнул:

— Раненых, быстро!

Погрузили раненых, несколько туш скота, бидоны со сметаной для киевского партизанского госпиталя, тюк писем. Потом сели мы.

Самолет снова зажег прожекторы на крыльях, и через несколько минут мы уже плыли в ночном небесном океане с запада на восток, где виднелись первые признаки нового утра.

Тутученко спал, не спали Скрипниченко, экипаж и я. Самолет пилотировал заслуженный партизанский летчик Тараненко. О нем стоит, пока он ведет самолет из Польши в Киев, коротко рассказать.

14. ПАРТИЗАНСКИЙ ПИЛОТ

Он невысокого роста, но партизаны в тылу врага всегда любят его, когда он появляется в двери самолета опрытно одетый, с открытой головой. Всю войну Тараненко водит двухмоторные самолеты с толлом, патронами, снарядами, пушками в тыл к немцам и оттуда привозит раненых партизан.

Казалось бы, нет ничего проще, как под завесой темноты проскочить через линию фронта и, выйдя в условленное место на условные сигналы, сделать посадку за заранее подготовленную, хорошо охраняемую площадку. Но так кажется только с первого взгляда.

За линией фронта в ночном воздухе немецкие истребители ищут голубые выхло-

пы моторов, а звук тех же моторов ищут звуколовители, прожектора и зенитные пушки. Но это еще не все. В районе партизанских площадок расставлены ловушки врага — такие же площадки с сигнальными кострами. Спасает только строго условленный сигнал. Он укажет, где свой, а где вражеский аэродром.

Много интересного было у Тараненко за войну. Он первый из советских летчиков прокладывал дорогу на земли Польши, первый делал там посадку и первый оказал помощь родственному по оружию экипажу самолета Британских королевских воздушных сил, загоревшемуся в районе Варшавы.

Это случилось весной нынешнего года. Тогда вся Польша была в руках немцев. И только советские партизаны — первые ласточки скорого освобождения — начали действовать на территории забугских земель.

Экипаж английского «Галифакса» ночью выполнял задание над Польшей. Немецкий истребитель незаметно подкрался к нему, из пушек разбил оба мотора и зажег бомбардировщик. Англичане оставили самолет и приземлились с парашютами.

Незнание языка и постоянная угроза быть схваченными заставила летчиков прятаться в оврагах и рощах. Так они бродили неделю и однажды были пойманы и приведены в лесной лагерь советских партизан, действующих между Бугом и Вислой.

Излишне говорить о том, как английские летчики радовались своему спасению. Они включились в работу отряда и воевали как рядовые партизаны.

Командир отряда сообщил о них в Киев, и когда оттуда пришел ответ, англичане прослезились. Они не верили, что за ними, потерпевшими бедствие над чужой страной, Советское правительство пришлет самолет. В расположении отряда приземлился с парашютом офицер связи, авиационный специалист Валерий Шеловский. Он разыскал подходящую площадку и вызвал по радио «Дуглас».

И вот Василий Кириллович Тараненко спешит к своим братьям. Он пробивается в Польшу через весенние дожди, на бреющем полете пролетает линию фронта и, идя ломаными курсами, прилетает в расположение отряда.

Он сел в рожь, так как Шеловский выbral площадку на поле. Из самолета выгрузили мины, минометы, погрузили раненых и четырех англичан.

Взлет оказался трудным. В самолете все трещало, такое было неровное поле. Англичане никогда не видали подобного взлета и во время разбега самолета стоя-

ли, подняв сверху скрещенные кисти рук, безмолвно молясь о благополучном отрыве от земли.

Когда в Киеве Тараненко сделал посадку, командир «Галифакса», выйдя из самолета, все еще не верил, что его экипаж в Киеве. Ему казалось невысказанным, что с той «ржаной» площадки можно подняться в воздух «Дуглас». Он качал головой, когда осматривал забытые колосьями ржи радиаторы.

Они выразили Тараненко свое восхищение его искусством пилотирования, хотя сами пятьдесят один раз летали во вражескую Германию, бомбили Берлин, Гамбург, Эссен.

Гостей повезли в город, сводили в баню, накормили, и они, счастливые, рассказывали, как им понравились советские партизаны.

Сначала, попав в наш отряд, они думали, что их привели к немцам. Партизаны были одеты в немецкую форму. Их поражала стойкость людей, пренебрежение к трудностям и опасностям, дисциплина пестро одетых советских партизан.

Первое время англичан мучил холод лесного лагеря. Их удивляло, как русские могут всю войну биться с немцами в таких нечеловечески трудных условиях. Они долго не верили, что за ними прилетит самолет, что их вывезут и что они вновь увидят Англию. Но потом поверили, что о них знает Большая земля, которая готовит самолет.

Когда их поместили в киевскую гостиницу, они долго не выходили на улицу. Партизаны поняли причину. Гости стесняются своих износившихся мундиров. Тогда их одели с иголочки. Они с удовольствием гуляли по городу, бывали в концертах и, попрощавшись с Тараненко и его экипажем, улетели в Москву.

И вот сейчас, в который раз, Тараненко благополучно возвращается из тыла врага. Он ведет самолет бреющим полетом, проскальзывает линию фронта, набирает 500 метров высоты и идет на утреннюю зарю.

Киев спит. Под крыльями пустыне улицы. На утренний город зачарованно смотрят Клейн и Скрипниченко. Тутученко старается приподняться, тоже хочет взглянуть на столицу своей родины, но адская боль валит его в подушки.

Приземление. Выгрузка. Посадка в автомобили раненых и здоровых, и мы несемся в утренней прохладе в столичный город.

15. У КОВПАКА

Было утро, и Ковпак, наверное, еще спал. Я остановился у бывшего заместителя «деда» по артиллерии, майо-

ра Анисимова. Он принял радушно, и вскоре начались воспоминания о партизанской жизни на правобережной Украине. Анисимов пять раз бежал из немецкого плена и в последний раз увел из конопского лагеря военнопленных Сумской области 60 советских офицеров. В этой группе был и Давид Ильич Бакрадзе. Все они попали к Ковпаку и остались с ним воевать. Анисимов командовал партизанской артиллерией. Его пушки прошли в тылах немцев более 15 тысяч километров. Теперь он работал в партизанском штабе.

— Ковпак приехал вчера, — сказал майор, — часа через два его можно будет увидеть в Доме отдыха.

Дом отдыха партизан помещался на базаре в конце улицы имени Ворошилова. В дверях сидел партизан-автоматчик. Он спросил меня — откуда и зачем я прибыл и пропустил на второй этаж.

Сидор Артемьевич стоял посреди комнаты без кителя, в белой рубашке, в генеральской фуражке, в очках и раскладывая по столу и постели какие-то бумаги. Он повернул ко мне голову и, смотря на меня поверх очков, сказал:

— Прилетел, живая душа? Ну заходи говори, что в дивизии видел.

Я рассказал, что делается в дивизии, ответил на все его вопросы, и он начал снова сортировать документы.

— Вот привез бумаги о первых днях партизанской жизни.

Когда бы я ни встречался с ним, я неизменно застававал его за каким-нибудь делом. Победы ему доставались большими трудом, кропотливой работой. Многие партизаны говорили, что он родился в сорочке, что ему сопутствует в жизни счастье. Но счастье не приходит само, его делают.

Разбирая бумаги, Ковпак изредка задавал мне вопросы и, прочитывая документы, искал для них место на кровати.

Помню, когда фронт был еще в районе Сталинграда, я прилетел к нему в январские морозы 1943 года на озеро Червоное в Белоруссию. Ковпаковское соединение готовилось тогда к грандиозному рейду по правобережной Украине. Меня привезли на санках, замерзшем прямо в его избу. Он сидел в опрятной хате и рассматривал огромную карту. Синяя ленточка цветной туши вилась по ней почти из-под Москвы на юго-запад, пересекла реки Десну, Березину, Днепр, Припять и уходила в леса Белоруссии. С боков этой линии всюду были нарисованы поезда, танки, бронемашины, железные дорожные мосты, самолеты и немецкие солдаты.

В бараньей шубе Ковпак походил в русского боярина. В руках он держал карандаш, которым лесники делают пометки

на срезах деревьев, и длинную, толстую папиросу, равной которой я не видел за войну.

— Вот это и есть наш маршрут по тылам врага, — сказал он, показывая на синюю ленточку на карте.

— А что обозначают эти картинки? — указал я на нарисованные мосты, поезда и другие вещи.

— Каждая такая картинка, — сказал он, — изображает собой бой или диверсию моего соединения. Когда мы в рейде, мы для немцев становимся очень опасными. Соединение неуловимо. Ищем их мы, а не они нас.

Но Ковпака немцы отлично знали и тогда. Об этом свидетельствовали листовки и допросы пленных солдат и офицеров противника. Ковпак брал в ту пору города Путивль, Лоев, разгромил гарнизон в Лельчицах, пустил 50 эшелонов под откос. За 12 часов боя партизаны Ковпака в местечке Лельчицы убили более пятисот немецких солдат и офицеров, взяли склады с обмундированием, продовольствием, много пулеметов и другого оружия. Именно ковпаковцы взорвали все мосты в сарнском железнодорожном узле, воевали под Киевом; его диверсанты на коммуникациях немцев взорвали пять крупнейших мостов.

Немцы старались разгромить его. Они бросали на него роты, батальоны, полки и дивизии, танки и бронемашины. Но каждый раз поле боя с подбитой немецкой техникой оставалось за Ковпаком.

В прошлом году я прошел с войсками Ковпака по тылам немцев около тысячи километров. На протяжении всего маршрута не было тогда дня, чтобы ковпаковцы не вели боя. В его соединении был железный закон: в любом количестве немцы должны уничтожаться ежедневно. Перезжая железнодорожные пути, артиллерия Ковпака, которой командовал майор Анисимов, прямой наводкой разбивала паровозы, останавливала поезда и уничтожала их.

Тогда я поражался неутомимости в марше и в бою такого пожилого человека, как Сидор Артемьевич. Он не спал по две три ночи подряд, а если спал, то только в своих высоких санях на марше. Когда его соединение связывало бой, Ковпак сходил с саней и шел к партизанским цепям. Его нагайка в бою часто поднималась и грозила в сторону немцев, указывая путь автоматчикам-партизанам.

Ни пожилой возраст, ни третья война, во время которой отстаивались свобода и честь отечества, не сломили его сил.

Ковпак родился в 1886 году в слободе Котельва, Котельвского района, Полтавской области. С 12 лет работал мальчиком

у местного торговца. В 1909 году пошел на службу в солдаты, а демобилизовавшись с действительной, подметал трамвайные вагоны.

В 1914 году Сидора Артемьевича призвали на войну. Он стал разведчиком. Романтика боя захватывала молодого солдата. Он зорко высматривал врага за линией своих войск. Так он сделался известным лазутчиком, и всегда, после выхода



Сидор Артемьевич Ковпак. Снимок сделан в 1943 году в марте месяце в тылу врага на правобережной Украине

на разведку, приносил ценные сведения или приводил «языка».

Два георгиевские креста и две георгиевские медали украшали его грудь.

Мировая война кончилась. В России разгорелась гражданская война. Ковпак пришел в свою слободу. Старому солдату не сиделось в уютной хате. Он собрал односельчан и выступил против белых. После нескольких боев молодого командира партизанского отряда заметил Александр Яковлевич Пархоменко. Так открылась новая страница в жизни Ковпака.

Красная Армия отступала к Царицыну. Пархоменко направил Ковпака в Уральск к Чапаеву. Комдив назначил его помощником начальника команды по сбору ору-

зия. Но воевать вместе с Чапаем Ковпаку пришлось недолго. Он был переброшен под Перекоп. Здесь он участвовал в разгроме Врангеля, и когда кончилась гражданская война Ковпак ушел на мирную работу.

Отечественная война застала Сидора Артемьевича в городе Путивле. Он работал председателем горисполкома. Немцы подходили к городу. Старый русский солдат и коммунист собрал 30 человек и ушел в леса. Эти тридцать и положили основу нынешней овечьей славой партизанской дивизии.

Мимо Путивля моторизованные войска врага рвались на северо-восток. Ковпаковцы подбивали отстающие автомашины и солдат.

— Воевали по тихой, — рассказывал он о первых днях жизни своего отряда, — воевали и мечтали о толе, пулеметах и пушках. Этого у нас тогда не было. Перед нашим лесом лежало минное поле, поставленное Красной Армией. Сколько там было тола!

Ковпак закручивал свою огромную папиросу и, прищурившись, говорил:

— Мы разминировали то поле и поставили мины на шоссе. Мы не спали ночи, прислушиваясь к ночному шуму. Раздался взрыв. Это значило, что в воздух взлетела машина, и партизаны от радости кричали.

К первым тридцати присоединился еще один маленький отрядик. 74 партизана уже представляли силу. Они нападали на мелкие гарнизоны и свободно начинали выходить на шоссе. С тех пор у отряда и выработалась его тактика непрерывного движения по вражескому тылу и внезапного выхода к немецким гарнизонам и оборонным объектам.

Ковпак первым в тылу врага повел свой отряд в рейд. Он открыл новую страницу в партизанском движении. Рейды — это была новая тактика партизанского движения. Десятки отрядов, восприняв его опыт, водили и водят до сих пор свои войска в тылу врага. Немцы в лице Ковпака видели командира необычной армии, действующей за линией фронта.

— Да, — сказал Ковпак, разглядывая какую-то пожелтевшую бумажку, — интересное было время. Сколько пережито...

Он закончил разборку, и только было я хотел просить его описать легендарный поход в Карпаты, как он надел гимнастерку без погон и сказал:

— Пойдем на базар, купим клубники.

Мы вышли из дома и, перейдя дорогу, очутились на шумной киевской толкучке. На столах стояли сотни корзин с ягодами. Женщины, как только к ним подходил Ковпак, улыбались и говорили:

— Сидор Артемьевич, попробуйте моей-то.

— Мабуть, она плоха? — смеясь, говорил Ковпак.

— Ни, шо вы, лучшая клубника, — женщина насыпала кулек ягод и передавала Ковпаку. Но как только «дед» начинал доставать деньги, женщина делала строгое лицо и уже обидчиво говорила:

— Хиба я возьму с вас! Сын-то мой с вами воевал.

И «дед» знал, что нет такого красноречивого человека на свете, который уговорил бы партизанскую мать взять за клубнику деньги.

Мы сели на пороге крыльца Дома отдыха — это любимое место «деда» — и начали есть клубнику. Ковпак молчал. Я знал, что он думал в это время. Он подтвердил это вопросом:

— Наверно, неспроста прилетел? А? Со знайся, — сказал он, — писать будешь?

— Нет, — сказал я, — писать вы теперь будете. Нужна ваша статья о карпатском рейде.

— О Карпатах? Хорошо, — сказал он, — вот как ее только писать-то? В горы лезть куда легче было, чем об этом рассказывать.

Он молчал и смотрел на автоматчика. Тот тоже смотрел на него.

— Поправь ремень, — сказал Ковпак автоматчику, — не видишь, молодаяки ходят мимо.

Тот спохватился и начал быстро поправлять ремень.

Вот и не придумаю, как ее писать статью-то, — сказал «дед» озабоченно. — Да и времени много уйдет на нее, а у меня тут, как на грех, еще правительственное задание. Что же делать? А? Аж клубнику не хочется есть!

Он говорил, глядя мне в лицо.

— Надо писать, — сказала я.

— Писать, писать, сам знаю, что надо писать... — сердито сказал он.

С базара пришел Базима, старый начальник штаба Ковпака. Мне с ним пришлось познакомиться в январе 1943 года, тоже в тылу у немцев.

— А! — сказал он, и мы обменялись рукопожатиями.

— Чего радуешься, — заметил ему Ковпак, — приехал, видишь, за статьей. Не отцепишься. О Карпатах.

— Ну и пусть пишет на здоровье, — улыбаясь, сказал Базима.

— Нет, — сказала Ковпак, — мне самому, говорит, надо писать.

Базима схватился за подбородок. У него болели зубы.

— Больно? — спросил Ковпак и, не дожидаясь ответа, заявил. — Мне тоже дьявольски было больно.

Однажды в Москве на совещании Ковпаку приказали вставить зубы. У него тогда их было только три. Но он, выйдя с совещания, улетел к немцам в тыл. Соединение его ежедневно дралось, и сидеть в Москве Ковпак поэтому не мог. Когда узнали о том, что он не выполнил приказа относительно зубов, к нему послали зубного техника. Тот прилетел в соединение, вставил зубы прославленному партизану и не захотел улетать обратно на Большую землю. Он ходил вместе с ковпаковцами и вставлял им зубы.

— Когда вставляют зубы, не так больно, как противно, — сказал Ковпак. — Языку места мало, и он вот все время старается зубы вышвырнуть изо рта.

Боль у Базимы, видимо, утихла, и он начал вертеть цыгарку. «Дед» тоже достал кист и завернул свою ковпаковскую.

— Я в «Крокодиле» написал о том, как вы закуриваете, — сказал я.

— А что ж тут плохого? Не бюрократ же я, чтобы обо мне в таком журнале писать, — сказал он и засмеялся.

Все раскурили цыгарки. Потом Ковпак поднялся и, сказав «пойдем», начал подниматься по лестнице.

В его комнате мы застали молодую женщину.

— Познакомься, — сказал он, — это моя жена. Это ее разыскивали по Украине сначала немцы, а потом наши.

Жена Ковпака улыбнулась и пригласила сесть.

Перед тем, как немцам войти в Путивль, она ушла из города, и никто не знал, куда она делась. Одни говорили, что ее поймали немцы и повесили, другие, как очевидно, утверждали, что ее немцы отправили в Германию на каторгу. Никто тогда толком сказать не мог.

Когда я в апреле 1943 года улетал из соединения на Большую землю, Ковпак, прощаясь со мной, отвел меня в сторону и сказал:

— Ни о чем не прошу. Хлопцы у меня на войне, пусть воюют. Но нельзя ли поискать, куда делась моя старуха?

Тогда были приняты все меры к розыску жены Ковпака, но они не увенчались успехом. И лишь после того, как Котельва под Полтавой была освобождена от немцев, жену Ковпака нашли в этом местечке. Всю войну она пряталась от немцев, слыша от народа о славе своего мужа.

Она завернула толстую папиросу и закурила. Я сказал, что цыгарка у нее, как у Сидора Артемьевича. Она улыбнулась, посмотрела на цыгарку мужа и сказала:

— В гражданскую войну мы вместе с ним партизанили. Он тогда и выучил меня курить. Пойдемте обедать. За обедом

и о делах поговорим, да и штаб весь соберется.

— Обедать, так обедать, — сказал Ковпак и поднялся.

Все спустились вниз, в столовую Дома отдыха. На крыльце Сидора Артемьевича встретило несколько украинцев. Они увидели его и, сняв шапки, поздоровались. Ковпак попросил подождать его. Ежедневно с разных концов Украины к нему приезжают люди посоветоваться, рассказать о своей горе или радости и просто повидаться. Это настоящее паломничество. Большой частью приезжают партизаны или члены семей партизан.

За столом собрался весь штаб Ковпака. По приказанию свыше штаб приводит в порядок всю документацию соединения. На столе начальника штаба Базимы уже лежат толстые книги переплетенных приказов от первого до последнего номера, схемы маршрутов и операций.

Разговаривая о карпатском рейде, каждый старался припомнить эпизоды героического похода. Я записывал факты и детали, и по мере того, как разговор разгорался, у нас вырисовывался план статьи Ковпака. Я осмелился высказать свое мнение.

— Не так треба, — сказал Ковпак, — щоб я вмер, стаття буде гарна. Надо сделать так: штаб будет подбирать материалы, я схожу за карпатскими картами, ты будешь помогать Базиме.

После обеда мы приступили к подбору материала. К Ковпаку зашло несколько украинцев. Один из них был похож на старого «ходока», мял шапку в руках и, несмотря на трехкратное приглашение сесть, не садился.

— Я к тебе, как к батьке родному, пришел за советом. Девка молодая просится замуж. Парень хороший. Отдавать или не отдавать?

— По-моему, — сказал Ковпак, — что во время войны, что после войны, а выходить ей замуж надо. Раз парень, говоришь, хороший, то, по-моему, отдавать. Нельзя тут вмешиваться нашему брату, старику.

— Я тоже так думаю, — сказал «ходок», — по-моему, отдавать. Спасибо за совет, — он достал бутылку вина и сказал: — Сприснем новобрачных, ведь дочь-то партизанская, батька-то с Ковпаком воевал.

Этот бывалый ковпаковец пришел за советом к своему командиру. За ним вошло трое инвалидов с партизанскими медалями.

— Батька, — сказал один из них, — до твоей милости. Артель организовали «Путь партизана», сапоги шить будем. Нужна помощь.

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

СЕМЕН ГУДЗЕНКО

★

Будь то конный,
 будь то пеший —
валит всех
 орудийный шквал.
Возле города
 Будапешта
я в атаке
 опять побывал.
В декабре
 в сорок четвертом
на венгерский
 растаявший снег
окровавленным
 или мертвым
не желает
 упасть человек.
Не желаю!
 Не желаю!
Пулям кланяюсь,
 но бегу.
Разрывается
 мина злая
черным веером
 на снегу.
Разлетаются
 серые комья.
но пехоте
 уже не до них.

Я теперь
 ничего не помню
после лютых атак
 штыковых.
И сегодня,
 после отбоя,
я в чужом блиндаже
 захрапел.
Я был очень
 доволен собою —
и во сне
 даже плакал и пел.
Мне приснилось:
 гремят оркестры,
я в Москву
 возвратился весной —
пьют друзья,
 и моя невеста
неразлучна опять...
 со мной.
Не будите меня!
 Не надо!
Пусть продлится
 хотя бы во сне
встреча с той,
 за кого прикладом
и штыком
 молюсь на войне.

★

В нетопленном каменном доме
концерт фронтовой бригады.
Солдаты сидят на соломе,
в коленях зажав приклады.
Озябли и ноги, и руки.
И словно на кино-экране
в дыму и морозном тумане
актриса поет о разлуке.

Актриса поет о далеком,
завьюженном русской метелью.
Ей холодно в платице легком.
И хлопцы снимают шинели.
И каждый согреть ее хочет,
чтоб пела она, чтоб не смолкла.

Зря ждет у крыльца ее ночью
соседей лихая двуколка.

★

На снегу белизны госпитальной
умирал военврач, умирал военврач.
Ты не плачь о нем, девушка, в городе
 дальнем,
о своем ненаглядном, о милome не плачь.

Это он их лечил в полевом медсанбате.
по ночам приходил, говорил о тебе,
о военной судьбе, о соседней палате
и опять о веселой военной судьбе.

Наклонились над ним два сапера
 с бинтами,
и шершавые руки коснулись плеча.
... Только птицы кричат в тишине за
 холмами.
Только двое живых над убитым молчат.

Ты не плачь о нем, девушка, в городе
 дальнем,
о своем ненаглядном, о милome не плачь.
.....
Одного человека не спас военврач —
он лежит на снегу белизны госпитальной.

РАЗГРОМ ПРУССИИ В ВОЙНЕ 1756—1762 г.г.

Проф. Н. КОРОБКОВ

★

1.

Великая Отечественная война против фашистской Германии завершена. Над Берлином водружено знамя победы. Германия разгромлена. Она капитулировала безоговорочно.

В прошлой мировой войне (1914—1918 г.г.) Германия тоже понесла поражение, но она успела выйти из войны, не допустив ее в пределы своей страны. Это позволило немцам быстро восстановить свою мощь и ввергнуть мир в новую, еще более чудовищную войну.

Политики, подписавшие с Германией Версальский мир, оказались недалекими.

Поэтому мы кровно заинтересованы в том, чтобы величайшие жертвы, приносимые ныне в войне с Германией, не пропали даром, а обеспечили возможность длительного и прочного мира.

Подводя итоги войны, мы не можем не вспомнить ее предысторию.

«Нагиск на восток», борьба за восточные, т.е. в основном славянские и больше всего русские земли составляют основу истории и политики германского племени, — утверждал Гитлер.

Идея завоевания Руси и тяготевших к ней земель выросла на северо-восточной немецкой окраине: обосновавшиеся здесь рыцарские ордена — Ливонский, а затем и Тевтонский уже с конца XII и начала XIII вв. единственной исторической целью своего существования имели завоевание восточных земель и с последовательным упорством повторяли свои нападения на литовцев, поляков, русских и их соседей.

В качестве «идеологической основы» этой элементарно-хищнической политики уже на первых этапах немецкой агрессии XIII века были выдвинуты два живых тезиса: принцип «христианско-просветительной миссии», не выдерживавший никакой критики в отношении Руси, уже давно принявшей крещение и культуру от Византии, представлявшей неизмеримо более высокую цивилизацию, чем та, которой жили германцы, — и принцип «расового превосходства».

Опираясь на эти положения, немцы требовали помощи Запада и, используя ее в собственных завоевательских целях, организовывали «крестовые походы» против Руси. А Русь в это время изнемогала в смертельной борьбе с татарскими ордами и, обескровив их в героическом сопротивлении, избавила этим Европу от татарского порабощения.

История показала не только несправедливость но и невозможность осуществления немецких планов агрессии против славянства; тем не менее они возрождались вновь и вновь, и Гитлер наконец заключил — для нашего времени — ицикл призывом «двинуться по той же дороге, по которой некогда шли рыцари наших Орденов».

Можно установить несколько крупных этапов в истории борьбы германизма и славянства. Итог первого тура борьбы был подведен на льду Чудского озера, второго при Грюнвальде; наконец Иван IV свел последние расчеты с Ливонским орденом.

Насильственное слияние поработенной немцами в XIII веке литовской области Пруссии с Бранденбургом и возникновение «Прусского королевства» Гогенцоллернов произошло в самом конце XVII века. Бранденбургские курфюрсты приняли королевский титул вместе с наименованием государства литовским именем «Пруссия». Этим был подведен итог предшествовавшей истории и открыт новый период немецкой агрессии, стремление к которой «пруссские» короли положили в основу своей политики. Как правильно отмечает один из виднейших немецких военных историков Ганс Дельбрюк, центральной организацией Пруссии была ее вооруженная сила: «история бранденбургско-прусской армии, — говорит Дельбрюк, — является в то же самое время историей прусского государства»¹. Это как бы Тевтонский ор-

¹ Дельбрюк, Г. История военного искусства в рамках политической истории. М., 1933, т. IV, стр. 214—215.

ден, возрожденный в новых условиях и на новых основаниях.

Первоначальный рост королевства шел за счет беспринципной политики: прусские короли округляли свои владения «благодаря божественному праву подкупа, открытой купле, мелкой краже, погоне за наследствами и предательским договором о разделе»¹. Играя на враждебности и столкновении интересов крупных держав, скрываясь за союзниками, которым она постоянно изменяла, прусская военная монархия в середине XVIII века выросла в силу, нависшую непосредственной угрозой над всеми своими соседями.

★

В конце первой половины XVIII века король Пруссии Фридрих II, осуществив мечтания дедов о захвате австрийской Силезии, скоро расширил свои владения присоединением графства Глац за счет той же вторично побитой Австрии.

Следующей ближайшей целью он ставил захват Саксонии и отторжение от Австрии Богемии, а попутно намечал и всякие другие «приобретения». Столкновение с Россией было впереди: король знал, что русское правительство правильно понимает нарастающую угрозу, но он относился скептически и к дипломатии и к военной силе России. К тому же он располагал в Петербурге широкой агентурой. Сама судьба дала ему друга и обожателя в лице великого князя Петра Федоровича. В войсках было много симпатизировавших ему генералов-немцев. Кроме того, он надеялся на силу подкупа. Поэтому, когда положение в Европе замутилось, в связи с развернувшейся колониальной войной между Англией и Францией, Фридрих признал обстановку для нового нападения на Австрию вполне благоприятной. Он не придавал реального значения хорошо известному ему военному русско-австрийскому союзу, а только что заключенное, опасное для него, военное соглашение России с Англией разбил Вестминстерским договором с кабинетом Питта против своей вчерашней союзницы Франции.

Все было задумано широко, смело и с авантюристическим расчетом на недалекость и нерешительность русского правительства: посредством Вестминстерской конвенции Фридрих рассчитывал не только связать Россию, но и обратить ее армию на службу своим интересам.

Ему пришлось, однако, скоро разочароваться в этом. Россия расторгла соглашение с кабинетом Питта и укрепила связь с Австрией. Видя угрозу со стороны Пруссии, Франция нашла новых союзников в лице ранее враждебных ей держав. Вестминстерская конвенция была важной ошибкой в серии других, допущенных Фридрихом и проистекших из полного непонимания России. Просчитавшись в оценке рус-

ской дипломатии, он совсем неверно оценил экономические возможности России и еще больше ошибся в определении силы русской армии. За все это ему пришлось платить кровью, голодом и жесточайшим истощением своего королевства. Это были политические ошибки, о которых французы говорят, что они больше чем преступление («c'est plus q'un crime, c'est une faute»). Король с полной ясностью мог понять это уже в тяжелом для него 1757 году. Год спустя, после неудачи под Цорндорфом, для него стало очевидным, что он грубо просчитался относительно России и русской армии, а в 1759 году, потрясенный кунерсдорфским разгромом, в разговоре со своим адъютантом де-Каттом он признал, что в отношении русских он допустил худшие из возможных для полководца ошибок, легкомысленно рассчитывая на «слабость или глупость противника».

Но в 1756 году будущее было скрыто для Фридриха. Он действовал самоуверенно и с твердым убеждением в своем быстром и полном торжестве.

Согласно выработанному плану, Фридрих решил, внезапно напав на Саксонию и разгромив ее, обратиться эту страну в объект экономической эксплуатации и плацдарм для незамедлительного вслед затем нападения на Австрию. Последняя, не успев закончить свои военные приготовления, значительно уступала в это время атакуемому не только в организации, но и в численности армии. Фридрих имел поэтому основания рассчитывать на капитуляцию Австрии в первую же кампанию.

После этого противопрусский союз потерял бы всякую реальность. Россия, вынужденная к изолированному выступлению, должна была бы воздержаться от него, а Франция с ее большим, но недисциплинированным войском не представляла никакой опасности. Если же разгром Австрии будет неполным,—рассчитывал Фридрих,—а Россия, вопреки ожиданиям сумеет оказать ей поддержку—положение не окажется опасным, так как, в представлении Фридриха, и оба союзника вместе были все же слабее его, особенно экономически. Король решил поэтому не упускать случая.

В 1756 году Фридрих начал войну, вопреки его ожиданиям затянувшуюся на семь лет и получившую поэтому название Семилетней. История этой войны представляет для нас величайший интерес. Она подтверждает известный тезис Суворова о том, что «русские прусских всегда бивали».

2.

Вторгнувшись в Саксонию осенью 1756 года и принудив ее к полной капитуляции, Фридрих реализовал первую часть своего стратегического плана, но не сумел сломить сопротивление Австрии так быстро, как намеревался. Следствием явилась неизбежность второй кампании войны, в течение которой Фридриху пришлось уже столкнуться с русскими войсками.

¹ Марж и Энгельс. Соч., т. XI, ч. I, стр. 75.

Переоценив способности собственной вооруженной силы, король должен был убедиться и в своей недооценке способностей национальной русской армии, каждый солдат которой признавал свое дело делом защиты родной земли и священным долгом перед Родиной.

Армия Фридриха, составленная из беспринципных наемников, которых, как признавал сам Фридрих, «можно держать в строю лишь принуждением», наоборот, руководствовалась только хищническими стремлениями. Начиная с первых столкновений, и чем дальше, тем отчетливее, стали выступать преимущества русского солдата.

Русскую армию в то время значительно ослабляли организационные недостатки — особенно неудовлетворительная служба снабжения и неустроенность санитарной части. Высшее командование, в большинстве своем воспитанное на чуждых русскому войску принципах западной доктрины, к тому же имело в своих рядах множество иностранцев, особенно немцев. И тем не менее, вся история войны 1756—1762 гг. — это история русских побед и прусских поражений. Из всех столкновений лишь под Цорндорфом, куда король явился с твердым намерением не только разбить, но и уничтожить русскую армию, ему удалось добиться не победы, а неустойчивого равновесия.

Но во главе прусской армии стоял в это время Фридрих, один из видных полководцев XVIII века, а во главе русской — один из самых бесцветных, сухой и нерешительный генерал Фермор. Набожный лютеранин, пышные обеды и сервизы которого вызывали подобострастное удивление взятого им в Пруссии капеллана, пастора Теге, Фермор был неизмеримо дальше от понимания сущности и качеств русской армии, чем даже его предшественник Апраксин, выделявшийся своей любовью к роскошной и ленивой жизни и сопровождаемый в походе личным обозом, который вели 250 лошадей. Этот фельдмаршал «без практики.., к тому же ни в каких военных обращениях с европейцами не бывавший», но зато ловкий придворный интриган вовсе не годился для руководства войсками. И все же русская армия даже при командовании Апраксина уже в 1757 году нанесла противнику тягчайшее поражение.

Целью похода русское правительство ставило овладение Восточной Пруссией. Главные силы должны были наступать на Тильзит — Инстербург—Кенигсберг. На этом пути к ним должен был присоединиться особый корпус, выделенный для действий против крепости Мемеля.

В этой статье нет ни возможности, ни нужды сколько-нибудь последовательно и полно осветить развитие военных событий. Мы остановимся поэтому лишь на самом существенном и будем опираться при этом преимущественно на подлинные документы эпохи, хранящиеся в Центральном государственном военно-историческом архиве и отчасти в Государственном архиве древних актов.

Вот донесения главнокомандующего Апраксина за 1757 год о наступлении русских войск в

Восточной Пруссии. Шталупенен, Гумбинен, Гольдап, Инстербург, Тильзит упоминаются на первых листах среди ряда других пунктов, занятых русскими войсками. Особый корпус двинулся из Либавы для действий против Мемеля. 25 мая фельдмаршал донес о взятии этой крепости. В этот день «в три часа поутру... пруссаки... выставили белые знамена и прислали к договору майора Прейса с примерными пунктами капитуляции... Пополудни в 6 часу отправлена одна гренадерская рота для принятия одних городских ворот и... с барабанным боем в город вступили... 25 числа в седьмом часу отправлено 500 человек гренадер с 2 знаменами в крепость... В 9 часу поехал весь генералитет верхами в сопровождении многочисленной свиты в город. По въезде в ворота поднесены полковником Поленсом, который за коменданта находился, градские ключи...»¹

Главные русские силы вели наступление от Тильзита на Кенигсберг по направлению Гумбинен — Инстербург. Здесь к армии присоединился подошедший от Мемеля корпус Фермора. Первоначальный маршрут был избран по лесистому правобережью Прегеля. На этом пути прусский фельдмаршал Левальд мог оказывать упорное сопротивление, опираясь на многочисленные искусственные укрепления и естественные препятствия. Поэтом Апраксин решил обойти трудный участок и перевел войска на левый берег Прегеля, намереваясь двинуться затем на Кенигсберг через Алленберг. Это вынудило прусского фельдмаршала Левальда изменить тактику «эластичной обороны», которую он сначала применял, и решиться на прямое сражение.

Пользуясь плохой организацией русской разведки, Левальд на рассвете 30 августа 1757 года незаметно приблизился к располагающейся у Гросс-Егерсдорфа русской армии. Та в это время готовилась к выступлению в поход узкой лесной дорогой. Ее обозы сгрудились возле распекавшей «дефилею» «ручьевины». Как рассказывает очевидец и участник сражения Болотов, «все повозки теснились между собою... Все было тут смешано: артиллерия с ее ящиками и снарядами и полковые обозы и генеральские экипажи и офицерские и солдатские повозки... В самое то время, когда наипущее замешательство происходило и войска с обозами вышеупомянутым образом перемешаны и последними вся узкая прогалина так была набита, что ни проходу, ни проезда не было»², пруссаки начали жестокую канонаду.

Основной удар был направлен на левый фланг центра, где боевой строй русских разделялся ложнойю.

В этой битве, известной под названием сражения при Гросс-Егерсдорфе, на стороне противника были все выгоды внезапности.

¹ Журнал о военных действиях Российской императорской армии. СПб, 1761, ч. I, стр. 14—15.

² Болотов, А. Жизнь и приключения А. Болотова, описанные им самим для своих потомков. СПб, 1871, т. I, стр. 577.

Русский главнокомандующий Апраксин растерялся. На поле битвы сумели вывести лишь часть сил; полки подходили и строились под непрерывным огнем противника. После напряженных усилий пруссакам яростным натиском удалось прорвать ложно построенный русский фронт; они уже торжествовали победу, но в это время молодой генерал П. А. Румянцев (будущий фельдмаршал), собрав рассеянные в тылу силы, пробрался сквозь лес и штыковой атакой отбросил пруссаков. Потесненные и уже почти разбитые было полки русского фронта также ринулись вперед. «Неприятели дрогнули, подались несколько назад, хотели построиться получше, но некогда уже было; наши сели им на шею и не давали ни минуты времени. Тогда прежняя прусская храбрость обратилась в трусость, и в сем месте недолго медля собрались они назад и стали искать спасения в бегстве, — рассказывает Болотов. — Они пропали у нас в один миг из вида и все поле было ими усеяно¹».

«В сей жестокой акции, какова... в Европе еще не бывала.., неприятель совершенно разбит, рассеян и легкими войсками через реку Прегелью прогнан», — доносил Апраксин. «О неприятельском уроне еще точно объявить не можно, но думать надобно, что весьма знатен, когда такой гордый и жестокий неприятель в таком беспорядке, оставив почти всю свою полевую и несколько полковой артиллерии.., побежал»².

На поле сражения было подобрано более 3 тысяч трупов немцев, 11 полевых, 7 полковых орудий «и великое множество прочей добычи».

Слава этой победы по справедливости принадлежала солдатской массе и передовой части офицеров, так как Апраксин и его штаб фактически не сумели руководить сражением. Не сумели они и сделать выводов из опыта Гросс-Егерсдорфа. Вместо смелого наступления на Кенигсберг, они повели армию круглым путем, медлили и, наконец, не сумев наладить продовольственного снабжения армии, отвели ее обратно к Мемелю.

За эти действия указом императрицы Елизаветы Апраксин был смещен. На его место назначен генерал-аншеф В. В. Фермор. Последнему было вменено в обязанность возобновить наступление и добиться полного занятия Восточной Пруссии.

Наступление велось несколькими колоннами по двум главным направлениям: через Тауроген—Тильзит и через Прекуль—Русс-Лабиау. Командование одной колонны осуществлял П. Румянцев, другой — И. Салтыков. В конце января 1758 года наступающие части соединились у Кеймена в одном переходе от Кенигсберга.

Несмотря на сильнейшие морозы, неподготовленность дорог и отсутствие обеспеченных ночевков, наступление велось столь стремительно, что враг не сумел организовать достаточно прочной обороны. Паника охватила край. Гарнизон Ке-

нигсберга, не ожидая приближения русских войск, оставил город и отступил к Мариенвердеру, а гарнизон Пилау—к Нижней Висле. Вышние чины управления краем бежали в Данциг. Русские распространяли среди населения манифест, обещавший полную безопасность всем добровольно подчинившимся. Строгое выполнение этого обещания содействовало быстрому успокоению занятых областей и стремлению воздерживаться от сопротивления, безнадёжность которого становилась очевидной.

«10 числа, — доносил Фермор императрице Елизавете 11 января 1758 года,—прибыли ко мне депутаты отолочного города Кенигсберга, а именно: трибунальный вице-президент Гробовский, военной и камерной советник Ауэр и бургомистр Кенигсбергский военный советник Гиндернсен, кои подали, именем всего правительства, города и всего королевства Прусского, прошение о дозволении им протекции Вашего Императорского Величества...

На другой день, т.-е. в воскресенье 11 числа о полудни вступили в город... наперед отправленные команды, а за ними и я с четырьмя пехотными полками в оной вошел, и главную квартиру занял в главном замке, в тех самых покоях, где фельдмаршал Левальдт жил...

При вступлении в город полков с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкою, производился во всем городе колокольный звон, и играли на трубах и литаврах по башням, а медяна, поставленные в парад, отдавали честь русским с барабанным боем и музыкою.

«В то же самое время принесены ко мне от здешнего правительства приказы от здешней цитадели Фридрихсберга и Пилавской крепости, которые Вашему Императорскому Величеству... отправить честь имею»¹.

Вслед за занятием Кенигсберга русские войска быстро распространились по всей провинции. Русские гарнизоны были размещены в городах Бранденбурге, Цинтене, Крейцбурге и других на пространстве от Гейлигенсбейля до Гейльсберга, от Велау до Тапиау, в Лабиау и Шаакене. В конце января русская кавалерия выступила к Мариенвердеру и Эльбингу. Почти одновременно с этими пунктами, отрядами, действовавшими в разных направлениях, были заняты Ризенбург и Битау, а также лежащие по течению Вислы Грауденц, Кульм, Торн. К концу февраля очищение Восточной Пруссии от противника было полностью закончено, и территория ее составила прочную базу для дальнейших наступательных операций русской армии в Померании и Бранденбургии.

★

Политическое значение завоевания Восточной Пруссии не уступало стратегическому значению этого успеха. Занимая Восточную Пруссию, рус-

¹ Болотов, А. Записки, т. I, стр. 536, 549.

² Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), фонд «Пруссия», дело № 2, 1757 г., л. 23.

¹ Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), фонд «Пруссия», дело № 1, 1758 г., «Военные дела», л. 2—2об.

ские не предрешали вопроса о ее дальнейшей судьбе. В качестве одного из вариантов намечалось передать ее Польше в обмен на белорусские и украинские земли, в то время еще не возвращенные в состав России. С полной определенностью, однако, считали, что завоеванная провинция ни в коем случае не должна быть возвращена королю Фридриху. Это мероприятие рассматривали, как необходимую гарантию ликвидации опасности прусской агрессии в будущем.

Этим намерениям отвечала вся русская политика в Восточной Пруссии. Населению ее было предложено отказаться от немецкого подданства, и оно повсеместно согласилось на это без всякого сопротивления и приняло присягу на верность российской императрице.

Приведение жителей к присяге началось в Кенигсберге 13/24 января 1758 года, как раз в день празднования рождения короля Фридриха. В самом Кенигсберге оно протекало с большой торжественностью. Был прочитан манифест Елизаветы; присягали сначала высшие чины, потом университет (имевший в своем составе доцента Имануила Канта), чиновники учреждений. Присягавшие повторяли текст вслед за пастором и подписывали соответствующий акт. Затем было приведено к присяге остальное население.

Королевские гербы всюду были сняты и заменены русскими. Многие жители, в знак преданности русскому правительству, укрепили русские эмблемы на своих домах. Были установлены ежегодные празднества в дни общегосударственных русских праздников. В эти дни профессора университета выступали с речами в стихах и в прозе. Многие из этих произведений были изданы, и их можно видеть не только в собраниях Военно-исторического архива, но и в ряде других. После Цорндорфской битвы в Кенигсберге были устроены торжества с молебствиями во всех церквях, с банкетами и иллюминацией города. Так же праздновалась Кунерсдорфская победа.

Была выпущена новая монета с изображением на одной стороне профиля императрицы Елизаветы, а с другой — герба Восточной Пруссии. При содействии населения, предпочитавшего новые деньги обесцененной «фальшивой» монете Фридриха, последняя вскоре была совсем изъята из обращения.

В Кенигсберге стали выходить две русских газеты. Первым губернатором новой области был назначен Фермор, после него Корф, позднее уступивший место генералу Василию Ивановичу Суворову (отцу будущего генералиссимуса). После него Пруссией управлял Панин и, наконец, Воейков.

Губернаторы очень внимательно следили за поддержанием в крае порядка, законности и дисциплины. Был осуществлен ряд мероприятий по улучшению дорожной сети и организации почты.

Может быть, именно потому, что подожжение массы населения при русской власти несколько не ухудшилось, население проявляло к ней полную лояльность и покорность. За все время пребывания Восточной Пруссии под русской

властью здесь не было ни одной сколько-нибудь значительной попытки протеста против присоединения к России. Поведение жителей провинции, от имени которой Фридрих носил королевский титул, было таково, что когда Петр III, из личных соображений и личной дружбы к Фридриху, вопреки ожиданиям всех европейских политиков и самого Фридриха, вернул ему Восточную Пруссию, тот не забыл пережитого и никогда не появлялся ни в Кенигсберге, ни вообще в Восточной Пруссии.

Чем объяснить удивительное отсутствие национального чувства, проявленное населением Пруссии под русской властью? Огромную роль здесь сыграла удовлетворительность экономического положения, отсутствие каких бы то ни было насилий или произвола со стороны русских властей. Связано оно было и с тяжестью политической системы Фридриха, сравнительно с которой новый режим был более либеральным. Наконец, в какой-то мере сказались и исторические традиции: ведь всего лишь сто лет назад население Восточной Пруссии отреагировало восстанием на состоявшееся тогда присоединение к Бранденбургу.

Эта историческая несправедливость должна была быть исправлена русскими победами Семилетней войны. Она и была исправлена. Только безумие Петра III, стоявшее ему затем престола и жизни, сделало возможным возврат этой провинции Пруссии.

★

План наступления в Восточной Пруссии 1757 года был построен на принципе взаимодействия флота и армии. Наступление началось не только в прямом направлении на Кенигсберг, но должно было быть поддержано действиями высланного из Либавы на Мемель экспедиционного корпуса Фермора, которому с моря содействовала эскадра Вальронда. Главные силы двигались по линии Людвинов—Вержболово—Гумбинен—Инстербург. Здесь было намечено их содействие с овладевшим Мемелем корпусом Фермора. Для того, чтобы отрезать путь отступления восточно-прусской армии Левальдта, в обход ее правого фланга в направлении на Фридрих—Кенигсберг, должен был действовать сильный отряд генерала Сибильского. Он должен был зайти в тыл врага, в то время как главная армия своим фронтальным ударом на Кенигсберг не только овладеет столицей Восточной Пруссии, но и истребит или принудит к капитуляции армию противника.

В 1757 году успешно осуществлена, однако, была лишь первая часть плана. Был взят Мемель, войска соединились возле Инстербурга, но действия Сибильского развивались столь медленно, а главнокомандующий Апраксин столь мало проявлял смелости, энергии и инициативы, что он предпочел отказаться от выгод выдвижения войск Сибильского в тыл противника и

отозвал отряд к главным силам. Это дало противнику возможность беспрепятственного отступления и в то же время позволило ему не рассеивать сил, сосредоточив их на направлении удара русских войск. В связи с этим оказалась неосуществимой и частная операция на Лабиау — важная для установления связей с морем, на котором русский флот тогда господствовал.

Следствием этого явился «стратегический отход» 1757 года к Мемелю, после которого всю операцию завоевания Восточной Пруссии (зимой 1757—1758 гг) пришлось повторить заново.

Маневр Сибильского не удался. Но следует отметить, что необходимость отрезать коммуникации врага отчетливо сознавалась тогда высшим русским военным руководством.

Именно эту идею Бестужев-Рюмин изложил в своем письме Апраксину от 17/28 июля 1757 года, высказав опасения, как бы Левальдт, вследствие медлительности операций Апраксина, «совсем из Пруссии не ушел, что было бы такую утрату, которая завоеванием Кенигсберга и целой Пруссии награждена быть не могла б».

«Время на войне дороже всего», — говорил Суворов. Апраксин в своем выступлении крайне не экономно расходовал время. Это было очевидно для всех и, по свидетельству Болотова, вызывало порицание всей армии. Зимнее наступление в Восточной Пруссии (Румянцева и Салтыкова) было произведено с исключительной быстротой, но зато в последующем этапе наступление в Померании и Бранденбургии было проведено Фермором с такой медлительностью, что именно это явилось основным благоприятным для Фридриха обстоятельством.

3.

Операции 1758 года в Померании и Бранденбурге останутся незабвенными в истории доблести русского солдата. В мае войска, переправившись через Вислу у Мариенвердера, повели наступление в Померании двумя колоннами — первая в направлении от Диршау на Конци и Штаргардт, вторая от Мюнстервальде к Тухелю. Третья группа, базировавшаяся в Торне, имела назначение на Бромберг, где армия и соединилась. Фридланд, Ратцебург, Дризен, важный как пункт переправы через реку Нетцу, были заняты русской кавалерией. Смелые рейды на Нейштеттин, Темпельбург, Драггейм и ряд других крупных центров также увенчались полным успехом.

В июне, во изменение первоначального плана действовать на Франкфурт, было решено нанести удар по крепости Кюстрин. Был занят Ландсберг. Войска распространились до Зонненбурга, Лагова, Циленцига, Реппена, Парадиса. Экспедиционный отряд, высланный к Кольбергу, занимал Штольп.

4/15 августа русская армия начала осаду Кюстрина. Враг был выбит из прилегавшей укрепленной зоны, из Форштадтов Кюстрина и оборонялся в крепости. Русская артиллерия действовала великолепно. Обстрел бомбами и калеными ядрами вызвал огромные пожары, испепелившие внутренние сооружения и огромные армейские склады фуража, а также зерна, хранившегося здесь в количестве более миллиона двухсот тысяч гектолитров.

Падение Кюстрина открывало путь на Берлин. Чтобы избегнуть этой опасности, Фридрих, собрав все возможные силы, выступил к Кюстрину и вынудил Фермора принять сражение у деревни Цорндорф. Здесь король рассчитывал уничтожить русскую армию. И условия местности и ошибки Фермора тому благоприятствовали. Но он столкнулся лицом к лицу с тем русским солдатом, о котором позднее Суворов говорил, что «от храброго российского grenадера... никакое войско в свете устоять не может».

Не Фермор и его штаб, а вся масса русской армии и ее воля выступили здесь несокрушимой силой, «являя зрелище, какого доселе не видавали примеров. Разстрелявши свои патроны, они стали твердо... Свежие полки заступали место убитых, и, казалось, желали иметь одинаковую участь со своими товарищами. Легче было их убивать, нежели принуждать к бегству»¹, — свидетельствует участник войны капитан прусской армии Архенгольц. «С русским grenадером нельзя сравнить ни одного солдата», — написал адъютант Фридриха де-Катт, засвидетельствовавший также, что после сражения король ответил крестьянке, просившей короля о своем сыне: «Как вы хотите, чтобы я дал ему должность, когда я не знаю, сохранил ли я свою собственную?»

«Все наши армии находятся теперь в критическом положении», — писал в сентябре 1758 года Фридрих принцу Генриху, — я это знаю, чувствую, но обязан держаться твердо, пока не заставлю русских уйти за Ландсберг».

Королю не удалось добиться этого, но бесталанный Фермор, озабоченный главным образом тем, чтобы не рисковать своим положением главнокомандующего, отнюдь не хотел предпринять решительных операций. Он двинулся через Солдин на Штаргард и, простояв здесь до октября, разместил затем свои войска на зимние квартиры. Первая дивизия занимала район Эльбинг—Меве—Диршау—Мариенбург — Мариенвердер; конница—линию от Гейлигенсбейла до Браунсбурга; вторая дивизия—район от Мариенвердера до Грауденца и Кенигсберга, с конницей в Ризенбурге и Прейсшиг-Марке; третья дивизия — район Кульм—Бишофсвердер—Озенбург—Оледко. Форпосты располагались в направлении Нейенбург—Рулев —Кошелин—Салиц.

¹ Архенгольц, И. История Семилетней войны в Германии. Перевод Мартоса. М., 1891, стр. 103.

★

Весной 1759 года Фермора сменил генерал-аншеф П. С. Салтыков — старый, умный, энергичный и глубоко сродный своей армии генерал, вышедший из петровской школы. Хорошо понимая особенности русского войска, его дух, его национальный характер, Салтыков противопоставлял русского солдата-патриота наемнику Фридриховской армии. Он далеко отошел от мертвых принципов западной стратегии, но не сумел еще создать собственной системы, как это сделали позднее Румянцев и Суворов, по своему осознали опыт Семилетней войны.

Вступив в командование весной 1759 года, Салтыков тотчас повел войска в наступление, обошел маневрировавшего на его пути противника и направился на соединение с австрийцами. Чтобы не допустить этого, прусский командующий генерал Ведель, имевший чрезвычайные полномочия короля, атаковал русских близ Цюллихау (при Пальциге). Повторные атаки пруссаков оказались безрезультатными. «Ведель упорствовал в возобновлении боя, — рассказывает старинный немецкий историк, — и все бригады одну за другой выставил в жертву неприятельскому огню; граф Салтыков искусно воспользовавшись сим составил большую линию. Таким образом, прусские бригады были непрерывно обходимы линиею и разбиваемы по одиночке»¹. В результате жестокого боя пруссаки понесли полное поражение (23 июля 1759 года).

Путь на соединение с австрийцами был открыт, но их медлительность, а также перспективы, которые открывала победа при Пальциге, позволили Салтыкову сделать попытку самостоятельно добиться сокрушения противника. Русские двинулись во внутренние области королевства и заняли Франкфурт, где к ним присоединился корпус генерала Лаудона. Готовясь к наступлению на Берлин, Салтыков затребовал помощи от австрийского главнокомандующего. Тот, однако, уклонился от этого, боясь дальнейших русских успехов. Вопреки имевшейся договоренности, он не двинул войск с занятых ими позиций даже тогда, когда Фридрих со своей главной армией выступил против русских, укрепившихся на Кунерсдорфских высотах близ Франкфурта.

12 августа в 9 часов утра немцы начали жестокую бомбардировку возвышенности Мюльберг, занятой русским левым флангом. Русские энергично отвечали. В полдень началась атака. Численное превосходство пруссаков на этом участке, несовершенство укреплений и неустойчивость молодых, плохо обученных частей, занимавших левое крыло, помогли успеху Фридриха. Он захватил Мюльберг, 42 орудия и вывел из строя 13 русских батальонов. Контратакой с центральной возвышенности (Шпицберга) русские смогли лишь несколько задержать наступление противника.

Счастливым успехом, Фридрих послал в Берлин сообщение о блестящей победе над русскими. Стремясь полностью их уничтожить, он под прикрытием артиллерийского огня с Мюльберга повел решительную атаку на охваченный его войсками русский центр.

Непосредственной целью являлось овладение главной батареей. С величайшими усилиями немцы пробились к ней на 150 шагов. Чтобы отвлечь часть русских сил, Фридрих приказал своему талантливому начальнику кавалерии Зейдлицу начать дополнительную конную атаку. При ее помощи немцам действительно удалось было прорваться к главной батарее и залпять несколько пушек. Но эскадроны Зейдлица, разгромленные русской артиллерией и преследуемые конницей Салтыкова, в это время уже обратились в бегство, а вслед затем была оттеснена и прорвавшаяся к батарее пехота.

Около пяти часов вечера войска Фридриха, атакующие с фронта и фланга, были отброшены к Кунерсдорфу, а час спустя русские, засыпав гранатами и картечью засевавшего на Мюльберге противника, выбили его шыковой атакой и отсюда.

Все попытки Фридриха задержать наступление оказались тщетными. Пруссаки панически бежали узкими проходами между озерами болотистой местности. В болотах вязли целые эскадроны. Русская кавалерия врубалась в потерявшие способность к сопротивлению массы бегущих. Личный конвой короля был захвачен в плен, а ускакавший вперед король едва не попал в руки казаков. Адьютант спас Фридриха и тот ускакал, пробившись среди толп, потерявших строй бегущих войск. «Прусская армия в величайшем беспорядке отступила к берегам Одера, — сообщает Ретцов. — В поражениях при Коллине, Гохкирхене и Пальциге токмо на некоторое время уступала она превосходнейшим силам неприятеля, дабы потом неукоснительно приуготовить себя к новым сражениям. Но при Кунерсдорфе была повсеместно и наголову разбита»². «Никогда твердость Фридриха не колебалась столь сильно, как в этот роковой день. Он употребил все, что только можно, дабы остановить свою бегущую пехоту, но приказания, самые убедительные просьбы были напрасны... Утверждают, что в сем отчаянном положении он искал смерти»³.

Ночью в деревенской избе король написал известное письмо своему министру Финкенштейну: «Все бежит и у меня нет больше власти над этими людьми... Жестокое несчастье. Последствия дела будут хуже, чем оно само. У меня больше нет никаких средств и, сказать по правде, я считаю все потерянным»³.

Фридрих сложил с себя командование, передал его генералу Финку и приказал добиваться посредничества Англии для заключения мира.

¹ Ретцов. Цит. соч., т. II, стр. 127.

² Архенгольц. Цит. соч., стр. 180.

³ Politische Korrespondenz Friedrichs des Grossen, Band XVIII, Abt. 2, S. 481.

¹ Ретцов. Новые исторические записки о Семилетней войне. СПб, 1818, т. II, стр. 104—105.

Он хотел отречься от престола в пользу своего племянника и прибегнуть к самоубийству.

В Берлине весть о разгроме при Кунерсдорфе произвела впечатление взорвавшейся бомбы. Все побеголо. Паника охватила всех, и никто не думал о сопротивлении. Гарнизону Берлина было приказано уходить тотчас же, как только враг покажется вблизи столицы.

В сущности, это мог быть конец войны. «Армия больше не в силах бороться с русскими, — писал король в инструкции генерал-лейтенанту Финку, — поправить несчастье невозможно. Но австрийцы отказались поддержать русское наступление на Берлин, а Салтыков со своей истощенной боями армией не решился рисковать ею. В результате затянувшихся переговоров и резкого обострения отношений между союзными главными квартирами, наступление приостановилось. Фридрих назвал это «чудом Бранденбургского дома».

Корни этого «чуда» лежали в глубоких внутренних противоречиях между Россией и ее союзниками, которые хотели разбить прусскую опасность при русской помощи, но не желали допустить усиления России, а наоборот, стремились к ее ослаблению. Всякая новая русская победа вызывала тревогу в Версале, и в Вене, и в Стокгольме; король Франции давал секретные директивы своему послу в Петербурге всемерно противодействовать успехам русского союзника, а посол предлагал королю ослабить нажим на Пруссию, чтобы этим затруднить Россию. Швеция не оказывала русским войскам никакой оперативной помощи, а Австрия, более всех заинтересованная в победе над Пруссией, всячески путала планы русского командования, добивалась подчинения их исключительно интересам Австрии и систематически подставляла русскую армию под удары войск Фридриха.

В 1758 году австрийский фельдмаршал Даун, согласно договоренности между главными квартирами, должен был, в случае если бы Фридрих обрушился на русскую армию, поддержать ее наступлением с юга; но когда Фридрих двинулся к Кюстрину, а вслед затем разыгралось сражение под Цорндорфом, австрийцы не сдвинулись с места, и Даун лишь издалека наблюдал за развитием событий, намереваясь атаковать ослабленные прусские войска уже после того, как те разобьют русских.

Еще коварнее действия австрийской главной квартиры были в период, закончившийся русской победой при Кунерсдорфе. Даун, несмотря на прямые возможности, ничего не сделал для того, чтобы подкрепить Салтыкова, а потом вовсе сорвал результаты этой победы отказом от совместных действий в походе на Берлин. И Салтыков и вся русская армия имели тогда все основания громко говорить об измене и предательстве союзников.

Факты были столь очевидны, что русское правительство не могло оставить их без протеста; но, поскольку оно все же хотело довести войну до конца, оно вынуждено было терпеть и идти на уступки. Вопреки своему командованию, оно соглашалось на требования союзников о поддержке, отвлекало свои войска от их естествен-

ного оперативного направления на Померанию и Бранденбург и две последних кампании (1760—1761 гг.) заставило свою армию действовать в Силезии в непосредственном контакте с австрийцами, как те этого желали.

Несомненно, что и это направление было чрезвычайно опасным для Пруссии. Оно обладало многими выгодами для наступающей стороны, — но здесь, как и везде, требовались прежде всего настойчивость, решительность и последовательность действий. А австрийское командование, добившееся на этом участке руководящей стратегической роли, было вовсе неспособно к решительным действиям: оно боялось потерь и искало решения войны не в поражении, а в истощении противника.

Салтыков, его штаб и офицеры негодовали, армия утомлялась непрерывными переходами, ее дух падал.

Ссоры между обеими главными квартирами становились все более резкими, и австрийский посол Эстергази засыпал русское правительство жалобами на Салтыкова. Конференция, стремившаяся скорее кончить войну, вырабатывала в Петербурге планы оперативных мероприятий, лаала фельдмаршалу упрёки и выговоры, а тот, бессильный что-либо сделать в нелепых условиях, в которые его поставили, ссылаясь на болезнь, мог требовать лишь освобождения от должности. Наконец, сложив свои полномочия, он временно передал командование Фермору.

Но все же, несмотря на все нелепости военной обстановки союзников и сумбур, который создавала австрийская главная квартира, дело Фридриха было безнадежно проиграно. Благодаря несогласиям своих противников, вследствие несовершенной постановки продовольственного снабжения русской армии, вынуждавшей ее отходить на зимние квартиры далеко в тыл, он еще был в состоянии держаться, но сознавал, что неизбежность катастрофы только вопрос времени.

После опыта четырех больших сражений с русскими, в которых тяжесть удара прогрессивно возрастала, горделиво-легкомысленное отношение Фридриха к войску «северных варваров» исчезло без следа. Король мог скрывать это мнение от общества, искажая перед ним факты ложными информацией, но факты говорят за себя: после Кунерсдорфа Фридрих не только не отказывался на активные операции против русских, но тщательно избегал столкновений с ними.

Начав в 1756 году войну с твердой уверенностью в успехе, Фридрих уже в 1757 году, в результате одновременного (и тогда дружного) наступления союзников, оказался перед перспективой разгрома. Он лихорадочно искал спасения в мире, нажимая тайные пружины своей агентуры в столицах противников. Но ни в Версале, ни в Петербурге, ни в Вене с ним не хотели разговаривать, а итти на гибельные условия он еще не решался.

Положение его было спасено в 1757 году ошибками Апраксина и французского командования, а последующие годы держалось на несогласованности действий внутренне

враждебных союзников. Но оно ухудшалось с каждым годом, и уже 1759 год король имел все основания считать роковым. Уцелев на этот раз, вследствие эгоистической политики Австрии, он с трепетом ждал 1760 года. «Начало кампании будет страшным!», — писал Фридрих 1 апреля. Он пережил бесперспективную силезскую кампанию 1760 года, но вскоре вновь получил тяжелый удар со стороны русской армии, неожиданной совершившей «экспедицию» на Берлин и овладевшей сердцем прусского государства.

4.

В конце сентября 1760 года из занятого русскими войсками Каролата был выслан отряд, состоявший из 3 гусарских, 5 донских казачьих, 2 конногренадерских полков и 4 батальонов гренадер при 15 орудиях. Отряд имел назначение по маршруту Заган—Зорау—Губен—Бесков—Вюстергаузен—Берлин. Прикрытие отряда, состоявшее из 7 пехотных полков под общим командованием генерала графа Захара Чернышева, следовало к той же цели через Христианштадт — Зоммерфельд — Губен—Фюрстенвальде.

Главные силы поддерживали «экспедицию» выступлением на Губен, а дивизия Румянцева обеспечивала тыл, заняв позиции в Кроссене. На марше Чернышеву и командовавшему передовым отрядом Тотлебену были даны подкрепления.

В начале октября (нов. ст.) передовые части высланных к Берлину войск прошли Франкфурт. 2 октября (нов. ст.) Тотлебен занял Вюстергаузен и Чернышев вступил в Фюрстенвальде. Комендант Берлина фон-Рохов, поддаваясь панике, охватившей столицу, хотел сдать ее без сопротивления, но его удержали находившиеся тогда в Берлине опытные прусские генералы Зейдлиц, Кноблох и фельдмаршал Левальдт, надеявшиеся на подход подкреплений принца Вюртембергского и генерала Гюльзена.

В самом деле, в ночь на 4 октября войска принца вошли в Берлин и значительно усилили его гарнизон. Атака Котбусских ворот берлинских укреплений, предпринятая отрядом русских гренадер, была отражена. На другой день к Берлину подошел Чернышев. Он разместил свои войска на линии Бисдорф — Лихтенберг и энергичными действиями очистил перед собой пространство до самых стен Берлина, куда, между тем, влились следовавшие за войсками принца Вюртембергского части генерала Гюльзена.

Восьмого вечером, на узком совещании с несколькими генералами, которым он особенно доверял, Чернышев решил назначить на 7 часов следующего дня общий штурм Берлина. Частям были разосланы соответствующие приказания. Сигнал к штурму должен был быть дан тремя брадсугелями.

Ясные и твердые распоряжения Чернышева были встречены в войсках с энтузиазмом. «Невозможно довольно описать, — доносил он впо-

следствии, — с какою нетерпеливостью и жадностью ожидали войска сей атаки; надежда у каждого на лице обозначалась».

Почти в то же время, когда решение о штурме было принято Чернышевым, принц Вюртембергский на созванном в Берлине военном совете предложил всеми силами атаковать войска Чернышева с обходом его правого фланга. После длительного обсуждения план Вюртембергского был отклонен. Узнав о том, что русские готовятся к штурму, совет постановил немедленно начать отступление всеми силами на Шпандау и далее к Потсдаму.

Комендант Берлина выслал своих офицеров для переговоров с генералом Тотлебеном о капитуляции города. Вслед затем в тех же целях в расположение русских войск явились и представители магистрата.

Условия сдачи Берлина были подписаны сторонами около 4 часов утра. Вслед затем русская конница через Котбусские ворота вошла в город и заняла площадь у королевского замка.

Для преследования бежавших из Берлина немецких войск Чернышев отправил отряд под начальством Панина Ариергарды противника были достигнуты у Шпандау. Завязалась отчаянная схватка, в которой немцы потеряли более 2 тысяч убитыми, тысячу пленными, артиллерию, обоз и массу лошадей, в которых ощущалась острая нужда кавалерия обеих враждующих армий.

Согласно условиям капитуляции все оставшиеся в городе военнопленные признавались пленными. Королевская казна и всякого рода имущество военного значения передавались русским. Берлин уплачивал 1.500.000 талеров контрибуции и 200.000 талеров на содержание занявших его войск.

★

9 октября состоялось торжественное вступление русских войск в столицу Пруссии.

Русские не совершили над поверженным Берлином никакого насилия и решительными дисциплинарными мерами пресекли бесчинства, которые начали производить солдаты и офицеры вступившего в Берлин вслед за русскими австро-саксонского корпуса. Впоследствии в разговоре с приближенными Фридрих признавал, что «русские спасли город от ужасов» и «поддерживали прекрасный порядок», но в благодарность за это приказал Финкенштейну «сочинить хороший мемуар, чтобы произвесть впечатление на публику, особенно заграничную... по поводу зверств, совершенных русскими и австрийцами, ужасов, произведенных как казаками, так и австрийскими гусарами». Согласно желанию короля появились и другие, еще более живые «сочинения», от которых Фридрих официально отмежевался, но которые русскому правительству приходилось опровергать. Это невольно заставляло сожалеть, что единственное «зверство», в котором можно было бы обвинить русских — наказание розгами клеветников «журналистов» — имело только характер demonstra-

дин. Сочинители лживых памфлетов и «мемуаров», направленных против России, были для публичной заранее объявленной экзекуции выведены на площадь. Их приготовили для наказания, но в последнюю минуту объявили помилование.

Фридрих, хорошо знавший цену своим писак-кам, мог над этим только посмеяться.

Экспедиция на Берлин не имела целью прочной и длительной оккупации прусской столицы. Задачей операции ставилась, с одной стороны, моральный ее эффект, а, с другой стороны, разрушение военной промышленности Пруссии, сосредоточившейся тогда, главным образом, в Берлине и его окрестностях.

И то и другое было достигнуто. Падение Берлина деморализовало Пруссию и произвело огромное впечатление в Европе. Все, что в ней было прогрессивного, приветствовало эту победу. «Ваши войска в Берлине, — писал Вольтер Александру Шувалову, — производят более благоприятное впечатление, чем все оперы Метастазю»¹. Послы всех дружественных держав явились ко двору императрицы с поздравлениями, но весть о новой русской победе произвела в министерских канцеляриях Европы и некоторое смятение — это был новый знак победы и могущества страны, роль которой многим хотелось ограничить.

В период оккупации Берлина в городе и во всем районе были взорваны и разрушены литейные и пушечные дворы, пороховые мельницы, оружейные заводы. Особые отряды разыскивали тайные склады вооружения и провианта. Как свидетельствует адъютант Фридриха де-Катт, среди немцев находилось немало людей, помогавших в этом деле.

Огромные трофеи, захваченные в Берлине, а также тысячи голов скота, реквизированного в его окрестностях, были доставлены Чернышевым к Франкфурту, где в то время располагалась главная русская армия.

Взятие Берлина 1760 года не сопоставимо с операцией по овладению столицей Германии Красной Армией в 1945 году. Не говоря уже о масштабах и цифрах, — и стратегическое и политическое значение падения Берлина в нынешней войне неизмеримо больше, чем это было в 1760 году. Если тогда «экспедиция» на Берлин носила характер частной операции и преследовала ограниченные цели, то теперь завоевание столицы Германии явилось органической частью грандиозного стратегического плана и гигантским ударом, сокрушившим последние силы сопротивления противника.

Падение Берлина не сопровождалось тогда решительным поражением врага, не сломило его способность к продолжению борьбы; части, занявшие Берлин, затем оставили его, и война продолжалась. Теперь это фактически явилось концом войны, и Гитлер не случайно скрылся с политической сцены, когда падение Берлина стало неизбежным. Несомненно и политическое значение события: оно распространяется и на послевоенное время.

¹ Voltaire, Oeuvres, Correspondance générale, 25 Octobre 1760.

★

Затянувшаяся война истощала силы всех ее участников. Все жаждали мира. Франция, потерявшая в войне свои колонии, пришла в состояние глубокого экономического упадка. Для того чтобы освободить силы, связанные борьбой с союзной Фридриху армией принца Брауншвейгского, она готова была на отдельные переговоры. Австрия втайне от России сговаривалась с Францией. Россия, уличив неверных союзников, требовала от них соблюдения обязательств. Пруссия, доведенная до крайнего истощения, зондировала во вражеских столицах почву для заключения мира. Готовился провалившийся Аугсбургский конгресс.

Началась новая кампания. Военные силы Пруссии резко сократились, но армия еще держалась и пополнялась, так как в ее организм вливались свежие люди, нанятые на субсидии, которые Пруссия получала от своего союзника. Но это были последние усилия. Англия уже добила своих целей относительно колониальных владений Франции, и Фридрих стал не нужен ей. Готовилась смена британского кабинета и прекращение договора о субсидиях. Почва уходила из-под ног Фридриха. «Мы окончили злополучный год, да и наступающий не лучшую нам подает надежду», — писал он. «Состояние мое весьма худо, однако надежит исправлять свою должность; и если уже необходимо надобно будет погибнуть, то ... погибнем...»¹, — пишет он несколько дней спустя в письме, захваченном затем вместе с остальными бумагами генерала Фуке и воспроизводимом нами в переводе того времени.

Если бы после ухода Салтыкова во главе русской армии был поставлен Румянцеv, которого все по справедливости считали героем войны, крушение Фридриха было бы быстрым, но в Петербурге не желали обижать старших по произволу генералов и поэтому назначили главнокомандующим близкого ко двору фельдмаршала А. Б. Бутурлина, хотя он не обладал ни военными способностями, ни волей, ни знаниями.

Уступая настояниям австрийского правительства, Петербург согласился на продолжение совместных действий в Силезии, и опять началось маневрирование войск по правилам «стратегии истощения». Но Пруссия не выдерживала уже и этой медленной осторожной войны. Она, как констатировал Фридрих, «лежала в агонии, ожидая последнего обряда»².

Между тем русское правительство, желая компенсировать медлительность и вялость операций Силезской кампании решило завершить неоднократно делавшиеся попытки к захвату крепости Кольберг, овладение которой дало бы русским возможность прочной оккупации Померании, создав им здесь обеспеченный тыл и воз-

¹ Архив Воронцова, т. 34, стр. 223, 224.

² Carlyle, Th. Geschichte Friedrich II von Preussen... ins deutsche übersetzt von Neuberg. Berlin, 1858, T. VI, S. 283.

можность правильного продовольственного подвоза. Руководство операций поручили Румянцеву.

Это была последняя схватка, окончательно решавшая участь Пруссии. Король сделал все возможное для укрепления Кольберга и послал к нему лучшие силы. Когда Румянцев, окружив Кольберг, стал сдавливать его все теснее и теснее, Фридрих выслал в тыл осаждающих отборный кавалерийский корпус под начальством генерала Платена, которому удалось войти в непосредственную связь с гарнизоном. Очень существенную помощь оказывал Фридриху под Кольбергом прусский агент, пробравшийся на должность начальника русской легкой кавалерии, генерал Тотлебен, который всеми способами мешал Румянцеву, то пытаясь отвлечь его внимание от Кольберга, то прямо отказываясь от совместную действий и уводя с театра борьбы подчиненные ему части.

Но все это не могло спасти Кольберга. Тотлебен был уличен. «Он был арестован в начале кампании, когда его услуги становились наиболее существенными и полезными»¹ — писал по этому поводу Фридрих принцу Генриху. Место Тотлебена занял честный и энергичный генерал Берг, вскоре ставший прекрасным помощником Румянцева, а сам имевший помощником подполковника Суворова — будущего генералиссимуса. Именно здесь под Кольбергом в упорной борьбе с немцами Румянцев и его солдаты впервые широко развернули и утвердили основы русского военного искусства, которое получило затем развитие в дальнейшей деятельности Румянцева и завершение в полководческом искусстве двух великих его учеников — Суворова и Кутузова.

После упорной борьбы Кольберг пал. Померания и Бранденбург перед русскими войсками остались беззащитными. Последние силы сопротивления Пруссии были сломлены. «Как суров, печален и ужасен конец моего пути, — писал король в это время. — Я не могу избежать своей судьбы. Все, что человеческая осторожность может посоветовать, все сделаю и все без успеха. Только судьба может меня спасти из положения, в котором я нахожусь...»².

Конец 1761 года король проводил в своем полуразрушенном артиллерийском дворце в Бреславле, думая о самоубийстве и подготавливая акт отречения от престола. От своего наследника он мог ждать не больше, чем спасения остатков государства, лишь несколько лет назад грозившего спокойствию всей Европы и бросившегося в войну с полной уверенностью в победе...

«Следовало ожидать конца прусской монархии, — пишет современник и участник войны прусский капитан Иоганн Архенгольц, — ... ум Фридриха не мог ослепляться ложными надеждами. Он всегда имел при себе яд, дабы предускорить последние удары рока»³.

Кольберг пал в конце 1761 года. В это время императрица Елизавета Петровна лежала при-

смерти. Она умерла в тот самый день (5 января 1762 года по нов. ст.), когда было опубликовано сообщение о взятии последнего оплота Пруссии.

Слабоумный Петр III, которому его изменническое для государственного деятеля обожание Фридриха уже скоро должно было стоить и трона и жизни, «солнечным лучом» блеснул перед королем. «Моя голова так слаба, что я ничего больше не могу вам сказать, — писал в марте 1762 года Фридрих маркизу д'Аржансу, — только одно: царь России божественный человек, которому я должен воздвигать алтари»⁴.

Если раньше Фридрих позволял себе дерзкое и заносчивое обращение с правительствами соседних государств и, в частности, так держался перед началом Семилетней войны в отношении Елизаветы Петровны, то теперь он неумеренно льстил Петру и готов был идти на любые унижения перед ним. «Поразительно, как мог Фридрих считать возможным для себя соединение низкой лести с собственным достоинством», — замечает по этому поводу один из позднейших немецких историков Вруцц, считавший, что «способ, которым король при этом пользовался, кажется недостойным»⁵. Но Фридриху, погубившему свою страну, бессильно что-либо сделать для исправления ошибок, о которых он мог лишь горько жалеть, и спасемуся благодаря безумию Петра III от проклятия потомства, было уже не до «достоинства».

5.

История Семилетней войны это история побед русской армии и поражений прусских войск Фридриха II — короля, которого фашистские главари рисовали, как идеал германского правителя и полководца. Длительность этой войны и то, что Пруссия вышла из нее не расчлененной, наполняет немецких историков гордостью и используется ими, как основание для демонстрации силы и мужества Пруссии, восхваления ее правителя Фридриха.

Между тем сколько-нибудь объективный анализ войны показывает, что затяжность войны явилась следствием, главным образом, несогласованности действий союзников, позволявшей Фридриху перебрасывать войска с одного фронта на другой и в сущности не дробить силы, сосредоточив их на одном восточном фронте. Оборону западного он успешно осуществлял посредством численно ограниченной союзной армии принца Брауншвейгского.

Чрезвычайно благоприятным для Фридриха фактором на восточном фронте была неискренность в отношении русских политика союзного австрийского командования, стремившегося выиграть на одновременном ослаблении врага и союзника и поэтому не оказывавшего русским поддержки даже в самые ответственные момен-

¹ Politische Korrespondenz Friedrichs des Grossen, Band XIX, S. 476.

² Carlyle. Цит. соч., стр. 251.

³ Архенгольц. Цит. соч., стр. 334.

⁴ Carlyle. Цит. соч., стр. 282.

⁵ Prutz. Preussische Geschichte, Band III, Stuttgart, 1901, S. 124.

ты: так был утерян результат решительной победы при Кунерсдорфе и не обеспечена возможность прочной оккупации Берлина в 1760 году. Из тех же сложностей межсоюзнических отношений проистекала вредная неустойчивость стратегических планов союзников и многочисленные перемены в их операционных планах. Тяжело отразились и дефекты организации подсобных служб русской армии, особенно службы снабжения. Неумение обеспечить правильную доставку провианта войскам, далеко продвинувшимся на вражескую территорию, вынуждало к зиме освобождать области, завоеванные во время летних кампаний.

Именно эти причины, а отнюдь не могущество Пруссии и не таланты ее короля придали войне столь затяжной характер.

Оценивая обстановку войны, Наполеон именно так и объяснил ее особенности. «Все доказывает, — писал он, — что, если бы союзные державы действовали искренне, он (Фридрих II.— Н. К.) не выдержал бы и одного похода против Франции, Австрии и России, что он не мог бы сделать и двух кампаний против Австрии и России, если бы Петербургский кабинет оставал зимовать свои армии на театре действий...» «Если к несогласиям союзников и их системе ведения войны добавить огромные английские субсидии, — отмечает он далее, — становится очевидным, что в способности Фридриха к длительной борьбе не было ничего чудесного».

Однако и при всех этих условиях Пруссия к концу 1761 года была разгромлена безоговорочно. В начале 1762 года новый британский премьер лорд Бют, подготавливая мирные переговоры, говорил русскому послу в Лондоне Голицыну, что считает потерю Фридрихом Восточной Пруссии неизбежной, и запрашивал «какую часть из прусских завоеваний государь ваш пожелает за собой удержать»¹.

★

История Великой Отечественной войны против нацистской Германии еще не написана, но мудрость, сила и грандиозность размаха действий Красной Армии против врага, сравнительно с тем, что мы наблюдали в Семилетней войне, уже ясны всем.

В исходе Отечественной войны положительную роль сыграло то, что с начала ее был устранен самый вредный тормоз в развитии действий вооруженных сил коалиции — разногласия с союзниками в стратегических планах. Выступая на основном, восточном, фронте войны как единственная и единая военная сила, Красная Армия действовала с величайшей последовательностью. Силы ее, сравнительно с силами русской армии в войне 1756—1762 гг., возросли неизмеримо.

В то время русские могли вести операции лишь в одном из важнейших стратегических на-

правлений и избирали его то по линии Кенигсберг—Берлин, то Кюстрин или Франкфурт—Берлин, то Бреслау—Берлин. При наличных силах и положении наиболее естественным было первое. Оно требовало овладения Данцигом и Кольбергом, но тут вставало на пути много дипломатических (Данциг считался польским городом) и военных препятствий, которые русское правительство не сумело преодолеть. К тому же союзники, боявшиеся закрепления России в Восточной Пруссии и Померании, всячески отвлекали ее от этого направления. Последовательные действия со стороны Силезии (через Познань), как этого требовали австрийцы, конечно, тоже могли привести к положительным результатам. Но и тут нужна была решительность и последовательность, а именно ее в действиях союзников вовсе не было.

В теперешней войне мы видим совершенно иную картину. Если каждое из вышеуказанных оперативных направлений при последовательности и настойчивости действий тогда могло быть губительным для Пруссии, то теперь Красная Армия решительно наступала одновременно по всем направлениям. Наши войска овладели Восточной Пруссией, продвинулись в Померании, таранили оборону противника в Бранденбургии и разгромили его в Силезии — стремительный и могучий натиск хлынул к Берлину с севера, востока и юга Германии.

С падением столицы Германии стало очевидным, что судьба империи решена и на этот раз — радикально.

«Уменьшение сил короля прусского есть только кратковременное и такое, что если им не воспользоваться, то он усилится вдвое против прежнего... В какое состояние приведет он свое войско в два года мира, если в его руках останутся те же средства?» — писало русское правительство в меморандуме своим союзникам в январе 1760 года. Эта опасность предотвращена твердыми решениями Крымской конференции. Нацистская Германия должна быть не только разгромлена, но навсегда ликвидирована и опасность германской агрессии вообще.

★

Семилетняя война, как известно, не внесла изменений в территориальное положение стран европейского континента. Тем не менее значение ее для истории XVIII века да и последующего времени было огромно. При формальном сохранении границ реальное соотношение сил государств радикально изменилось.

Громадный ущерб понесла Франция, раньше претендовавшая на положение европейского гегемона и соперничавшая на море с Англией. Ее участь разделила Испания, расплатившаяся за свое запоздалое и неосторожное вмешательство в войну на стороне Франции потерей ряда колоний. Ничего не приобрела Швеция, армия которой лишь скомпрометировала себя действиями, вызывавшими общие насмешки над ее бессилием. Австрия, не сумев добиться «компенсаций», ради которых она вступила в войну, дошла до эко-

¹ Цит. по Соловьеву. История России, т. XXV, стб. 1826—1827.

номического краха. Уже в конце 1761 года она была вынуждена сократить численность армии, распустить по две роты в каждом полку и соответственно уменьшить количество офицеров. Ее лучшие, наиболее промышленные провинции были разорены.

Сильнее всех пострадала Пруссия. Она была разорена и истощена до крайности. Международное положение ее после войны было весьма неблагоприятным. Лишенная союзников, изолированная, ослабленная, окруженная ненавистью соседей, она, на некоторое время оставив мечты о захватах и росте влияния, должна была думать лишь о сохранении оставшегося.

Россия, конечно, тоже пострадала от войны, но ее потери были гораздо меньше, а силы восстановления неизмеримо больше. При этом военная сила страны очень увеличилась. Если русское войско всегда обладало великолепными солдатами, то теперь оно имело и прекрасных офицеров, а среди ее старших командиров были люди выдающихся дарований. Рядом с Румянцевым готовился к своему великому будущему подполковник Суворов.

Развивался процесс оформления и кристаллизации русской школы военного искусства и близилось время военных триумфов и дипломатических побед России, обстановка которых была подготовлена и создана в результате поражения Пруссии.

Историческая случайность в лице Петра III спасла Пруссию от судьбы, которую она заслу-

жила и должна была получить в итоге Семилетней войны. Случайность, «чуждость» этого факта была отчетливо понята Фридрихом. Он сделал для себя правильные выводы из опыта войны и в своем завещании призывал своих преемников никогда впредь не ввязываться в войну с Россией, победить которую все равно никогда не удастся. «Это страшная держава, — писал Фридрих, — которая через столетие заставит дрожать весь мир».

Это была формулировка умного врага. Если же обратиться к истории последующего времени, не трудно убедиться, что тезис о могуществе России, хотя и в совершенно ином смысле, чем в формулировке Фридриха, проявился с полной силой в 1812—1813 гг., когда Россия, отразив натиск поработившего Европу Наполеона, сокрушила его и вернула европейским народам их национальную самостоятельность. В конце семидесятых годов XIX века Россия поддерживал независимость и государственность балканских славян, а в наши дни Советский Союз, совместно с другими великими демократическими державами, дал Европе освобождение от ига гитлеризма.

Победы России в Семилетней войне открыли нашей стране широкие возможности, реализованные в успехах русской политики второй половины XVIII века. Наши победы в Великой войне 1941—1945 гг. начинают новую эру величия и мощи нашей Родины, далеко превосходящую всё когда-либо бывшее.

ЖИЗНЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

**Акад. В. А. КОМАРОВ, член-корреспондент Академии наук СССР
Н. А. МАКСИМОВ, проф. Б. Г. КУЗНЕЦОВ**

★

Двадцать пять лет тому назад оборвалась жизнь Климента Аркадьевича Тимирязева, одного из самых замечательных русских ученых. Проследим основные этапы этой жизни. Как нам кажется, жизнь Тимирязева и идейные влияния, сказавшиеся в его мировоззрении, во многом объясняют направление и характер исследований Тимирязева в области физиологии растений.

Тимирязев родился 22 мая 1843 года. Уже в детстве, в своей семье, он воспринял революционно-демократические идеи и настроения. На первом листе «Науки и демократии», книги, посвященной родителям, Тимирязев писал, обращаясь к ним:

«С первых проблесков моего сознания, в ту темную пору, когда, по словам поэта, «под кровлею отеческой не западало ни одно жизни чистой, человеческой, плодотворное зерно», вы внушали мне, словом и примером, безграничную любовь к истине и кипучую ненависть ко всякой, особенно общественной, неправде» (соч. т. IX, стр. 11).

Отец К. А. Тимирязева, Аркадий Семенович, исповедывал последовательные республиканские взгляды. Он был участником похода 1813—14 г.г. и в конце его, приближаясь к Парижу, мечтал увидеть исторические места Французской революции. Это было известно окружающим, и поэтому в тот самый момент, когда Аркадий Семенович рассматривал в бинокль с Монмартра расстилавшийся перед ним Париж, он получил распоряжение начальства о немедленном возвращении домой.

После военной службы Аркадий Семенович служил директором таможни, но в конце концов репутация «неблагонадежного» лишила его службы. Поэтому, когда Клименту Аркадьевичу было 15 лет, многочисленная семья осталась без средств, и с этого времени уже началась трудовая жизнь юноши Тимирязева.

В семье Тимирязевых не было раскола между «отцами и детьми». Родители передавали детям радикальные по тогдашнему времени общественные идеи. Семейная хроника рассказывает, что в 1848 году один знакомый обратился к Аркадию Семеновичу с вопросом о будущности его

четырёх сыновей. «Какую карьеру готовите Вы своим четырем сыновьям?» — «Какую карьеру?» — ответил отец, — а вот какую: сошью я пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять ружей и пойдем с другими на Зимний дворец...»

К. А. Тимирязев родился в Петербурге. С детства его окружали впечатления и воспоминания великого города. В статье «Петербург и Москва» Тимирязев писал:

«Я родился, буква льно, в двух шагах от той скалы, на которую взлетает «гигант на бронзовом коне», в самом начале той Галерной улицы, которую менее чем за два десятка лет перед тем залил кровью победитель 14 декабря своей картечью, косившей дрогнувшие ряды восставших — войска и народа. Петербург, с самого начала прошлого века, для меня или собственное переживание, или живое предание» (т. IX, стр. 275—276).

Отец Тимирязева и его мать были очевидцами восстания декабристов.

Пятилетним ребенком во время революции 1848 года Тимирязев прислушивался к разговорам старших и в какой-то мере воспринимал их враждебное и скептическое отношение к деятелям реакции. В то же время герои освободительных войн XIX века были близки Тимирязеву с самых ранних лет.

«Мое детство, — писал он, — прошло еще под впечатлением живого предания «священной памяти двенадцатого года»; знал я лично и героев-севастопольцев и тех, что проделали зимний поход через Балканы (1877 г.) и освободили болгарский народ» (т. IX, стр. 416).

Семья пробудила у Тимирязева как общественные, так и естественнонаучные запросы. Старший брат Климента Аркадьевича, Дмитрий, оказал большое влияние на его научные интересы. Он был крупным специалистом в области сельскохозяйственной и фабрично-заводской статистики. О его работах упоминает Ленин в статье «К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике». Характерно, что социально-экономические и статистические работы Дмитрия Аркадьевича Тимирязева базировались на широком естественнонаучном образовании. Одна из

первых работ Дмитрия Тимирязева была чисто физиологической и относилась к трудам Сенебье по физиологии растений, т.е. к первым началам той дисциплины, которую избрал впоследствии Климентий Аркадьевич.

От старшего брата Тимирязев мог получить и некоторые первоначальные физико-химические экспериментальные навыки. Дмитрий Тимирязев устроил у себя дома лабораторию по переработке нефти. В экспериментах ему помогал Климентий Аркадьевич. Однако в полной мере естественнонаучные интересы были результатом более широких общественных влияний. Климентий Аркадьевич достиг юношеского возраста в начале шестидесятых годов. Шестидесятые годы на всю жизнь предопределили направление научных и общественных стремлений Тимирязева.

«Поколение, для которого начало его сознательного существования совпало с тем, что принято называть шестидесятыми годами, — писал Тимирязев, — было, без сомнения, счастливейшим из когда-либо нарождавшихся на Руси. Весна его личной жизни совпала с тем дуновением общей весны, которое пронеслось из края в край страны, пробуждая от умственного оцепенения и спячки, сковывавших ее более четверти столетия. И вот почему те, кто сознают себя созданием этой эпохи, неизменно хранят благодарную память о тех, кто были ее творцами» (т. VIII, стр. 139).

Одной из характерных особенностей шестидесятых годов был небывалый подъем естественнонаучных интересов в русском обществе.

У Добролюбова и Чернышевского Тимирязев воспринял острое враждебное отношение ко всяким полумерам, реформизму, попыткам ограничить творческую революционную инициативу народа.

Идея общественного долга, стремление использовать данные науки для просвещения и освобождения народа были характерной чертой естествознания шестидесятых годов.

«Если спросят, — пишет Тимирязев, — какая была самая выдающаяся черта этого движения, можно, не задумываясь, ответить одним словом — энтузиазм. Тот увлекающий человека и возвышающий его энтузиазм, то убеждение, что делается дело, способное поглотить все умственные влечения и нравственные силы, дело, не только лучше всякого другого могущее скрасить личное существование, но, по глубокому сознанию, и такое, которое входит необходимою составною частью в более широкое общее дело, как залог подъема целого народа, подъема умственного и материального. Этот энтузиазм был отмечен чертою полного бескорыстия, доходившего порою до почти полного забвения личных потребностей» (т. VIII, стр. 176).

В деятельности и взглядах Писарева Тимирязев видел доказательство первостепенной общественной роли естествознания в шестидесятых годах.

«По образованию филолог, дилетант в естествознании, знакомом ему только из книг, увлекающийся, но зато и увлекавший, Писарев выступил убежденным защитником культурной заботы естествознания вообще и в современном

русском обществе в особенности. Теперь может вызвать улыбку, например, его горячий призыв, обращенный к Салтыкову-Щедрину — бросить свои побасенки вроде «Губернских очерков» и заняться единственной насущной, по его мнению, задачей — популяризацией естествознания, но, тем не менее, пробегаая на расстоянии полувека эти горячие красноречивые странички так рано отнятой судьбою у русской литературы талантливого и широко образованного критика-публициста, понимаешь, какие глубокие корни пустило в общество того времени сознание не узко утилитарного, а общеобразовательного, философского значения того самого естествознания, занятие которым еще так недавно обыкновенному русскому обывателю представлялось каким-то непонятным барским чудачеством» (т. VIII, стр. 175).

Одной из основных особенностей в биологии шестидесятых годов было распространение экспериментальных методов и широкое применение эксперимента в университетском преподавании.

Тимирязев рассказывает о преподавании ботаники в Петербургском университете. Во второй половине 50-х годов в университете начал преподавать Ценковский, блестящий экспериментатор, продвинувший далеко вперед русскую ботанику и оказавший значительное влияние на развитие других отраслей биологии. Преемниками Ценковского в Петербургском университете были: А. Н. Бекетов и А. С. Фаминцын. При них кафедра ботаники была разделена на две специальности: морфологии и физиологии. Фаминцын избрал своей специальностью физиологию растений. Благодаря этому в Петербургском университете физиология растений стала самостоятельной дисциплиной раньше, чем где бы то ни было в мире, и этот университет положил начало школе молодых русских физиологов (Розанов, Баранецкий, Натали, Бородин). Бекетов — профессор с широкими общественными и философскими интересами подготовил новое поколение русских биологов к восприятию эволюционных идей.

Крупными естественнонаучными движениями оказавшими влияние на мировоззрение шестидесятников, были дарвинизм и спектральный анализ.

«Нам, людям шестидесятых годов, — вспоминает Тимирязев, — свидетелям восторженного приема этих двух открытий, отродно пробегать в памяти вызванное ими полувековое научное движение, представлять себе его дальнейший рост, особенно при виде попыток попятного движения, невольно наводящих порою на мысль о временном упадке научного духа под натиском возрождающихся метафизических и мистических веяний. Пишущему эти строки привелось самому принять скромное участие в этих обоих движениях и выпало особое счастье вблизи его великих пионеров. Как биолог-критик я уже через пять лет после появления книги Дарвина выступил убежденным защитником и толкователем этого учения, а как физиолог-экспериментатор я по свойству предпринятой мною задачи должен был воспользоваться гениальным методом Бунзена и Кирхгофа, с которым при первой

возможности в конце шестидесятых годов послепшли ознакомиться под руководством самих его творцов, и затем применил его к задачам физиологии».

Студенческие годы К. А. Тимирязева совпадают с первой половиной 60-х годов. В 1861 году он поступил на естественное отделение Петербургского университета. Много лет спустя, в 1905 году* в статье «На пороге обновленного университета» Тимирязев вспоминал свои студенческие годы. Он говорил о глубине общественных стремлений студенчества. Отец Тимирязева не вмешивался в его студенческие дела и не отягощал переживаний сына непрошенными советами.

Дело в том, что министр народного просвещения Путьтин в 1862 году потребовал от студентов, чтобы каждый подписал так называемую «матрикулу» с обязательством не участвовать в общественных беспорядках. Отказавшихся подписать матрикулу выслали из столицы.

Перед сверстниками Тимирязева была альтернатива: продолжать учение, примирившись с полицейским произволом, или оставить университет. Молодежь бескорыстно и глубоко любила науку, любила университет.

«Для меня лично, — писал Тимирязев, — наука была все. К этому чувству не примешивалось никаких соображений о карьере, не потому, чтобы я находился в особых благоприятных обстоятельствах, — нет, я сам зарабатывал свое пропитание, — а просто мысли о карьере, о будущем не было места в голове: слишком полна она была настоящим» (т. IX, стр. 45).

«Приходилось, — писал Тимирязев, — или подчиниться новому позднему строю, или отказаться от университета, отказаться, может быть, навсегда от науки, — и тысячи из нас не поколебались в выборе. Дело было, конечно, не в каких-то матрикулах, а в убеждении, что мы в своей скромной доле делаем общее дело, даем отпор первому дуновению реакции, — в убеждении, что сдаваться перед этой реакцией позорно. Но нелегко было на душе. Помнится, когда настал день лекции Д. И. Менделеева, — я особенно увлекался этими лекциями, — вдруг стало так жутко, что подвернись в эту минуту какой-нибудь Мефистофель с матрикулой, пожалуй, подмахнул бы ее, и не чернилами, а кровью» (т. IX, стр. 46).

«...Позднее, — вспоминает Тимирязев, — такой Мефистофель, действительно, явился в образе участкового пристава, сначала лестью, а потом угрозой убеждавшего вернуться в университет, — но тщетно» (т. IX, стр. 46).

Наиболее способные, передовые и благородные юноши поколения шестидесятников пожертвовали наукой во имя общественного долга. Это была большая жертва.

«Особенно выводила из себя мысль, — пишет Тимирязев, — что вот товарищ, аккуратный остзейский барончик, теперь сидит и слушает Менделеева. А почему? Потому только, что помимо химии, он не понимает, не чувствует того, что чувствую, что понимаю я. И утешался я только мыслью, что и науку-то он, верно, не по-

нимает по-настоящему, и не пойдет она ему впрок, что и оправдалось» (т. IX, стр. 46).

Полвека спустя Тимирязев писал о своем решении:

«И вот теперь, на седьмом десятке, когда можешь относиться к своему далекому прошлому, как беспристрастный зритель, я благодарю судьбу или, вернее, окружавшую меня среду, что поступил так, как поступил. Наука не ушла от меня, — она никогда не уходит от тех, кто ее бескорыстно и непритворно любит; а что стало бы с моим нравственным характером, если бы я не устоял перед первым испытанием, если бы первая нравственная борьба окончилась компромиссом! Ведь мог же я утешать себя, что, слушая лекции химии, я «служу своему народу». Впрочем, нет, я этого не мог, — эта отвратительная фарисейски-самонадеянная фраза тогда еще не была пущена в ход» (т. IX, стр. 46).

Тимирязев смог вернуться в университет лишь год спустя в качестве вольнослушателя.

Выбор научных дисциплин, которые Тимирязев слушал в университете, и вообще его научные интересы в студенческие годы были связаны со стремлением демократа-шестидесятника облегчить условия народной жизни.

Уже в студенческие годы Тимирязев наряду с научными занятиями по физиологии и другим дисциплинам начал широкую публицистическую и популяризаторскую деятельность. Она также вытекала из общественных идей и настроений 60-х годов. Характерно перечисление тех работ, которые Тимирязев написал на студенческой скамье. В 1864 году он написал статьи «Грибальди на Капрере» и «Голод в Ланкашире». С того же года Тимирязев начинает помещать в «Отечественных записках» статьи о дарвинизме и в следующем году выпускает «Краткий очерк теории Дарвина».

В 1866 году Тимирязев окончил вольнослушателем естественное отделение и получил ученую степень кандидата за работу о печеночных мхах. Два года спустя Тимирязев сделал на съезде естествоиспытателей свое первое сообщение «О разложении атмосферной углекислоты растениями под влиянием солнечного света».

В 1869 году появилась программная работа Тимирязева «Значение лучей различной преломляемости в процессе разложения углекислоты растениями». Эта работа явилась началом нового направления в ботанике.

Новое направление состояло в применении к физиологии растений принципа сохранения энергии. Тимирязев хотел показать, что энергия света превращается в потенциальную энергию при ассимилировании углерода растением. Этот важнейший принципиальный вопрос решался другим, более частным и специфическим. Для того чтобы показать, что в растении происходит превращение энергии, что физиология растения подчинена общему для естествознания принципу сохранения и превращения энергии, нужно было экспериментально показать, что процесс ассимиляции углекислоты зеленым листом успешнее всего идет в лучах, несущих с собой больше энергии.

До Тимирязева считалось, что разложение углекислоты не зависит прямым образом от энергии луча и что в наибольшей степени этому процессу содействуют самые светлые и самые яркие лучи спектра.

Однако этот взгляд, ставший уже традиционным, постепенно подтачивался рядом крупнейших физических и физико-химических открытий.

Тимирязев в своей работе «Солнце, жизнь и хлорофилл» прослеживает постепенную эволюцию другого взгляда на связь между солнцем и физиологическим процессом в растении. Наиболее фундаментальным фактом в истории естествознания, который подготовил новый этап физиологии растений, был закон сохранения энергии. Одновременно с законом сохранения энергии развивались другие крупные направления в теоретической и экспериментальной физике, которые подготовило распространение и победу новых идей в физиологии растений. Ряд открытий XIX века постепенно заменил субъективное деление света на различные цветные лучи объективным делением их на волны, отличающиеся друг от друга лишь частотой. Выработалось представление о лучистой энергии.

Тимирязев, последовательный сторонник объективного метода в естествознании, глубоко проникший в существо закона сохранения энергии и в идеи электромагнитной теории света, последовательно провел эти новые в то время научные принципы через всю область физиологии растений. В предисловии к книжке «Солнце, жизнь и хлорофилл» Тимирязев дает очень интересную для характеристики его мировоззрения формулировку связи между законом сохранения энергии, понятием работы и проблемами хлорофилла.

«Я был первым ботаником, заговорившим о законе сохранения энергии и соответственно с этим заменившим и слово «свет» выражением «лучистая энергия». Это не было простой заменой одного слова другим, но существенно изменяло основную точку зрения и вызвало сомнение в верности самих фактов. Став на точку зрения учения об энергии, я первый высказал мысль, что логичнее ожидать, что процесс разложения углекислоты должен зависеть от энергии солнечных лучей, а не от их яркости. Это выступает особенно ясно, если вместо слова «энергия» подставить определение, данное этому слову тем же Ранкиным, которым введен в науку этот термин, вытеснивший стоявшее ранее на его месте слово «сила». Энергия — это способность производить работу, это — работоспособность. Но при разложении углекислоты производится химическая работа, порывается средство между углеродом и кислородом, мерой которого, как учила возникшая в то же время термохимия, мы должны считать тепловой эффект реакции соединения углерода с кислородом» (т. I, стр. 190).

Если свет — это распространение энергии, то работа солнечного луча должна объяснить влияние солнца на жизнь растений.

Дрепер утверждал, что желтый свет, самый яркий, сильнее всего действующий на глаз, сильнее других действует на растение. Тимирязев на основе целого ряда новых химических и физических открытий показал несостоятель-

ность этой гипотезы. Он не остановился на этом, а проанализировал самый эксперимент Дрепера.

Для того чтобы проверить результаты Дрепера, Тимирязев в 1869 году пропускал свет через жидкости различного цвета и показал, что желтые лучи отнюдь не влияют на разложение углекислоты в приписываемой им максимальной степени. Далее нужно было доказать, что разложение углекислоты прямым образом зависит от энергии лучей. Здесь Тимирязеву пришлось вступить непосредственно в область физики света. В то время считалось, что наибольшая энергия свойственна красным лучам.

В результате ряда опытов Тимирязев нашел, что красные лучи сильнее всего действуют на хлорофилл. Сейчас теория фотосинтеза во многом изменила выводы Тимирязева, усложнив и конкретизировав картину процессов в хлорофилле. Однако исходным пунктом этого развития были эксперименты, показавшие, что на растения действуют лучи, обладающие наибольшей энергией, что причиной разложения углекислоты служат именно те лучи, которые поглощаются растением. Эти работы Тимирязева были признаны во всей Европе за исключением некоторых кругов германской науки. Националистически настроенные немецкие физики и ботаники отрицали значение работ Тимирязева, опровергших традиционные взгляды немецких авторитетов. Сакс и Пфефер, а за ними и другие продолжали цепляться за устаревшие взгляды. Однако французские и английские ученые с самого начала оценили значение новых идей, а дальнейшее развитие науки доставило им полное подтверждение и признание.

Доказав, что красные лучи в наибольшей степени действуют на хлорофилл, Тимирязев далее развил свое учение о хлорофилле. По мнению Тимирязева, хлорофилл — это оптический и химический сенсibilизатор, позволяющий свету действовать химически на углекислоту, которая не окрашена и следовательно не поглощает света. Затем Тимирязев доказывает, что фотохимическое действие луча зависит не от одной только степени его поглощаемости, но и от энергии и амплитуды колебания входящих в его состав волн, и что хлорофилл, поглощающий те именно лучи, которые обладают наибольшей энергией, можно считать не только сенсibilизатором, но «может быть наилучшим из сенсibilизаторов, особенно приспособленным к своей функции».

Тимирязев рассматривает поглощение углерода с количественной точки зрения и устанавливает, что ассимиляция углерода при небольших напряжениях света пропорциональна количеству света. При возрастании напряжения света ассимиляция отстает от количества света и достигает максимума при напряжении, приблизительно равном половине напряжения солнечного луча, падающего на лист в нормальном направлении. Если дальше напряжение опять возрастает, то ассимиляция уже не усиливается. Поэтому, когда солнце особенно ярко светит, некоторое количество света уже не может быть использовано для ассимиляции углекислоты и вызывает лишь перегрев листьев. В результате длительной био-

логической эволюции растения устраняют вредное влияние избыточного света, поворачивая листья ребром к свету. Это свойство резко выражено у так называемых «растений-компасов».

Таким образом, Тимирязев перенесил место между двумя крупнейшими направлениями естествознания XIX века, между дарвинизмом и законом сохранения энергии, между биологией и физикой, между историко-биологическим и экспериментально-физиологическим исследованием органической природы. Этот синтез связан с мировоззрением Тимирязева, с представлением об эксперименте и практике как о критерии научной истины, с идеей непрерывного развития науки, с апологией физического единства сил природы, с отрицанием мистических «скрытых сил», с ненавистью ко всякой метафизике. Непросто увидеть, что эти идеи связаны с общественными идеями шестидесятников. Покажем теперь, как развилось мировоззрение Тимирязева в 70-х годах и позже.

В 1868—1870 гг. Тимирязев учился и работал за границей под руководством Кирхгофа, Бунзена, Гофмейстера, Клода Бернара, Бертоло и Бусенго.

Остановимся подробнее на фигуре Бертоло, характерной для западноевропейских связей Тимирязева.

Тимирязев неоднократно излагал в своих статьях отдельные взгляды и общее мировоззрение Марселена Бертоло, которого он называл «Лавуазье XIX столетия». К Бертоло Тимирязев чувствовал особую симпатию, основанную на глубокой конгенитальности. Тимирязева и Бертоло роднил, прежде всего, глубокий демократизм. Далее Тимирязева и Бертоло соединяет идущее из самой глубины научного мировоззрения стремление к синтезу различных естественнонаучных дисциплин и широкое применение экспериментального метода в новых областях.

Тимирязев подчеркивает, что наиболее крупной заслугой Бертоло было объединение органической и неорганической химии. Это объединение изгнало из органической химии антинаучные виталистические представления. В течение веков химики объясняли процессы неорганической природы силой сродства, а процессы органического мира считали проявлением особой, присущей только живым существам, жизненной силы. Это разграничение долгое время опиралось на то обстоятельство, что в неорганической химии широко пользовались синтезом, а в органической химии царил только анализ, а синтез оставался «тайной жизни». «Но Бертоло, как и все строгие передовые умы середины века, был антивиталистом — и первой своей задачей он поставил изгнание витализма из этой главной его твердыни» (т. VIII, стр. 285).

Первым замыслом Бертоло было создание органических тел из химических элементов. В течение десяти лет Бертоло не только получил ряд органических веществ из элементов, но и завершил переворот в химии классической работой «Органическая химия, основанная на синтезе».

Далее Бертоло, доказывая, что во всех областях химии действует не таинственная жизнен-

ная сила, а химическое сродство, нашел величину, которая измеряет его.

«Как в первой области своей деятельности он объединил задачи, казалось, совершенно различных отделов химии, так на этот раз он уже объединяет задачи двух смежных наук — химии и физики в общей новой области — термохимии» (т. VIII, стр. 294).

Для Тимирязева, который стремился подойти к биологическим явлениям как физик, эта физическая тенденция в работах Бертоло была особенно близкой.

В Париже Тимирязев общался с русской революционной эмиграцией. В 1870 году в Париж приехал Герцен, и Климент Аркадьевич надеялся, что он сможет познакомиться с властителем своих юношеских дум. Однако Тимирязеву удалось присутствовать лишь на похоронах великого изгнанника. Похороны Герцена были для Тимирязева памятным днем. В это время его влекло и к освободительной борьбе, и к естественнонаучным знаниям. Тимирязев всю жизнь удавалось сочетать эти интересы в единой борьбе за науку и демократию.

Вернувшись из-за границы, Тимирязев защитил магистерскую диссертацию «Спектральный анализ хлорофилла» (1871 г.) и был избран экстраординарным профессором Петровской сельскохозяйственной академии. Четыре года спустя была напечатана докторская диссертация Тимирязева «Об усвоении света растением» (1875 г.). Защитив эту диссертацию, Тимирязев стал ординарным профессором Петровской академии, а вскоре (1877 г.) занял кафедру анатомии и физиологии растений Московского университета. Уже в 70-х годах в Петровской академии, а затем в Московском университете Тимирязев становится центром притяжения для радикальных элементов профессуры и студенчества. В 70-х годах в Петровской академии учился Вл. Короленко. С группой других студентов он был исключен из академии за участие в освободительном движении. Тимирязев выступил в их защиту. Впоследствии Короленко, вспоминая этот случай, писал Клименту Аркадьевичу:

«Ваши питомцы любили и уважали вас в то время, когда вы с нами спорили, и тогда, когда учили нас ценить разум, как святыню. И тогда, наконец, когда вы пришли к нам — трем арестованным вашим студентам, а после до нас доносился из комнаты, где заседали совет с Ливеном, ваш звонкий, независимый и честный голос. Мы не знали, что вы тогда говорили, но знали, что то лучшее, к чему нас влекло тогда неопределенно и смутно, звучит в вашей душе в иной, более зрелой форме».

Работа в Петровской академии и в Московском университете сочеталась с частыми поездками за границу. Во время этих поездок Тимирязев расширял и углублял свои связи с западноевропейским научным миром. В 1877 году Тимирязев встретился с Дарвином.

Подлинной жемчужиной научной и — смело можно утверждать — художественной литературы являются воспоминания Тимирязева о Дарвине. Тимирязев рассказывает о своем посещении Дауна, где жил Дарвин.

«Когда попадешь в Даун, когда преступишь корог этого небольшого кабинета, в котором ежедневно вот уже полвека работает этот могучий ум, когда подумаешь, что через минуту очутишься в присутствии человека, которого потомство поставит наряду с Аристотелями и Ньютонами, невольно ощущаешь понятную робость, но это чувство исчезает без следа при первом появлении, при первых звуках голоса Чарльза Дарвина.

Ни один из его известных портретов не дает верного понятия о его внешности; густые, щеткой торчащие брови совершенно скрывают привлекательный взгляд этих глубоко впалых глаз, а главное, все портреты, в особенности прежние, без бороды, производят впечатление коренастого толстяка, довольно буржуазного вида, между тем, как в действительности высокая, величаво спокойная фигура Дарвина, с его белой бородой, невольно напоминает изображение ветхозаветных патриархов или древних мудрецов. Тихий, мягкий, старческий ласковый голос довершает впечатление; вы совершенно забываете, что еще за минуту вас интересовал только великий ученый; вам кажется, что перед вами — дорогой вам старик, которого вы давно привыкли любить и уважать, как человека, как нравственную личность... В его разговоре серьезные мысли чередовались с веселой шуткой; он поражал знанием и верностью взгляда в областях науки, которыми сам никогда не занимался; с меткой, но всегда безобидной иронией характеризовал он деятельность некоторых ученых, высказывал очень верные мысли о России по поводу книги Макензи-Уоллеса, которую в то время читал; указывал на хорошие качества русского народа и пророчил ему светлую будущность» (т. IX, стр. 55—57).

Тимирязев был наиболее выдающимся русским пропагандистом дарвинизма. Он же нанес самые сокрушительные удары антидарвинистам, которые в конце прошлого века и в 90-х годах неоднократно пытались заменить учение о естественном отборе какими-либо новыми или, наоборот, старыми гипотезами. Эти попытки быстро приобретали широкую известность, с тем чтобы так же быстро кануть в Лету.

В частности — Тимирязев резко возражал против попыток противопоставить менделизм дарвинизму, заменить дарвинизм учением Менделя. Следует, кстати, отметить, что немецкие менделисты в полемике против дарвинизма много говорили о том, что Мендель, как истый немец, уже по одному этому выше англичанина Дарвина и что германская наука должна, оторвавшись от мирового прогресса, поднять на щит «истинно-немецкое» учение Менделя. Можно себе представить, с каким уничтожающим презрением отнесся Тимирязев к этой антинаучной, реакционной, националистической проповеди:

«Будущий историк науки, — писал Тимирязев, — вероятно, с сожалением увидит это вторжение клерикального и националистического элемента в самую светлую область человеческой деятельности, имеющую своей целью только

раскрытие истины и ее защиту от всяких недостойных наносов» (т. I, стр. 143).

На русской почве в 80-х годах крупным противником Дарвина был Данилевский, выступивший в 1885 году обширное сочинение, направленное против идей Дарвина. Тимирязев ответил Данилевскому уничтожающей критикой. Страхование вступился за Данилевского и сразу же оказался под убийственным огнем памфлетов и научно-популярных статей Тимирязева.

Яркий общественный темперамент Тимирязева, ясность его основных научных идей, представление о науке, как о служении народу, высокая идейность — подняли пропаганду дарвинизма до уровня наиболее выдающихся образцов русской общественной мысли конца прошлого века. В статьях Тимирязева, направленных против антидарвинистов, мы ясно видим исторические и литературные истоки. Здесь и разный сарказм Салтыкова-Щедрина, и последовательная ни перед чем не останавливающаяся ненависть Добролюбова ко всяческой реакции, и способность, разбивая реакционные взгляды врагов, тут же создавать замечательные позитивные построения.

В девяностых годах реакция все чаще наносила удары революционно настроенному студенчеству и радикальным элементам профессуры Петровской академии. В 1892 году Тимирязев был уволен из академии. Сам он рассказывает об этом следующее:

«Типичский представитель царской России кн. Мещерский в своем «Гражданине» писал по поводу моих книг и статей о дарвинизме следующее: «Профессор Петровской академии Тимирязев на казенный счет изгоняет бога из природы». Такой отзыв влиятельного «в сферах» журналиста, подкрепляемый открыто враждебным ко мне отношением Академии наук (в лице Фаминцына) и литературы (в лице высоко ценящего интеллигентной Страхова), развязал руки благоволившему к Данилевскому министру (Островскому) и побудил его принять меры, чтобы я долее не заражал Петровскую академию своим зловредным присутствием».

Нечего и говорить, что пропаганда дарвинизма продолжалась все шире и шире. Так же энергично Тимирязев боролся против неовиталистов, которые в 90-х годах и позже особенно часто начали воскрешать идеи «жизненной силы» и абсолютной независимости биологии от общих физико-химических закономерностей.

Борьба Тимирязева против неовиталистов встретила горячее сочувствие ряда передовых русских ученых. В частности речь Тимирязева на московском съезде естествоиспытателей, направленная против витализма, вызвала сочувственный отклик со стороны знаменитого русского эмбриолога А. О. Ковалевского.

Защита и развитие дарвинизма, борьба против мистики и мракобесия, широкая общественная деятельность сделали имя Тимирязева в 80—90 годах чрезвычайно популярным в среде передовой русской интеллигенции. В профессорской среде его называют «красным», и он становится притягательным центром для наиболее радикальных представителей академического мира.

Группировавшийся вокруг Тимирязева кружок передовых русских ученых был достаточно одиозным в глазах реакционеров. Реакция росла, и лишив Тимирязева в 1892 году кафедры в Петровской академии, она заставила его в 1899 году пережить в университете такие события, которые чуть не вызвали ухода Тимирязева из университета. На этот раз поводом были студенческие волнения.

В 1899 году были изданы т. н. «временные правила» для университетов, согласно которым студентам, участвовавшим в освободительном движении, надлежало немедленно сдавать в солдаты. Вскоре 183 студента Киевского университета испытали эту участь. Судьба киевских студентов стала известна всей России и вызвала волну протестов на студенческих сходках во всех университетских городах.

Тимирязев предложил профессорам Московского университета коллективно просить об отмене «временных правил». Однако он не встретил сочувствия со стороны большинства совета. Напротив, реакционные профессора предложили обратиться к студентам с коллективным увещанием о прекращении беспорядков. Отказ Тимирязева от участия в этом полицейском мероприятии послужил началом большой переписки между министерством народного просвещения, попечителем московского учебного округа и университетом. В результате Тимирязев получил выговор от попечителя и после этого подал в отставку. В конце концов Тимирязев остался в университете, но двенадцать лет спустя ему пришлось покинуть университет вместе с большой группой других профессоров. Мы остановимся на этом немного позже. Сейчас вернемся к заграничным впечатлениям Тимирязева в 900-х годах. Среди них особенно интересна встреча с большинством крупных западноевропейских дарвинистов и рядом английских ученых на дарвиновских торжествах 1909 года.

22—24 июня 1909 года в Кембридже праздновали пятидесятилетие выхода в свет «Происхождения видов». Здесь собралось сотни ученых со всего мира. В их числе был и Тимирязев. Заметка об этом юбилее была напечатана в XI и XII книжках «Вестника Европы» за 1909 год. Даже на фоне других тимирязевских статей она выделяется особенно большой живостью, непосредственностью впечатлений, глубиной обобщений, неожиданностью сопоставлений и образов — одним словом, всем тем, что характерно для каждой статьи Тимирязева, но здесь, пожалуй, достигло особенно высокого уровня. Тимирязев не был бы Тимирязевым — выдающимся историком науки, если бы в эти приезды в Кембридж он наряду с настоящим не видел прошлого.

Тимирязев сопоставляет творчество Дарвина с идеями самых великих ученых, которые жили в Кембридже — Бекона и Ньютона. Это историческое сопоставление еще раз подчеркивает основную черту в творчестве самого Тимирязева, которое в этой книге рассматривается в качестве синтеза, объединившего собственно-физические воззрения с биологическими. Об этой стороне дела, о связи между физикой и биологией, Тимирязев говорит и здесь. В статье о кембриджских

торжествах Тимирязев вспоминает, что 'дарвинизм возник как раз в то время, когда знаменитый историк естествознания Юэль закончила в Кембридже свою книгу об истории индуктивных наук. В этой книге Юэль говорил, что биология никогда не откажется от телеологического объяснения фактов, которое физика покинула еще в трудах Бекона. И как раз в том же 1837 году в Кембридже молодой натуралист Дарвин, недавно вернувшийся из кругосветного путешествия, заносил в свою записную книжку основной план своего будущего труда, задуманного «в истинно беконнианском духе», и показал, что этот дух ему был знаком лучше, чем учено-му-историку, статуя которого красуется рядом со статуей самого Бекона, и что именно этот «дух Бекона» освободил из сетей телеологии науки биологического цикла, как ранее освободил от них науки физические».

На следующий день после приезда в Кембридж Тимирязев был на рауте, которым начались юбилейные празднества. Раут состоялся в помещении художественного музея Фигг-Уильяма. Может быть, немногие из приглашенных могли в такой мере, как Тимирязев, оценить сокровища этого музея. Тимирязев осмотрел полотно Рембрандта, Тициана и Тернера, которыми он и раньше любовался в Кембридже. Хозяином, который принимал гостей, был знаменитый физик Рэйлей.

Прибывшие расходились по залам, и трудно было найти знакомых. Тимирязев увидел Илью Ильича Мечникова и с ним Рей-Ланкастера, «который, — как писал Тимирязев, — будет завтра, от имени всей английской науки, ломать копыта за дарвинизм с его лицемерными ценителями, выражающими свое кисло-сладкое сочувствие, в ожидании момента, когда, не нарушая приличия, можно будет вовсе сбросить маски» (т. VII, стр. 595).

Третий день торжеств был посвящен присуждению званий почетного доктора. Церемония началась торжественным шествием по городу. Будущие доктора под арками библиотеки оделись в красивые суконные мантии с черными бархатными отворотами и черные бархатные береты. Они пошли вслед за канцлером во главе процессии. В 1909 году в число почетных докторов Кембриджского университета избиралось двадцать человек. В их числе был и сам Тимирязев. За будущими докторами шли одетые в торжественные мантии руководители университета и доктора наук и искусств, начиная от теологии и кончая музыкой. Процессия последовала в зал сената. К каждому из лиц, получивших звание почетного доктора, подходил педель и протягивал руку — «но не затем, чтобы, как наши, недоброй памяти педеля, получить серебряный целковый, а затем, чтобы массивным серебряным жезлом ударить слегка по полу, приглашая следовать за ним. Он подводил к подножию канцлерского моста и почтительно удалялся. Тогда «публичный оратор», стоявший далеко от канцлера, изысканным жестом слегка прикоснувшись к своему берету — только канцлер и он в течение всей церемонии оставались с покрытыми головами — приступал к своему латинскому

приветствию, как обыкновенно прерываемому взрывами смеха и аплодисментов, слегка приподнимая свой берет» (т. VII, стр. 626—627).

Эти латинские приветствия по традиции должны содержать в нескольких строках краткую характеристику ученого, получающего степень почетного доктора, а также какую-нибудь шутку и цитату из классического писателя. Публичный оратор Сандис выполнял эту обязанность в течение многих лет и за 33 года до того таким же образом приветствовал и Дарвина. Тимирязев вспоминал, что в этот момент студенты спустились с хор на веревке к ногам Дарвина кукула обезьяны, которая была символом наиболее широко известной стороны дарвиновского учения.

В отношении Тимирязева публичный оратор наметнул в своей речи на тимирязевскую лекцию, прочитанную за несколько лет до этого в Королевском обществе. В этой лекции говорилось о влиянии солнечного света на усвоение углекислоты растениями. Поэтому Сандис вспомнил «сказочного питомца нашего университета Гулливера, который на острове Лапута увидел почтенного профессора, рассуждавшего о поглощении солнечных лучей огурцом». Затем Сандис вспомнил, что Тимирязев показал роль красных лучей спектра для органического мира и процитировал в этой связи слова Библии о радуге, которая была символом союза между небом и землей после потопа...

Этим торжеством закончилась официальная программа юбилея.

Вернемся к университетским делам. В начале 1911 года полицейские репрессии, связанные со студенческими волнениями, вызвали протест Московского университета. В результате ректор университета и его помощники были уволены. Тогда 124 профессора и доцента Московского университета подали в отставку. Тогдашний министр народного просвещения Кассо заявил, что он пошлет несколько десятков людей за границу, и они, вернувшись, заменят старых непокорных профессоров...

Среди профессоров, ушедших из университета, находился младший современник и друг Тимирязева замечательный русский физик Петр Николаевич Лебедев. Дружба Тимирязева с Лебедевым имеет принципиальное значение для характеристики творчества того и другого. Лебедев был наиболее талантливым русским физиком-экспериментатором конца XIX и начала XX века. Ему принадлежат классические работы, доказывающие существование светового давления. У Тимирязева интерес к творчеству Лебедева основывался не только на личном расположении. Лебедев был близок Тимирязеву направлением своих научных интересов. Экспериментальные доказательства максвелловской теории света имели особое значение в глазах ученого, чьи основные работы были посвящены проблеме влияния света на жизнь растений. Блестящие экспериментальные достижения Лебедева могли быть оценены замечательным экспериментатором-физиологом, который довел технику физиологического эксперимента до уровня физико-хи-

мических исследований. И, наконец, Лебедев — жертва реакционного разгрома Московского университета — был особенно близок Тимирязеву, наиболее последовательному борцу против реакции среди русских естествоиспытателей девяностых годов.

После ухода Лебедева из университета, по почину Тимирязева и некоторых других ученых, были собраны общественные средства для постройки физической лаборатории, в которой Лебедев и его ученики могли бы продолжать свою деятельность. Но большое сердце Лебедева было надломлено трагедией ухода из университета, и дни его были сочтены.

Когда Лебедев умер, Тимирязев писал о нем: «Лебедев умер... Мог ли я, годившийся ему в отцы, подумать, что дрожащей, старческой рукой буду когда-нибудь выводить эти слова? Мог ли я подумать, что глаза, которые застилают старческие слезы, увидят гроб того, кто и теперь живо встает в моей памяти молодым, жизнерадостным, красавцем в полном смысле слова, могучим богатырем, видевшим в каждом препятствии только вызов к борьбе? Той же красотой и богатырской мощью были отмечены и все его научные труды. К сожалению, не с одной только природой пришлось вести борьбу молодому ученому» (т. VIII, стр. 308—309).

«Волна столыпинского «успокоения», — писал Тимирязев, — докатилась до Московского университета и унесла Лебедева на вечный покой» (т. VIII, стр. 309).

События 1911 года отгородили Тимирязева не только от правящих кругов, но и от некоторых либеральных элементов московской профессуры. Тимирязев всегда был чужд кадетским кругам, но сейчас он увидел либералов в ярком свете нарастающей общественной борьбы и отвернулся от них навсегда. Политические воззрения Тимирязева приобрели все более последовательный революционный характер.

В предвоенные годы мировая наука и русское общество все в большей степени привыкло видеть в Тимирязеве живую совесть и разум русской науки. 22 мая 1913 года состоялось чествование Тимирязева, которому в это время исполнилось семьдесят лет. Самые широкие круги зарубежных ученых, особенно во Франции и в Англии, горячо приветствовали Тимирязева. Крупный английский ученый Фрэнсис Дарвин вспоминал в связи с этим, с какой теплотой и уважением отзывался о Тимирязеве гениальный отец Фрэнсиса — Чарльз Дарвин. Выдающийся английский ботаник Фрост Блекмен говорил, что Тимирязев является одним из наиболее популярных и высокоцитируемых в Англии ученых. Фармер писал, что Тимирязев — наиболее замечательный ботаник своей эпохи. Королевское общество, Кембриджский университет, университеты в Глазго и Женеве, Эдинбургское и Манчестерское ботанические общества и другие корпорации, членом которых был Тимирязев, горячо приветствовали его. Русские ученые с законной гордостью отмечали научные заслуги своего великого собрата и современника. И. И. Мечников, И. П. Павлов, М. А. Мензбир, С. Н. Навашин и другие слали юбиляру сердеч-

ные поздравления. И. П. Павлов говорил на этом торжестве:

«Климент Аркадьевич сам, как и горячо любимые им растения, всю жизнь стремился к свету, запасая в себе сокровища ума и высшей правды, и сам был источником света для многих поколений, стремившихся к свету и знанию и искавших тепла и правды в суровых условиях жизни».

Это уподобление Тимирязева основному объекту его научного исследования очень изящно, глубоко и остается верным как для физиологических открытий, так и общественного и научного мировоззрения Тимирязева. Действительно, кто мог компетентнее и глубже оценить мировоззрение Тимирязева, чем его гениальный современник и соратник И. П. Павлов.

Борьба против реакции, знакомство с революционным движением в России и на Западе, разрыв с либералами — все это приближало Тимирязева к единственному последовательно-революционному мировоззрению.

С марксизмом и в частности с «Капиталом» Тимирязев познакомился давно, в 1867 году, одним из первых в России. «Это было так давно, — писал он впоследствии, — что Владимир Ильич тогда еще не родился, а Плеханову, которого многие наши марксисты считают своим учителем, было всего десять лет. Осенью 1867 года проездом из Симбирска, где я производил опыты по плану Д. И. Менделеева, я заехал к П. А. Ильенкову, в недавно открытую Петровскую академию. Я застал П. А. Ильенкова в его кабинете-библиотеке за письменным столом: перед ним лежал толстый, свеженький немецкий том с еще заложенным в него разрезающим ножом, это был первый том «Капитала» Маркса. Так как он вышел в конце 1867 года, то, очевидно, это был один из первых экземпляров, попавших в русские руки. Павел Антонович тут же с восхищением и свойственным ему умением прочел мне чуть не целую лекцию о том, что уже успел прочесть; с предшествовавшей деятельностью Маркса он был знаком, так как провел 1848 год за границей, преимущественно в Париже, а с деятельностью пионеров русского капитализма — сахароваров был лично знаком и мог иллюстрировать эту деятельность и лично знакомыми ему примерами» (т. IX, стр. 337).

Однако первое знакомство не было глубоким. Тимирязев пришел к марксизму в результате ряда общественно-политических событий и в то же время на основе развития своих естественнонаучных взглядов. Тимирязев понял, что научная биология связана с научным истолкованием исторических явлений в рамках единого научного революционного мировоззрения. В сборнике «Наука и демократия» Тимирязев поместил статью «Ч. Дарвин и К. Маркс», где сопоставляет два великие открытия XIX века и указывает, что подобно тому, как Дарвин подчинил каузальному объяснению биологические процессы, подобно этому Карл Маркс дал научное истолкование общественных процессов.

В этой статье Тимирязев пишет:

«В своих объяснениях и Дарвин и Маркс исходили из фактического изучения настоящего,

но первый, главным образом, для объяснения темного прошлого всего органического мира, Маркс же, главным образом, для предсказания будущего, на основании «тенденции» настоящего, и не только предсказания, но и водействия на него, так как, по его словам, «Философы занимаются тем, что каждый на свой лад объясняют мир, а дело в том, как его изменить» (т. IX, стр. 340).

Империалистическая война 1914—1918 г. сделала политические убеждения Тимирязева еще более последовательными. В статье «Наука, демократия и мир» Тимирязев вплотную подходит к самым революционным выводам. Он считает полную последовательную демократию, основанную на революционном переустройстве общества, спасением человечества.

Оглядываясь вокруг себя, Тимирязев ищет те общественные силы, которые могли бы спасти человечество от социальной несправедливости и лжи.

Естественно, что Тимирязев стал на сторону партии большевиков, которая под руководством Ленина и Сталина повела Россию к революционному выходу из войны, социалистической революции, построению нового, более справедливого общественного строя и гигантскому прогрессу как в материальной, так и в духовной области. Защищая в 1917 году лозунги большевизма, Тимирязев клеймил защитников империалистической буржуазии.

Для характеристики политических настроений Тимирязева в 1914—1917 гг. интересна его переписка с Горьким. Переписка эта началась в 1915 году, когда Горький, приступая к изданию «Летописи», попросил Тимирязева участвовать в журнале.

«К Вам обращается человек, — начал свое письмо Горький, — очень многим обязанный в своем духовном развитии Вашим мыслям, Вашим трудам. Вероятно, Вы слышали мое имя, я — М. Горький — литератор. Я прошу Вашей помощи делу, которое мне удалось организовать, и я позволяю себе надеяться, что Вы не откажете доброму делу» (т. IX, стр. 437).

Горький прислал у Тимирязева нескольких статей о культурном значении экспериментальной науки, причем писал:

«Для нас наука естествознания — тот рычаг Архимеда, который единственно способен повернуть весь мир лицом к солнцу разума» (т. IX, стр. 438).

Тимирязев ответил Горькому согласием:

«Что я, век свой просидевший за наукой, — писал он, — вижу в ней главное спасение для нашего общества, нашего народа — не мудрено, да к тому же это может быть пристрастное заблуждение, увеличенное еще стариковской косностью, но слышать то же от Вас — молодого писателя-художника, всегда стоявшего близко к жизни — глубоко отрадно» (т. IX, стр. 452).

Вместе с этим письмом он послал Горькому очередное издание «Жизни растений». В ответ Горький в нескольких письмах рассуждал Тимирязеву о планах «Летописи» и направлял ему дальнейшие просьбы о сотрудничестве в журна-

ле. В письме, датированном 12 ноября 1915 года, Горький писал:

«Нам кажется, что умственная реакция доживает последние дни и что настал снова момент, когда необходимо обратить внимание общества от подчинения догматам религии и метафизики в сторону естествознания, эмпирических наук. Как 60-е годы с их увлечением естествознанием явились на смену идеализму и мистике, так, думается нам, завтрашний день должен восстановить серьезный и глубокий интерес к опыту науки — к деянию, единственно способному вывести мысль из тупика, в котором она бессильно бьется ныне. Доогой учитель, Вы представить себе не можете, какую радость вызывает у нас Ваше отношение к журналу и как оно поднимает меня. Спасибо Вам! Не стану отнимать у Вас времени на чтение моих излияний» (т. IX, стр. 440—441).

Горький заботился о помещении в «Летописи» очерков жизни и творчества русских ученых. Он просил Тимирязева написать в частности о Мечникове.

«Именно Вы, — писал Горький, — и только Вы можете с должествующей простотой и силой рассказать русской публике о том, как много потеряла она в лице этого человека, о ценности его оптимизма, о глубоком понимании ценности жизни и борьбе его за жизнь», (т. IX, стр. 447).

В начале 1917 года Горький хотел издать ряд биографий замечательных людей для детей школьного возраста. Нансен согласился написать биографию Колумба, Ромен Роллан — биографию Бетховена, Сократа, Жанны д'Арк и других, Уэльс — Эдиссона, Тимирязеву Горький предложил написать биографию Дарвина.

Февральская революция сделала переписку между Тимирязевым и Горьким еще более оживленной. В самом начале революции Тимирязев писал о деятельности реакционных кругов:

«Снова и снова повторяю Некрасова — «были времена и хуже, не было подлее».

Будьте здоровы, берегите себя — может быть, и эти гнусности переживем — мало верится. Кажется, мерзавцы торжествуют по всей линии — и не сегодня завтра гг. Корниловы, Милоковы-Дарданельские и Родзянки-болванские восстановят Столыпинское «успокоение» или что еще хуже» (т. IX, стр. 645).

Родные Тимирязева рассказывают, что накануне Октябрьской революции Тимирязев до такой степени возмущался содержанием буржуазной печати, что это угрожало его здоровью. Единственно, что успокаивало его — это чтение большевистских газет, которые Тимирязев регулярно читал с первого дня Февральской революции.

Накануне Октябрьской революции Тимирязев участвовал в выборах в Учредительное собрание и, несмотря на тяжелую болезнь, семидесятипя-

тилетний старик отнес избирательный бюллетень большевистской партии в свой избирательный участок.

Еще весной 1917 года, прочитав в «Правде» апрельские тезисы Ленина, Тимирязев испещрил газетный лист своими восторженными замечаниями. Перед глазами старого ученого открылась, наконец, перспектива небывалого расцвета человечества. Он видел в борьбе партии Ленина — Сталина путь к такому гигантскому прогрессу материальных производительных сил, научных знаний и культурных ценностей, о котором никто никогда не мог и мечтать.

После Октября Тимирязев стремился отдать все свои силы на службу революции. Московские рабочие выбрали Тимирязева в состав Совета рабочих и красноармейских депутатов.

В 1920 году вышла книга Тимирязева «Наука и демократия». Он послал ее Ленину и получил в ответ следующее письмо:

«Дорогой Климентий Аркадьевич. Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья. Ваш В. Ульянов (Ленин)».

Это письмо Тимирязев получил накануне своей смерти. 20 апреля он участвовал в заседании сельскохозяйственного отдела Московского Совета, а затем до поздней ночи работал над сборником «Солнце и хлорофилл». Ему пришлось прервать работу, так как начались признаки тяжелого заболевания. Назавтра у Тимирязева оказалась воспаление легких. В этот день Тимирязев получил цитированное письмо Ленина. Оно озарило последние дни жизни великого ученого. В последние моменты своей жизни Тимирязев думал о родине, о революции, о коммунизме, он говорил:

«Я всегда стараюсь служить человечеству и рад, что в эти серьезные для меня минуты вижу вас, представителя той партии, которая действительно служит человечеству. Большевики, проводящие ленинизм — я верю и убежден — работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали. Передайте всем товарищам мой искренний привет и пожелания дальнейшей успешной работы для счастья человечества» (Сб. «Памяти Тимирязева, 1920—1935», М.—Л., 1936, стр. 15).

Этим словами — итогом всей жизни Тимирязева закончим посвященную ему статью.

ВОЕННЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

А. ДЕРМАН



1.

Война, военная тема, закономерно поглотила почти целиком всю энергию наших издательств. Но в то время, как одни переключались на эту тему более или менее механически, другие сделали это творчески, углубленно. Деятельность Детгиза по справедливости должна быть поставлена в этом отношении на одно из первых мест.

Это не означает, конечно, что в ней нет промахов; они есть, как мы увидим дальше, но характерно, что даже иные из них обусловлены живой инициативностью издательства, его стремлением нащупать новые пути к юному читателю, пойти навстречу его интересам ко всем важнейшим сторонам военной темы, в ряде случаев — возбудить в нем этот интерес. Та же инициативность ощущается в трудном и ответственном моменте работы издательства — в деле привлечения авторов. Если в иных случаях оно сводится к изданию книжки, уже апробированной критикой и советской общественностью, или к переизданию произведения крупного писателя, что не требует со стороны издательства каких-либо особых усилий, то совершенно иное дело в тех случаях, когда издательство творчески находит не только нужную тему для нужной книги, но и «открывает» для выполнения этой задачи нового автора. В качестве такого примера, и притом примера поистине блестящего, укажем на великолепную книгу героя социалистического труда, знаменитого конструктора наших «Як-ов», А. С. Яковлева «Рассказы из жизни». Легко себе представить всю сложность задачи по ее созданию столь «занятым» автором!

2.

В составе рецензируемых книжек необходимо прежде всего отметить самим издательством выделенную серию «Военная библиотека школьника». Сюда входят: две книжки Василия Гроссмана — «Оборона Сталинграда» и «Жизнь»; повесть Александра Бека «Панфиловцы на пер-

вом рубеже»; «Комсомольский пикет» и «Валька с торпедной «девятки» Аркадия Первенцева; «Десант в Крым» С. Борзенко; «Александр Молодчий» Л. Славина; «Гвардии рядовой» (Александр Матросов) Л. Пантелеева и «Пехотинцы» Константина Симонова.

Большинство этих произведений было уже ранее опубликовано. С учетом особенностей читателя, для которого они предназначены, книжки эти в иных случаях подверглись изменениям, большей частью — некоторым сокращениям. В «Обороне Сталинграда» В. Гроссмана опущено целиком несколько очерков, о чем нельзя не пожалеть, потому что изъятые из книжки столь же «понятны» и в то же время «непонятны» для юного читателя, как и включенные в нее: взрослый воспримет их, конечно, глубже, чем юноша или подросток, но и для последнего в них нет чего-либо «недоступного». В обзоре целой серии книг не место подробному разбору «Обороны Сталинграда», а тем более анализу особенностей творческого лица их автора. Но нельзя все-таки не упомянуть, что Гроссман чрезвычайно вырос как писатель в годы Великой Отечественной войны. Гроссман литературно близок к «толстовской школе» — не в смысле следования стилистическим приемам, а по характеру восприятия жизни. Речь идет о творческой направленности, о драгоценной способности свежо воспринять «обычное», об отсутствии «привычки» к повседневному злу мира, а с другой стороны, и к повседневному величию духа. Именно отсюда вытекает и художественная убедительность, и прекрасная, морально-заразительная свежесть лучших произведений В. Гроссмана.

Факт массового проявления героизма на фронте и в тылу нашей страны — непререкаем, он у всех перед глазами. Гроссман стремится изобразить его внутренне-глубинно, проникая через оболочку «обычного», повседневного. И это удается ему именно потому, что он страстно, пылливо ищет ответ на всецело поглощающий его вопрос.

В самом деле: очерки, составляющие книжку «Оборона Сталинграда», касаются самых

различных военных тем, но мы читаем их как нечто цельное. И объединяет их вовсе не то, что всюду речь идет об одном и том же событии. Если вслед за «Обороной Сталинграда» читать повесть Гроссмана «Народ бессмертен», где о Сталинграде нет ни слова, то ощущение единства читаемого несколько не будет нарушено, потому что у Гроссмана есть единая поглощающая тема войны: перед ним стоит вопрос — где, в чем она воплощена, скрытая несокрушимая мощь русского народа, всех этих «обыкновенных», рядовых людей? Всепоглощающая важность этого вопроса для самого писателя обуславливает и серьезность размышлений, и искренность его исканий.

Небольшой рассказ «Жизнь» того же автора производит не такое сильное впечатление, как «Оборона Сталинграда», и причиной этого является некоторая «беллетристичность» его фабулы, хотя тема его — та же, что и в очерках.

Выделяется в той же серии «Военной библиотеки школьника» книжка Александра Бека «Панфиловцы на первом рубеже». Помимо того, что здесь даны выпуклые изображения знаменитого генерала и одного из его соратников, ныне полковника Баурджан Момыш-Улы, ценность книги составляет то, что в ней изображен самый процесс становления воинского характера, воспитание бойца в гражданском человеке. Для читателей юношеского возраста книга имеет сугубо важное значение: она педагогична в широком смысле слова, показывая в живой, увлекательной и убедительной последовательности процесс выработки военного в результате упорного труда. К сказанному следует добавить, что и в отношении формы книжка Бека отличается большим своеобразием при полной простоте и доступности для любого возраста.

Удача серии — книжка Аркадия Первенцева «Комсомольский пикет», в которую, кроме рассказа того же названия, вошел еще небольшой рассказ «Колька с торпедной «девятки». Особенно хорош именно последний рассказ. По справедливости надо признать, что здесь дано одно из наиболее правдивых изображений мальчика-героя, чья фигура в многочисленных вариантах встречается в художественной и очерковой литературе об Отечественной войне. Боевой подвиг Кольки нарисован с большой образительной силой и без всякой натянутости в ситуациях: в рассказе так все складывается, что в критический момент морского боя, кроме Кольки, никому стать к штурвалу на «девятке» — и мальчик берет на себя управление катером.

Книжка Героя Советского Союза С. Борзенко очень ценна и интересна по материалу, но по изложению оставляет желать большего. Если в литературе нашей многие изображения боевых эпизодов страдают излишком так называемой «красочности», то т. Борзенко впал в противоположную крайность, придав своему описанию знаменитой крымской операции какую-то протокольность, сухость и отрывочность. Местами впечатление получается такое, что это лишь конспект для будущей художественной работы.

Живо написана книжка Л. Славина «Александр Молодчий», представляющая собой краткую художественную биографию знаменитого летчика. К сожалению, книжка не свободна от некоторых ляпсусов и шероховатостей. Вот, например, первая встреча автора с Молодчим:

— Что нового в московских театрах? — спрашивает он.

— А вы давно видели Москву?

— Москву? Давно. Гораздо раньше, чем Берлин.

— Вы были в Берлине?!

— Собственно, я был и над Берлином.

— Да, об этом много писали».

В этом кратком диалоге все несообразно: то, что писатель, знакомящийся с Молодчим и собирающийся о нем писать, не знает о полете его в Берлин и выражает удивление, узнав об этом, и то, что тут же он замечает, что «об этом много писали». К чему же этот вопрос и как объяснить удивление автора?

Отметим и одно несколько неловкое в стилистическом смысле выражение, допущенное автором: «Казалось, осень выпустила в ночь все свои воды и ветры». Лучше было бы заменить его другим.

Книжку об Александре Матросове — «Гвардии рядовой» Л. Пантелеева, к сожалению, нельзя отнести к числу удачных. Во-первых, она прямо начинается с грубого и притом весьма досадного промаха. Задумано начало очень хорошо и выполнено — художественно, поэтично: картина воинского церемониала вечерней поверки, на которой первою по списку торжественно выкликается фамилия Героя Советского Союза гвардии красноармейца Матросова, на что правофланговый отвечает, что «Матросов погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками». Описание этого церемониала выдержано в хорошем, грустном и величавом стиле. Но вот что мы здесь читаем: «... стрелка показывает 21 час 15 минут... Если на дворе лето, в Москве уже темно в этот час, на севере — белая ночь, на юге — ночь черная...» и т. д.

Если на севере белая ночь, то, стало быть, это, примерно, июнь. В Москве до темноты в это время (по солнцу — 8 ч. 15 м.) еще добрых два часа! Казалось бы — мелочь. Но, представьте себе, что книжку читают вслух в Москве группе ребят. Они слышат: «в Москве уже темно в этот час», а солнце в это время сияет над горизонтом. Какой диссонанс сразу получится в эмоциональном настроении слушателей!

Не совсем благопоучно в книжке и по части стиля, малоэнергичного, засоренного лишними словами, не говоря уже о курьезных неточностях, вроде, например: «Нафталиновый февральский наст был гладко укатан». Если наст, то не укатан, если укатан, то не наст.

И все же главный недостаток книжки — не в этих частности, как ни досадны они сами по себе: самая фигура Матросова получилась у автора неопределенная, расплывчатая. Стремясь подчеркнуть его скромность, его смущение и конфузливость, когда приходится выступать с

речью на собрании, автор впал в противоположную крайность и сделал Матросова каким-то косноязычным... Вдобавок ко всему и рисунки Д. Голованова в большинстве неудачны: Герой Советского Союза Матросов изображен на них каким-то конфликтным подростком в стиле мальчиков из старинных «святочных» рассказов. Книжка эта в случае переиздания нуждается в коренной переработке.

Обзор серии «Военная библиотека школьников» закончим небольшой книжкой Константина Симонова «Пехотницы». Ее тема: обычный боевой день ничем не выдающегося рядового бойца и отражение событий этого дня в его чувствах и раздумьях. Трудное многодневное наступление, усталость, короткий сон в отбитом у немцев окопе, опять наступление, атака, поимка пленного, успешное единоборство с вражеским танком, награждение медалью, опять наступление... Рассказано обо всем этом очень сдержанно, в несколько как бы замедленном темпе, гармонически соответствующем упорному, но неторопливому осмыслению всего происходящего бойцом Савельевым. Значительная внутренняя духовная работа этого простого человека показана правдиво, без подчеркиваний, вполне естественно и убедительно. Молодой читатель книжки Симонова, быть может, и не сформулирует итога своих впечатлений от нее, но он его почувствует: наша армия состоит из людей, глубоко чувствующих и напряженно мыслящих. И этот итог будет тем более ценен, что он не навязан, не подсказан автором, а сам собою вытекает из прочитанного.

Книжка не свободна от мелких промахов. В ряде случаев автор одно и то же говорит дважды: «Лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит». Вторая фраза лишняя. Или: «частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге». Лишнее здесь либо «частые», либо «то и дело». Или: «граната разорвалась совсем попусту, не причинив никакого вреда». Вторая половина фразы явно лишняя. И так далее. Попадаются неточности языка. Боец-санитар Юдин, оказывая помощь раненому, отстал от роты, атакующей немецкую позицию. Управившись, Юдин присоединяется к товарищам. Об этом сказано так: «Минут через пять после того, как они залегли, вернулся Юдин». Нельзя сказать «вернулся» о человеке, если он здесь еще не был. Встречаются и другие шероховатости, но все это, повторяю, мелочи, нисколько не умаляющие достоинств этой удачной книжки.

3.

Обзор внесерийных книг Детиздата, прямо или косвенно касающихся военной темы, начнем со значительной по объему книги И. Ликстанова «Приключения юнга», посвященной героическим защитникам Ленинграда.

Мысль создания подобного рода книги заслуживает всяческого одобрения и поощрения: ее цель — заинтересовать и увлечь детей младшего возраста военно-морским делом и ознако-

мить их с жизнью корабля. Вполне целесообразен план книги: в центре — сверстник читателей, мальчик, корабельный юнга; подача материала — в форме показа жизни на корабле, наполненной увлекательными приключениями юнга.

К сожалению, по этому прекрасному плану написана, надо прямо сказать, неважная книга весьма сомнительного педагогического значения. Правильно рассудив, что жизненно-правдивый и убедительный для юных читателей герой не должен быть стопроцентным воплощением добродетели, автор впал в противоположную крайность и наградил своего юнга Витю Лескова хулиганскими чертами и порочными наклонностями. Правда, безобразные выходы юнга, как правило, кончаются торжеством добродетели, но сделано это натянуто, неубедительно и монотонно. После каждого пакостного поступка кто-нибудь из взрослых — обычно «присяжный резонер» — читает Лескову моральную нотацию, юнга впадает в раскаяние и исправляется. По этому шаблону скроена вся книга, что делает ее не только скучной, но и проникнутой насквозь тем элементарным дидактизмом, который, как горох от стены, отскакивает от читателя. Что касается сюжета, то и он страдает искусственностью, натянутостью и неправдоподобием.

Для того, чтобы читатель получил ясное представление о характере «приключений» юнга, об их реальности и правдоподобии, наконец, об их воспитательном значении в той форме, как они изображены Ликстановым, приведем хотя бы самое первое из длинной их цепи.

Виктор Лесков, выполнив поручение командира, отправляется «прогуляться по Кронштадту». Его внимание привлекает спешная погрузка товаров на линкор «Розный». Далее читаем:

«Виктор цапнулся на бочку с маслом, которую катил перед собой молодой серьезный моряк, свистнул сквозь зубы, нахлобучил бескозырку по самые брови, и не успел краснофлотец сообразить, в чем дело, как на бочке запрыгал, ловко перебирая ногами, юнга — настоящий юнга, в полной краснофлотской форме, с сигнальными флажками в парусиновом чехле на поясе.

— Жизни, жизни больше! — закричали шoferы, обрадовавшись развлечению. Юнга ударился вприсядку, выбрасывая ноги, будто под ним была гладкая палуба, а не бочка с маслом. Молодой краснофлотец пришел в себя.

— Долой с бочки! Геть, скажена душа! — крикнул он.

Юнга, продолжая пляску, ловко на одной ноге повернулся к нему, пронзительно свистнул, высунул язык, закатил глаза, словом, постарался рассмешить шoferов. А дальше получилось вот что: молодой краснофлотец нагнулся, схватил обломок доски, подложил его под бочку и кинулся к юнге. Виктор слетел с бочки и шмыгнул за причальной чугунную тумбу. Краснофлотец остановился.

— Попадись только! — крикнул он.

Он сердито посмотрел на шoferов и направился к бочке, но сзади раздался смех.

Он обернулся.

Юнга забрался на причальную тумбу, деловито растегнул клапан длинного чехла, висевшего на поясе, выхватил сигнальные флажки и засемафорил так быстро, что тонкий красный флагтах засверкал огнем. Краснофлотцы, приехавшие с грузом, могли прочитать такой семафор: «С-а-л-а-г-а... л-и-п-о-в-ы-й м-о-р-я-к... п-о-й-м-а-й м-е-н-я! К-у, к-у!»

Утешительно думать, что ребята наши, с их живым интересом к военному делу и соответственной осведомленностью в нем, ни на минуту не поверят во весь этот вздор. Но если найдутся такие, что поверят, — недурное представление составят они о порядках в военном порту, о дисциплине и находчивости наших моряков! Правда, вслед за этой ерундой начинается, как было сказано, длинная, нудная, через всю книгу протянувшаяся канитель раскаянья, но о ней можно сказать только одно: лекарство тут горше болезни.

Короче говоря, «Приключения юнга» — несомненная оцибка издательства. Отдельные удачные страницы в книге не смягчают тяжело ощущения фальши, которое после нее остается, потому что фальшь лежит в самом ее источке: книжка написана равнодушно, без малейшего увлечения, без любви, холодно-надуманно — что ни пришло в голову, то и ладно. Если так нельзя писать вообще, то сугубо недопустимо писать подобным образом для детей.

Поистине превосходную и притом своеобразную, свежую книжку написала Н. Емельянова. Хотя она и не значится в этой серии, но заслуживает разговора в связи с военной темой для детей. Называется она «Колбат», по кличке военной собаки, о которой в ней рассказано. Здесь кстати будет отметить, что среди достоинств этой талантливой писательницы есть одно, весьма не часто встречающееся и чрезвычайно ценное: о чем бы она ни писала, у читателя складывается впечатление, что изображаемая ею область составляет основную специальность писательницы, до тонкости знакомую ей не только по книгам, но и на практике. Когда появилась ее повесть об Уссурийском крае, все были уверены, что автор — специалист-геолог, как это в действительности и оказалось. Но вот не так давно опубликовано ее произведение «Хирург» с таким углубленным изображением работы хирурга, что трудно допустить, чтобы оно дало автору в результате обычного у писателя «изучения» ради определенной и ограниченной цели изображения той или иной области жизни. Сейчас перед нами книжка о дрессировке военной собаки — и впечатление опять того же характера: кажется, что автор всю жизнь занимался дрессировкой военных собак. Я думаю, что происходит это потому, что Емельянова как писательница и в самом деле чужда «обычному» у писателей изучению жизни, которое предпринимается для получения нужных сведений при работе над задуманной книгой. У Емельяновой, мне кажется, процесс протекает как раз обратный: ту или иную книгу она пишет, так сказать, под напором материала наблюдений, самое же накопление последних происходит в результате

жадного и углубленного интереса к жизни, к ее богатству и сложности, к ее разнообразным проявлениям.

«Повесть о связной собаке» — как гласит подзаголовок «Колбата» — построена на очень простом и в то же время тонком сюжете, величественно — искусно и твердо — разработанном: на истории о том, как связной военной собаке была нанесена обида невнимательностью дрессировщика и как эта травма медленно рассказывалась умелым обращением. Место действия — Дальний Восток, воинская часть, в изображении жизни которой — сначала мирной, потом боевой — автор обнаруживает характерную для него хорошую осведомленность. Цельный ояд фигур, проходящих в книге, очерчен живо, твердо, с запоминающимися индивидуальными особенностями, ситуации правдивы и естественны. Очень хорош пейзаж. Написана книжка простым, ясным и, что хочется особенно подчеркнуть, точным языком — тем языком, который кажется легким и непринужденным именно потому, что писатель много над ним потрудились. Единственное «критическое» замечание, которое, быть может, следует сделать, это то, что дети в книжке — особенно девочка Лена — чуточку слишком уж благонаравны и безупречны. Не то, чтобы они казались от этого искусственными, нет, они настоящие дети, но потому что невольно ждешь от них какой-нибудь шалости, а ее-то и нет.

Издательство пометило на книжке: «Для среднего возраста». Но это одна из тех детских книжек, которые для всех возрастов интересны и с увлечением читаются и взрослыми.

Небольшая книжка З. Александровой «Островок на Каме», предназначенная для детей дошкольного возраста, написана с большой теплотой и любовью, и ее можно было отнести к числу удачных, если бы проникающая ее теплота была, так сказать, менее «комнатная», чуть-чуть пошире. От общего тона этой книжки отдает как-то старинкой не в лучшем значении этого понятия — старинкой «Родника», «Задушевного слова» и т. п. Не легко точно указать, в чем этот оттенок заключается, но общее впечатление такое, что книжка написана о господских детях, гуляющих с нянями в кружевных чепцах. В стихотворении «У нас в саду» читаем: «Полоскать мы стали сами». В стихотворении «Огород» — «Морковку мы выростим сами». В «Островке на Каме» — «Мы шиповника сами там набрали мешок». В стихотворении «Дрова» — «Как много елок и берез срубили пионеры сами!». Боюсь, что дети нашей страны в огромном большинстве останутся безучастны к этому настойчивому подчеркиванию: «сами, сами, сами...», потому что они повседневно делают многое сами, не видя в том ничего особенного...

С большим темпераментом, сочно, я сказал бы, размашисто написана С. Васильевым небольшая книжка стихов «На Урале», посвященная теме оснащения Красной Армии уральским оружием. Это полезная книжка, хотя без некоторых промахов не обошлось и здесь. Так, в

главе «С тобой говорит пушкарь», по поводу роли, сыгранной уральским оружием в истории войн нашего государства, автор пишет о пушках:

«Они когда-то брали Изманал, падали на холмах у Ватерлоо».

Есть ли холмы под Ватерлоо — не знаю, но если и есть, то ни уральские, ни какие-либо другие русские пушки с них во всяком случае не падали по той простой причине, что русская армия не принимала участия в битве под Ватерлоо. Если книжку Васильева будет читать подросток, которому известны факты истории, ошибка эта не повысит в его глазах престижа автора и издательства. Если читателю это не будет известно, он приобретет неверные исторические сведения. В главе «На мирной траве полигона», где дана яркая картина испытания пушек на полигонной стрельбе, говорится: «Еще раз! Еще раз! — хмельной, потрясенный, кричу я во тьме пушкарю молодому». Вызывает недоумение: неужели испытание орудий происходит «во тьме»?

Решающего значения такого рода шероховатости не имеют, книжка, повторяю, написана с большим подъемом и по справедливости должна быть отнесена к активу издательства.

Замысел Анатолия Шишко дать молодым читателям художественное описание знаменитого перехода Суворова через Альпы заслуживает полного одобрения. Переход этот не только сам по себе представляет исключительный интерес, но и является подлинным венцом полководческого гения Суворова. С этой стороны книжка Шишко «Альпы» весьма ценна.

Поставленную перед собою задачу автор мог разрешить либо в форме бессюжетной беллетризованной исторической хроники, либо в форме сюжетного художественного произведения. Шишко избрал второй путь. Но уж если сюжет, то сюжет, т.-е. нечто, органически связывающее события, лица и ситуации в единое и неразрывное целое.

Этого как раз и нет в книжке «Альпы». Сюжет здесь до такой степени пристегнут, что читатель не заметил бы его чисто механического удаления из книжки, и последняя лишь выиграла бы от такой операции. Молодой русский офицер Синицын, избавленный стараниями Суворова от ссылки, куда он был отправлен по капризу Павла I, встречает в осажденной нашими войсками итальянской крепости русскую девушку Лизу, и между ними завязывается роман. Строго говоря, и сам Синицын искусственно введен в книгу: никакой роли в событиях он не играет, а только выражает авторские мысли по поводу действий Суворова. Но уж его возлюбленная Лиза до такой степени праздно гуляет по страницам книги, что самому автору это наконец надоест, он отправляет ее в Россию и, больше о ней не упоминая, оставляет читателей в полном недоумении — ради чего была вызвана из небытия эта, кстати сказать, безплотная фигура.

Итак, сюжета в «Альпах» нет, а есть историческая хроника итальянского похода Суворова,

с которою дело обстоит гораздо благополучнее. Автор, пользуясь классическим трудом А. Ф. Петрушевского о Суворове, расцвечивая те или иные эпизоды знаменитой эпопеи, дает о ней местами довольно живое представление, а это как раз то, что нужно.

Однако и здесь имеется досадное «но» и даже не одно, а два.

Во-первых, делая вольные, принципиально совершенно законные художественные отступления от строгого изложения Петрушевского, автор порою нарушает всякие границы правдоподобия. Карета Суворова обгоняет по дороге из Вены в Верону колонну русских grenадер. «Суворов отпер дверцу кареты и, став одной ногой на подножку, крикнул:

— Здорово, чудо-богатыри!

Песня оборвалась. Вадрогнув, солдаты разом, как по команде, обернулись. Вместо положенного ответа хор голосов грянул:

Здравствуй, здравствуй, граф Суворов,
Что ты правдою живешь!..»

Изобразив подобным образом, как здоровался великий фельдмаршал со своим войском, автор, несомненно, был преисполнен похвальным намерением подчеркнуть, что солдаты обожают Суворова. Но он позволил себе при этом анекдотически нарушить чувство меры, и посмотрите, как жестоко такое нарушение ему отомстило. Прочитает это место какой-нибудь подросток и подумает: нечего сказать, хороша была дисциплина в суворовских войсках! Фельдмаршал здоровается с солдатами, а они отвечают ему пением. Впрочем, едва ли сыщется наивный читатель, способный поверить в эту топорную выдумку. Но тогда уж автору не сдобровать...

Еще один пример. В труднейшем, безвыходном положении, преданный австрийцами, Суворов собирает в швейцарской деревушке Муттенталь военный совет. Приходит очередь высказать свое мнение молодому офицеру Синицыну. «Взоры всех устремились на Синицына. Этой минуты он ждал, трепеща, словно школьник, но как-то случилось так, что вместо мнения своего о походе Алексей Николаевич вынул из-за обшлага лист бумаги и глухо, на весь притихший зал, произнес:

— Мой ответ Суворову!

И, прежде чем кто-либо успел его прервать, Синицын уже читал громким, взволнованным голосом сложенный накануне стих:

На пламенном шару остановилось время
И, изумленное, ко славе поет!..»

И так далее. Любопытный получилась суворовский «военный совет»!

А затем — второе «но»: язык книжки. Раскрываем ее. На первой же странице — письмо Павла I к Суворову. Прочитав его вслух своему денщику и камердинеру Прощке, Суворов многозначительно поднял палец на заключительном обращении императора: «Впрочем пребываю благосклонный вам Павел». Слышишь, Прощка?.. Благосклонный, хотя и впрочем!»

Выходит так, что Суворов подчеркивает пренебрежительный по отношению к нему оттенок, внесенный Павлом в письмо этим словом «впро-

чем». Но беда в том, что здесь не принята во внимание эволюция словоупотребления. В ту пору слово «впрочем» весьма часто употреблялось в смысле заключительного «засим», и здесь оно именно в таком смысле употреблено. Концовка царского обращения «Впрочем пребываю благосклонный к вам» (отнюдь не «вам») удержалась почти до конца царской власти в России, как нечто стереотипное и условное, вроде «милостивый государь». Таким образом, толкование этой фразы Анатолием Шишко вводит в заблуждение читателя не только лингвистически, но и в неверном свете изображает один из существеннейших моментов биографии Суворова: Павел, под давлением обстоятельств, был вынужден пойти на примирение с опальным полководцем, хотя и ненавидел его, между тем автор усматривает оттенок пренебрежения в заключительных строках этого письма.

Читаем вторую страницу книжки. На оклик часового «кто идет» названный выше Прошка отвечает: «По указу его императорского величества едут фельдмаршал граф Александра Васильич Суворов-Рымникский и беспременный его денщик Прохор Дубасов. Поднимай шлагбаум!»

Подобного рода якобы точным, якобы фотографическим воспроизведением фонетики автор рассчитывает передать то народный, то архаический оттенок устной речи своих героев. Тот же Прошка возглашает: «Отворяйте! Граф приехали! Прошка прибывши!» Или спрашивает Суворова: «Одеялой прикрыть?». И так далее. Синицын осведомляется: «Не слышал, служивый, где стоит штап?» Суворов отдает распоряжение: «Передай коменданту, чтоб не медля ни минуты освободили из крепости женщин и детей». Павел I восклицает: «Туртукай! Измаил! Рымник — все счастье, слепое счастье», на что Суворов отвечает своей исторической фразой: «Раз счастье! Два счастье...» И так далее.

Весь этот метод передачи говора основан на недоразумении и давно осужден, во-первых, потому что его нельзя выдержать от начала до конца; во-вторых, потому что книжку, написанную «фонетически-точно», нелегко было бы читать, не говоря уже о том, что существующих звуковых знаков далеко недостаточно для точных фонограмм. Взять хотя бы приведенные примеры. Почему «приехали» и тут же иначе: «прибывши», а не «прибывши»? Зачем писать «штап», если и сейчас произносят это слово так же? «Щастье», а не «счастье» произносят и сейчас, его только писать стали иначе. Ни архаизм, ни народный оттенок речи этим приемом не передается, он только засоряет книгу, мешает читать ее, а главное — обманывает самого писателя, избавляя его от необходимости плодотворно конструировать народную (и архаическую) речь на путях лексики и синтаксиса, т. е. соответствующим лицу и эпохе подбором слов и их сочетанием. Порой Шишко вступает и на этот путь: то как-то случайно напишет вместо «природа» — «натура», то тут же рядом поставит такое выражение, как «зачита л

ских захватчиков», и получается почти комическая пестрота стили.

Книжка иллюстрирована известным художником Алякринским; рисунки хорошо стилизованы в духе эпохи, но на некоторых из них самое резкое возражение вызывает передача облика Суворова, например, на стр. 77 и особенно на 35, где великий полководец изображен крайне уродливым.

Все это в значительной мере обесценивает книгу.

Вернемся к бегло упомянутой в самом начале обзора книге А. С. Яковлева «Рассказы из жизни». Она почему-то помечена издательством: «Для среднего и старшего возраста», но это — чистейшее недоразумение. Если исключить малышей-дошкольников, то вообще не представляешь себе такого возраста, от первоклассника до глубокого старца, которому не то что была бы недостатупна, но которого не увлекла бы эта чудесная книга, и то, что выпустил ее Детгиз, является, конечно, заслугой издательства, но с равным правом это мог сделать и Воениз, и Гослитиздат.

Кратко и сжато, очень деловито, но отнюдь не сухо рассказывает автор, как зародился в нем интерес к лёгкому делу, через какие этапы и испытания проходили его первые робкие конструкторские попытки, какие разочарования постигали его и какими удачами вознаграждались его упорные усилия.

Мне хотелось бы здесь подчеркнуть одну драгоценнейшую и очень характерную особенность данной книги, не сразу бросающуюся в глаза. Книжки об открытиях и изобретениях, вообще говоря, составляют для огромного большинства любимых предмет чтения. Их можно классифицировать по самым различным признакам. Один из них и, пожалуй, главнейший — это проводимый в них взгляд на самую природу изобретательства. Одни авторы склонны приписывать здесь решающее значение «случаю», и не всегда это плохие авторы. Сошлёмся, например, на столь популярные и блестяще написанные книжки Поля де Крюи («Охотники за микробами», «Они хотят жить» и др.). Для других — крупное открытие и изобретение есть заключительное звено в цепи закономерностей и венец усилий человеческого ума. Но очень частым пороком этих последних книжек, особенно когда они предназначены для детей, является несколько навязчивое поучительство.

«Рассказы из жизни» Яковлева по своему типу относятся ко второй группе указанных книг, но они абсолютно свободны от дидактизма. В них вообще нет ничего нарочитого. Те промахи и ошибки, которые случались с автором в его работе, описаны им столь же просто и правдиво, как и его успехи. Никаких «счастливых случайностей». Никаких ужимок фальшивой скромности. Читая, мы все время как бы видим перед собою трудолюбивого, настойчивого, упорного, бодрого человека, который без всякой тени почи

тельства, словно это происходит в тесном кружке интересующихся данным делом людей, рассказывает им о своей долголетней работе. И вот тут-то непреднамеренная «мораль» книги — все значительное в жизни достигается лишь упорным трудом — настаивает читателя непринужденно и неотразимо-убедительно.

Совершенно особое значение и исключительный интерес имеют две главы книги Яковлева: «Награда» и «О великом и простом человеке», где автор рассказывает о своих встречах с И. В. Сталиным. В огромной литературе о вожде — это уникальные страницы, изображающие Сталина. Тут напрашивается только одно пожелание: таких страниц хотелось бы видеть как можно больше.

Военно-книжная продукция Детгиза не вся исчерпана в нашем обзоре. Но и рассмотренные книги дают основание для вывода, что в работе издательства есть живой нерв, есть дух исканий, есть инициативность. Есть, бесспорно, и промахи, но и они не всегда рутинны, как например, в случае с книгой Ликстанова, где для правильно нащупанной и нужной темы издательство не нашло подходящего автора. Но на том же пути инициативности, поисков темы и автора издательство, с другой стороны, обрело

такую книгу как «Рассказы из жизни» Яковлева, и это одно с избытком покрывает все его «издержки и протори».

В заключение не можем не высказать пожелание, которое с особенной настойчивостью подается как раз рассмотренной выше продукцией издательства. Мы имеем в виду создание высоко-доброкачественной, подлинно-художественной детской романтической книги. Эта тема в наши дни победоносного завершения Великой Отечественной войны, с ее неисчислимыми актами беспримерного героизма на фронте и в тылу, с особенной силой стучится в двери издательства детской книги, и как раз прошедшие перед нами произведения свидетельствуют об отставании работы Детгиза в данном направлении. Как естественно было бы, чтобы на тему приключений юнги, на тему об альпийском походе Суворова, о легендарном подвиге Александра Матросова или о беспримерном по героизму крымском десанте были созданы захватывающие, увлекательные, в высоком смысле романтические книги, впечатление от которых подымало бы воображение читателя и сохранилось в его душе на долгие годы!

Конечно, это дело не легкое, но оно насущное и благодарное, а потому и выполнить его — необходимо. Должны быть намечены темы, для них должны быть найдены авторы, способные ими увлечься, всецело им отдаться — и книги такие будут написаны.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

О культуре и некультурности. — О животрепещущей теме наших дней. — Молчание критики и критика молчания. — О вооружении писателя.

Ф. ГЛАДКОВ

★

Вопросы культуры в нашей стране — это прежде всего вопросы коммунистического воспитания. Эти вопросы во всей глубине и сложности поставлены с первых же дней Октябрьской революции. Их смысл и значение неразрывно связаны со всем ходом развития у нас производительных сил, с напряженной борьбой за построение социализма, за укрепление военной мощи, за высокий духовный уровень трудящихся. Отношение к труду, к общественной собственности, друг к другу — это животрепещущие проблемы наших дней. Эти проблемы поставлены во главу угла нашей социалистической культуры.

«Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности или самоизменения, — говорит Маркс, — может быть постигнуто и рационально понято только как революционная практика» (IV, стр. 590). Именно вопросы культуры, вопросы воспитания гражданина — это важнейшая проблема самоизменения нашего человека. Гражданин социалистического общества — творец новых общественных отношений, изменяющий обстоятельства — является воспитателем нового человека. Но, по словам Маркса, «воспитателя самого надо воспитывать». А воспитатель воспитателя — это культурная революция, которая совершается под могучим руководством нашей коммунистической партии.

За три сталинских пятилетки мы создали свою интеллигенцию — инженеров, ученых, врачей, учителей, деятелей искусства и литературы. Выросли новые «квалифицированные кадры рабочего класса и колхозного крестьянства. Стоит проследить развитие производительных сил за последние двадцать пять лет, и мы, участники и свидетели борьбы за социализм, сами поражаемся тем великим свершениям, которые в корне изменили и содержание и формы жизни. Люди изменяли обстоятельства и сами изменялись.

* В отделе «Трибуна писателя» статья печатается в порядке обсуждения.

Новаторство — это беспокойство и вдохновение. Наш рабочий класс всегда был и будет революционером и певцом труда. Стахановское движение родилось в гуще рабочих масс. Рационализация производства, новая технология — это любовь к делу, борьба за совершенство, за свободу, за рост личности. А это уж имеет прямое отношение к культуре, к самовоспитанию. Наша жизнь и деятельность — это осуществление той задачи, которую четко глубоко формулировал когда-то Энгельс «Люди, ставшие, наконец, господами своих общественных отношений, становятся, вследствие этого, господами природы и самих себя, т. е. достигают свободы». И потом: «Порождая новое поколение восторженно развитых производителей, понимающих научные основы всего промышленного производства и изучающих практически, каждый в отдельности, весь ряд отраслей производства от начала до конца, оно (социалистическое общество) может создать новую производительную силу». И эта новая производительная сила — рабочий класс — делает сейчас изумительные чудеса. Героизм и инициатива рабочих выливаются в мощные формы коллективного труда: ударничество и соревнование в период индустриализации подняли производительность труда до огромной высоты. Тогда величавой музыкой звучал сталинский лозунг: нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики! И действительно, блестяще, со славой рабочие массы брали, казались, самые неприступные крепости. Был построен ДнепрогЭС с металлургическими комбинатами, были созданы гиганты — Магнитогорск, Кузнецкстрой, тракторострой, автозаводы, авиазаводы и т. д. И не голыми руками, а средствами высокой техники. И тогда в процессе этих великих работ массы хорошо поняли и прочувствовали энергичный лозунг вождя: «Техника в период реконструкции решает все!» А дальше? Дальше переход на высшую ступень — борьба за овладение техникой, за создание технологических кадров, изб

«кадры решают все». Рабочий борется за освоение науки, за создание своей интеллигенции. И такая плотная прослойка интеллигенции в массах рабочего класса, помимо инженеров, создана. Это она, рабочая интеллигенция, в годы Отечественной войны решала и решает практические задачи технологии труда, это она так искусно совершенствует станки, оснащая их всякого рода приспособлениями, что превращает их в универсальные и полуавтоматические, на которых могут работать необученные люди. Вот откуда их поразительные победы и сверхрекорды. Блестящие победы нашей героической Красной Армии во многом обусловлены творческим трудом этой рабочей интеллигенции.

Воспитание работника социалистического труда — дело первостепенной важности. От коммунистического воспитания зависит успех и победа во всех областях нашей жизни. Воспитанный работник как полноценный гражданин приобретает твердые навыки к экономии своих сил, к строгой дисциплине, к ответственности за свои действия, за каждую минуту своего времени. Коммунистически воспитанный человек — человек высококультурный: он чужок к товарищу, он уважает его, он не позволит себе унижить и оскорбить его, он деликатен в цеху и на улице, в его языке нет дурного слова, не говоря уже об отвратительных ругательствах, он не выносит грязи и нечистоплотности, он не допустит нарушения порядка и на работе, и в общении, и на улицах города. Наш гражданин должен быть проникнут духом солидарности, взаимопомощи, гордости за соратника, любви и дружбы к товарищу. В нашей жизни много еще пережитков старого, потому что этим язвам многие не придают значения и смысла такой борьбы не понимают. Но мало хотеть бороться, говорит Ленин, надо уметь бороться. А уметь бороться приобретается в практике борьбы. Надо знать, во имя чего бороться, надо гореть идеей борьбы. Народ нашей страны доказал, что значит уметь бороться. А бюрократ, холодный формалист, тупой филистер часто охлаждал пыл людей, тащил их назад. Таких «человеков в футляре», боящихся новизны и беспокойства, еще можно встретить.

Вопросы воспитания — это вопросы этического роста личности. М. И. Калинин справедливо говорил, что в понятие культуры вкладывается «внедрение определенного мировоззрения, нравственности, выработка определенных черт характера и воли, привычек, вкусов, развитие определенных физических свойств и т. п.». Культурность определяет он, как высокую степень развития человека, как чистоплотность в производстве и в быту. А чистоплотность в производстве и в быту должна быть чистоплотностью и в личном поведении, то-есть в отношении к людям. Это отношение должно быть основано на уважении к ним, как к деятелям и соратникам. Культурный, воспитанный человек обладает навыками к этой чистоплотности. Такой человек стремится к прекрасному, благородному, к высокому в своей и окружающей жизни.

★

Проблемы культуры неотделимы от основных задач нашей литературы. Назначение литературы — не только правдиво отражать действительность, не только постигать ее, но и активно воздействовать на нее — способствовать росту человеческой личности. Конечная ее цель — воспитать человека и гражданина. «Кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин», — учил когда-то Белинский. А Жуковский пел:

«При мысли великой, что я — человек,
Всегда возвышаюсь душою...»

Литература XIX века тем и велика, что она сумела стать огромной моральной силой: она была «востательнейшей дум». Она вела общество вперед и выше. Она углубляла самопознание и самосознание людей того времени. Этой своей роли она не утратила и до сих пор. Мир ее живых образов близок нам, как воспоминание о молодости, о горячем стремлении к истине, свободе, справедливости, совершенству. Она поднимала в умах и сердцах благородный мятеж против угнетения и бесправия, будила совесть, звала к борьбе за человеческое счастье. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Толстой, а позднее Короленко, Чехов, Горький были учителями жизни, провозвестниками человеческой правды, пророками солнечного будущего. Они проникновенно и глубоко изучали действительность своего времени, сложные процессы общественного развития и судьбы людей. Они привлекали к себе миллионы глаз, горящих верой в высокое назначение человека, и помогали создавать программу личного поведения. Они поднимали человека на высоту благородства, обогащали его душу, укрепляли его волю к борьбе. Литература тех лет была не созерцательной, а действенной — она отличалась в о л е в ы м началом.

Советская литература эти славные традиции сохраняла: она с честью несет знамя с л у ж е н и я народу. Ее воспитательная роль велика, ее борьба за человека-деятеля, человека-творца, за человека-воина — за общественного человека — известна всему миру. Она — самая наступательная литература. Вспомним двадцатые годы: эти годы выдвинули яркую плеяду больших художников, пришедших с полей сражений и из гущи народа, и народ заговорил в их поэмах и эпопеях полным голосом. Создавался новый реализм — реализм социалистический. Свободный труд стал основной темой искусства. Вот почему в годы Отечественной войны наша литература сумела мобилизоваться, как мощная боевая сила, против фашистского мракобесия, против палачей культуры, в защиту человеческой свободы и мировой цивилизации.

Советский человек по строю своей души прекрасен: в нем чрезвычайно развито чувство солидарности, товарищества, он, не жалея жизни, всегда готов броситься на помощь соратнику, он — самоотвержен в труде и в бою. Война с особенной яркостью вскрыла эти его особенности. Как много героев обессмертили себя и в

кровавых боях с врагами и на трудовом фронте! Они — наша гордость, наша слава.

Эта внутренняя суть нашего человека — от общественного труда, от высокого морально-политического духа. И литература как идейная сила действительно выполняла свою педагогическую роль. Никогда еще ни в одной стране не было такого колоссального распространения книги, как у нас. С полным правом можно сказать, что наш художник слова — подлинно народный художник. С читателем у него непрерывная связь и через посредство библиотек, и непосредственно через переписку. Сколько запросов, сколько высказывается свежих и волнующих мыслей! Не знаю, знакомы ли наши критики с такого рода перепиской писателей с читателями, но, на мой взгляд, они многому могли бы поучиться из этой переписки, например тому, как ставить и решать те или иные проблемы в связи с данной книгой.

До войны преобладающей темой для нашей литературы был труд. Журналы печатали романы, повести и рассказы о строителях новых заводов, о людях колхозной деревни, о пионерах советской культуры в пустынях и джунглях. Можно указать на несколько хороших книг, вышедших в те годы. Но когда оглядываешься назад, невольно задаешь себе вопрос: почему так бедна наша советская литература яркими произведениями о людях рабочего класса, почему большинство наших художников проходит мимо тех людей, которые являются «основными» производителями материальных ценностей», по выражению Маркса, и «авангардом движения»? И мне грустно признать, что большинство писателей не знает этих людей, не имеет понятия о их жизни, не догадывается, как богата и глубока их душа и каким творческим дерзанием преисполнен их труд.

Тема рабочего класса была и остается очень трудоемкой и по сути дела новой для литературы. Рабочий нашей страны — хозяин и организатор — еще не является основным героем в искусстве слова. Его идеи — господствующие идеи нашей эпохи, но он всё еще для многих литераторов — таинственный незнакомец. А для того, чтобы его знать, надо быть с ним органически связанным, надо видеть и чувствовать всё, что совершается в его жизни, надо хорошо видеть его душу, надо вместе с ним решать и большие и малые вопросы, вместе с ним переживать его волнения, тревоги и радости. Рабочий класс — не однороден: в нем много всяких прослоек, и каждая из этих прослоек находится в постоянном и сложном движении. За три сталинских пятилетки в массах рабочего класса произошли огромные перевороты и сдвиги. За это время вырос густой слой рабочей интеллигенции с широким кругозором, с большими техническими познаниями. Не отрываясь от цеха, многие из них заочно кончили высшие учебные заведения. Это люди нового времени, это главный герой нашей эпохи. Знать этих людей необходимо нашему писателю. С ними надо сжиться, сродниться, постигнуть их психику, их заветные мысли, их мечты, их интимный мир. Тут наблюдение со

стороны ничего не даст: для художника они должны стать родной средой. Нужно всей душой полюбить их труд, знать его до мелочей и почувствовать красоту и своеобразие заводского мира.

Но есть еще такие «эстеты», которые убеждены, что завод, фабрика — не тема для искусства: слишком прозаичны и суровы там и процессы труда и человеческие отношения. Как можно поэтизировать машины, металл, сырье и пр.! Человек среди машин и колоссальны сооружений неощутим, непроницаем, он там только — в процессах труда. И бывали случаи, когда некие критики поэтизации машин воспринимали как выражение власти машины над человеком. Они не знали и не понимали людей, совершающих этот грандиозный труд. А вот Золя, даже как пришелец, сумел почувствовать поэзию такого труда и удивился великому искусству человека владычествовать над машиной. Мы не научились еще удивляться. А уметь удивляться — это свойство мыслителя, как хорошо сказал один французский исследователь искусства. В искусстве, а особенно в критике проторенные и избитые дорожки и привычные вкусы имеют часто решающее значение. Преемственность старых вкусов и предрассудков, их устойчивый консерватизм — явление общеизвестное. Почему это можно поэтизировать земледельческий труд или рукоделье (соху, борону, косу, сивку, пашню, иголку, челнок), заводской труд, машину, изумительные по своей сложности и красоте механизмы, как великое чудо человеческого творчества, поэтизировать опасно, ибо эта поэтизация будто бы свидетельствует о фетишизации машины? Почему желанна только поэтизация природы, и нежеланна поэтизация заводского и строительного ландшафта? Всякая поэтизация хороша, если это — искусство. Поэт возводит в «перл созданья» то, чем он живет, что он любит, о чем поет его душа. А в наше время, когда свободный человек является обладателем орудий и средств производства, а не рабом их, он возмущается до трогательной любви к ним и способен оживотворять их. Послушайте такого рабочего, когда он в волнении говорит о своем станке... Заслушаешься!

Плохо, конечно, когда литератор изображает людей, жизнь и картины завода бледно, скучно, плоско и не выходит за пределы узкого быта и внешней обстановки. Такой литератор не проник в суть жизни: он не понимает, не постигает, чем живут люди, не знает и не чувствует их заветных дум. Эмпирические наблюдения всегда поверхностны и обманчивы. Писатель должен жить жизнью изображаемых людей, перевоплощаться в них, чтобы, во-первых, создавать значительные произведения и, во-вторых, волновать своей книгой миллионы сердец. А для этого, конечно, нужно быть мастером слова, уметь проникновенно, ярко, свежо, ясно и номно изобразить всю сложную картину бытия и человеческих судеб. И еще необходимо одно важное обстоятельство: писатель обязан быть образованным человеком, стоять на выско-

те своей эпохи. У нас такие книги уже есть, но их мало, очень мало.

Кстати должен заметить, что у нас много говорят о литературном качестве, о мастерстве, и кажется, что эти вопросы ставятся всерьез, солидно, но на самом деле многого в этой общей фразеологии недостает. Ведь важно исходить из реальных художественных ценностей. Если попрежнему остается новой сама тема о людях «авангарда движения» в данной исторической обстановке, то, очевидно, и стиль произведения неизбежно требует соответственного выражения. Судить о качестве таких книг нужно с знанием дела и с поэтическим огнем в душе.

Можно было бы привести не мало примеров поверхностной и невежественной, полой вкусовщины и отсебятины критики, но это дело прошлое, а мертвецов обычно не ругают. Надо осторожно и основательно подбирать кадры талантливых, умных людей, которые бы неустанно учились и которые бы искренно, горячо любили литературу и уважали ее. Развязность и самонадеянность в литературе недопустимы. Критик — это прежде всего мыслитель. Независимая, партийная, честная мысль требует силы и мужества.

★

В нашу эпоху, когда художественная литература служит великому делу строительства социализма и беззаветной защите его от фашистских погромщиков, роль критики особенно должна быть высока и ответственна. Ее главная задача — отвечать на жгучие вопросы современности, анализировать их с философской и публицистической глубиной, уметь чутко и проникновенно читать художественные произведения и обобщать те значительные явления современности, которые в этих книгах выражены средствами искусства. Главное, нельзя критику забывать и истории советской литературы, потому что эта история плещет, как прибой, в каждом новом дне. Нельзя забывать, что литература социалистического реализма росла и крепла в непрерывной борьбе. На ней воспитывались миллионы людей не только у нас, но и за рубежом. И наши книги изумляли и волновали их, укрепляли боевой их дух и утверждали веру в счастье будущего.

Но вот разразилась война. Весь народ поднялся на защиту своей отчизны. Наука, литература, искусство ринулись в бой с кромешным врагом. Им очень много сделано для обороны страны. Особенно большая честь выпала на долю науки: ее заслуги в области мобилизации ресурсов на Урале и в Сибири очень велики. Литература не может похвалиться особенно выдающимися успехами, но в поэзии и беллетристике есть такие произведения, которые останутся надолго в памяти людей. В этом великом испытании и проверке сил и талантов много критиков оказались в «нетях». А между тем война подняла глубочайшие на-

родные пласты, и наши советские люди изумили мир своей беспримерной доблестью, героизмом и умением побеждать самого свирепого и сильного врага и на полях сражений, и в трудовом тылу. Смысл этого — в морально-политическом единстве народов Советского Союза. При всеобщем и высочайшем социалистическом соревновании рабочие и инженеры наших оборонных предприятий добивались таких рекордов, которые были немыслимы в довоенное время. Рабочая интеллигенция создала новые методы труда и новую технологию, которые возможны только у нас, в социалистическом государстве. Наши литераторы по мере своих сил изучали и отражали эту творческую работу в своих произведениях и старались разрешать многие проблемы, поставленные перед ними действительностью. То же самое можно сказать и о литературе, посвященной фронту.

Но что возвестили нам критики? Какие коренные вопросы подняли они в эти огненные годы? Как, наконец, отозвались они на книги, которые волновали и продолжают волновать читателя? Хотя и до войны жизнь двигала множество больших проблем, и художники старались эти проблемы отражать в своих книгах, но критики отмалчивались и обходили всякий серьезный общественный вопрос под тем предлогом, что всякие проблемы жизни призвана разрешать партийная публицистика, а их дело — анализировать «изящную словесность» с точки зрения эстетики. Критический их анализ не выходил за пределы штампа и их личных вкусов (мне нравится, мне не нравится). Они могли только, не отрываясь и не поднимая головы, ползать по строчкам и выискивать «находки» и неудачные словечки. Такая критика была скучна и бесполезна. И прав был Горький, когда писал: «Никакой критики, которая могла бы научить вас, не ждите: бесполезное ожидание!»

Я не хочу, чтобы меня превратно поняли: я далеко от мысли отрицать наличие у нас критики; напротив, можно назвать не одно значительное имя. Я отмечаю только странный факт недостаточного влияния этого фланга нашей литературы в дни великих народных испытаний и пытаюсь найти корень этого печального явления. Об отдельных выступлениях отдельных критиков я не говорю. Весь вопрос в том, что этот фланг нашей литературы в трудные дни борьбы оказался плохо вооруженным.

Но, с другой стороны, не могу не отметить некоей ограниченности в работе некоторых работников печати, тормозящей и дезорганизующей творческие дерзания критиков. Правда, дерзания эти не так уж смелы и оригинальны, но даже попытки эти часто тушатся в самом начале. Критик, как и художник, не выносит ни рогаток, ни администрирования, ни прокрустовых лож. У него есть своя замысль, свои темы, свои приемы работы. А между тем, у нас существуют некоторые редакционные работники, которые, вместо организации критики вокруг данного органа печати, самоуверенно и беззастенчиво диктуют авторам свои вкусы, свою логику, свое отношение к художникам. Их оценки творчества писателей весьма напоминают кате-

горические суждения гоголевской дамы, приятной во всех отношениях.

Недавно один из критиков обратился в одну редакцию с предложением написать статью об избранных произведениях старого писателя, который активно работает и по сей день. Там встретили критика холодно и неохотно: у редактора отдела была своя «кочка зрения» и на этого художника и на критика.

— Как вам сказать... Особенного желания у нас нет... но, может быть, и найдется местечко... Принесите, посмотрим... Только предварю: вы должны особенно подчеркнуть его недостатки.

— Позвольте, вы же не знаете, о чем и как я буду писать статью. Ваше внушение по меньшей мере странно. Я пишу не о покрое платья этого старика, а об основных идеях современности, которые отражены в его книге. Этот писатель — наша живая история... Его многолетняя работа...

— Ну, знаете ли... идеи, история, многолетняя работа... Нам важнее всего выдвинуть и подчеркнуть его недостатки. Вот под этим углом зрения и пишите.

— А достоинства? А самая суть произведений?

— Ну, знаете ли... Пишите лучше о его недостатках... Кстати, какой размер вашей статьи?

— Размер средний.

— Ну, знаете ли... У нас нет места. Еще на маленькую рецензию рассчитывать можно... куда ни шло...

Почтенный критик ушел обескураженный. Заниматься пустячками, изыскивать недостатки, процедивать мух и комаров — задача неблагодарная и неблагоприятная для критиков. Назначение критики — в широком и глубоком анализе литературных явлений современности. Критиковать не значит ругать, не значит изыскивать в произведениях «хороших вещей для себя», по выражению Гюйо. Такое вульгарное, обывательское понимание критики беспощадно заклеймил когда-то Белинский. А «тот, кто хочет находить дурное (недостатки), — заметил один из теоретиков искусства, — найдет его почти всегда» и — добавим — у всех и каждого — и у классиков и у современников. Мало этого, сплошь и рядом бывает так: то, что для одного критика, ползающего по строчкам с точки зрения «мне нравится, мне не нравится», кажется недостатком, для другого — это является достоинством. Занятые такой бесполезной болтовней критики неизбежно уйдут в сторону от действительности и не смогут осмыслить многих коренных вопросов общественной и литературной жизни. Так это и происходит в большинстве случаев.

А между тем за это время вышел целый ряд книг, которые вызывают много тревожных мыслей. Взять хотя бы многие исторические произведения. Невольно возникает вопрос: почему наши писатели так дружно ринулись в прошлое? Ведь наша действительность так богата событиями, а люди, герои этих событий, так ярки, интересны и своеобразны, что литераторам есть что

живописать, есть над чем подумать, есть чему удивляться, есть что возвестить миру. Конечно, вполне законно изображать русский народ и в прошлом. Но почему именно у многих такая тяга погрузиться в минувшие века? Почему они умиляются всякими добродетелями легендарных людей, легендарных эпох (напр. Форш «Владимиры»), а патриотизм и самоотверженность в борьбе советского человека, напр., в гражданской войне, которая ведь тоже была войной отечественной, не вдохновляет их? В изображении людей и дел «давно минувших дней, преданья старины глубокой» авторы, в силу какой-то внутренней реакции, гальванизируют чуждые нашему духу тенденции и настроения. Слишком уж густо пахнет ладаном, парчой, боженькой и, наряду с этим, слишком много эплет и регалий, митрополитов и царей. Но ведь и тогда была классовая борьба, а самовластный деспотизм утверждал свое владычество на горах трупов угнетенных и порабощенных трудовых людей. Тем более неприятно, когда авторы романов и повестей о недавнем прошлом, идеализируя царское офицерство, извращают историю, внушая читателю неверные представления о том времени. Для критиков это — животрепещущий вопрос. Но никто из них, раньше таких воинственных, не выступил с разоблачением этих исторических нелепиц.

С другой стороны, социальный тип советского человека в изображении беллетристов или поэтов часто лишен своих характерных черт. Это — персонаж «всех войн и всех времен» (Твардовский «Василий Теркин», Прокофьев «Россия»). Иногда это — «лапотный мудрец», который противостоит врагу своей первобытной, мужицкой неотразимостью (рассказы Кассила). А ведь наша колхозная деревня как будто совсем не похожа на дедовскую сельскую общину: и производительные силы иные, и отношения иные, и быт иной, и люди, стало быть, другие. Колхозник крепко связан с городом, он грамотен, в его обиход уже входит машина и агрикультура. Он живет уже широкой политической жизнью и принимает непосредственное участие в управлении государством. На войне он уже имеет дело со сложной и высокой техникой и умеет мастерски пользоваться ею. И, конечно, смешно читать теперь лепет втаких посконных простачков, которые бьют немца своей «дурацкой» хитростью и живучестью по известной старинной поговорке: «Что русскому здорово, то немцу смерть». Этот неуклюжий анахронизм так же примитивен, как комический русский лубок. Изображаются как будто советские люди, а перед читателем сермяжные мужички чересполосной России.

Какой же отсюда вывод? А вывод такой: критика не выполняет своей почетной и ответственной роли. В дни суровых испытаний, когда дух нашего народа поднялся на небывалую высоту, перед литературой стали и обострились большие и жгучие вопросы. Они требуют глубокого анализа и вдумчивого освещения. Вооруженные марксистско-ленинской философией, критики, казалось бы, должны были стать в авангарде

литературного фронта. Почему же они его не возглавили? Некоторые из них ссылаются на то, что книги, которые были бы достойны их оценки, еще не написаны, что искусство в годы войны еще само не поднялось на высоту эпохи, и критику поэтому нечего сказать ни читателю, ни писателю. Допустим, что критики правы, но разве это оправдание? Разве дело только в книгах? Для Белинского и его последователей любая книжка, любой журнал и брошюра были поводом для философско-публицистических выступлений. Всё дело в том, что критика наша не поднялась еще до уровня философской и политической мысли, до мудрости широких обобщений. Святое беспокойство Белинского, Чернышевского, Добролюбова ей незнакомо. «Критика наша, — говорил Горький, — не талантлива, схоластична и малограмотна по отношению к текущей действительности... Не имея, не работав единой руководящей критико-философской идеи... критика почти никогда не исходит в оценке тем, характеров и взаимоотношений людей из фактов, которые дают непосредственное наблюдение над бурным ходом жизни».

★

Но нужно быть справедливым. Кое-кто из критиков все-таки пытался разрешать некоторые «проклятые вопросы». Но какая путаница и беспочвенная канитель наполнили многие статьи. Достаточно вспомнить бесславную эпопею «Литкритика». А как на типичный пример такой путаницы и пустословия, я укажу на выступление одного критика как раз перед войной. Вспоминаю я об этом факте потому, что и до сих пор еще продолжают раздаваться голоса, если не в печати, то в живом обмене мнений, противопоставляющие старые и молодые кадры писателей: старые де отстают от жизни и не понимают задач советской литературы на данном этапе, а молодые де идут вперед. Поэтому «старйки» остановились, мол, на какой-то грани прошлого, а молодые идут особым отрядом в авангарде движения. Эту мысль критик выразил так: «Процесс (!), происходящий сейчас в литературе, характеризуется тем, что многими (многими!) опытными писателями старшего поколения, положившими начало советской литературе, утеряно ощущение современности и знание современной действительности. Молодые же писатели, пришедшие в литературу из других профессий и участков социалистического строительства, обладают прекрасным знанием и пониманием действительности, но недостаточно владеют еще литературным мастерством». Неуклюжесть стиля не мешает видеть в этой «мудрости» автора уже давно «изреченную ложь». Какой ужас! Происходит процесс... омертвления старых кадров... зловещий процесс, предопределенный, очевидно, фатальной необходимостью. «Старое поколение», выходит, неспособно для жизни и деятельности, несмотря на общеправильный закон неравномер-

ности развития истории... Но ведь истина конкретна, а реальные факты свидетельствуют как будто о другом. Как и старые, так и молодые литераторы в некоторой своей части одинаково грешны в отрыве от действительности и в одинаковой степени активны в познании жизни. Товарищ Сталин в отчетном докладе на XVIII съезде партии говорил: «Одни считают, что при подборе людей надо ориентироваться, главным образом, на старые кадры. Другие, наоборот, думают ориентироваться, главным образом, на молодые кадры. Мне кажется, что ошибаются и те и другие. Старые кадры представляют собой, конечно, большое богатство для партии и государства. У них есть то, чего нет у молодых кадров — громадный опыт по руководству, марксистско-ленинская принципиальная закалка, знание дела, сила ориентировки. Но, во-первых, старых кадров бывает всегда всегда мало, меньше, чем нужно, и они уже частично начинают выходить из строя в силу естественных законов природы. Во-вторых, у одной части старых кадров бывает иногда склонность упорно смотреть в прошлое, застрять на прошлом, застрять на старом и не замечать нового в жизни. Это называется потерей чувства нового. Это очень серьезный и опасный недостаток. Что касается молодых кадров, то у них, конечно, нет того опыта, закалки, знания дела и силы ориентировки, которыми обладают старые кадры. Но, во-первых, молодые кадры составляют громадное большинство, во-вторых, они молоды, и им не угрожает, пока что, выход из строя, в-третьих, у них имеется в избытке чувство нового, — драгоценное качество каждого большевистского работника, и в-четвертых, они растут и просвещаются до того быстро, они прут вверх до того стремительно, что недалеко то время, когда они догонят стариков, станут бок-о-бок с ними и составят им достойную смену. Следовательно, задача состоит не в том, чтобы ориентироваться либо на старые, либо на новые кадры, а в том, чтобы держать курс на сочетание, на соединение старых и молодых кадров в общем оркестре руководящей работы партии и государства».

Вот как учит И. В. Сталин ставить вопрос о кадрах. Надо не забывать, что кадры неоднородны: среди них есть люди, прошедшие большую школу революционной борьбы и обладающие громадным опытом, марксистско-ленинской закалкой и силой ориентировки, то-есть знанием действительности, а есть люди, которые этими достоинствами не обладают. Подходить к каждому явлению нужно с знанием дела, а не рассуждать абстрактно.

У* критика есть несомненная склонность к гипертрофическим, но бездоказательным обобщениям: выходит, что в советскую литературу пришла целая армия молодых писателей, которые произвели переворот в недрах российской словесности, отбросивший «стариков» куда-то далеко назад, в тыл, в обоз. Но, к сожалению, автор не назвал имен этих новаторов, и мы не знаем даже авангарда этого исторического движения. По всему же ходу развития советской литературы видно, что новые таланты всегда

являлись или в одиночку или очень малыми группами. И это естественно. Потому что литературные дарования — редкие дарования, а мастерство слова приобретает очень длительным и упорным трудом. Значит, без сочетания, без соединения старых и молодых кадров в общем оркестре работы никакого литературного движения быть не может. Из этого следует, что метафизика — ненадежное оружие для постижения действительности.

Эта примитивная метафизика очень пригодна была для некоторых критиков, как «рабочая теория»: этой «теорией» оправдывается и предвзятость и личные «кочки зрения», как едко выразился Горький. Удивительно самоуверенно произвели они классификацию художественной литературы: механически распределяя ее по периодам и отграничивая эти периоды китайской стеной, они отправляли в невозвратное прошлое книгу за книгой: одни книги прикрепили к восстановительному периоду, другие — к реконструктивному, третьи — к сталинскому движению и т. д. Таким образом вместе с минувшей эпохой и книги считались «зминувшими». И тут же меланхолически заключали, как упомянутый критик: «наша литература, при всей своей новизне и достижениях, отстает от социалистической действительности». Эта фраза у каждого из них была, как заклинание. А в чем, собственно, было это отставание, в чем новизна и достижения — никто не приводил никаких доказательств, никаких конкретных фактов. Читатели тарашили глаза, строили разные догадки и ничего не понимали. Прием избитый: надо было посеять тревогу, сомнение, сбить людей с панталыку, а себя ограбить от упрека в незнании действительности.

Конечно, если писатель будет создавать ускоренным темпом злободневные вещи, литература неизбежно будет отставать от текущего дня. Но писатель — не репортер: он — художник и как художник стремится отразить в своих произведениях современность. Он создает типических людей нашей эпохи, воплощает в образах основных, ведущие идеи нашего времени, отражает характерные особенности общественных отношений. И чем полнокровнее живопись художника, чем типичнее, ярче произведение, тем более длительно его воздействие на читателя: оно становится эпохальным, неуядаемым для будущего. Литература создается настоящим днем, но должно художественное произведение, глубоко воплощающее действительность, сохраняет свежесть и идеалы грядущего, потому что в нем негнелно живет дух народа и неуасимая идея нашего времени. В этом смысле художественное творчество не может отставать от социалистической действительности. Активность книги определяется не злободневностью содержания, а живыми идеями и современности. Искусственно нельзя создать славу для книги: слава создается не критиком, не приказом — такая слава эфемерна. Но история нашей советской литературы свидетельствует, что книги, написанные давно, не

менее современны, чем книги, изданные в последнее время: они с неменьшей силой волнуют читателя и теперь, как и в прошлые дни. Нам нужно любить свою литературу, гордиться создателями наших художников, а не сдавать их в архив: «насилие мудрецов» — бессильно против истории. Живая книга не хочет умирать. Наш народ умеет читать, умеет разбираться в искусстве и не считается с такими «мудрецами». «Притесняя других, мудрый делается глупым», — сказал Экклзиаст.

И тут мы вплотную подходим к одному из основных вопросов нашей литературной жизни. Я говорю о марксистско-ленинском вооружении писателя и критика — о миросозерцании. Искусство — не личное дело каждого, а дело глубоко общественное, партийное дело. В условиях нашей социалистической действительности труд и наука, дерзновенное познание и неограниченная возможность исследования совершаются в гармоническом единстве. Жизнь и искусство развиваются в закономерной согласованности. Чтобы понять действительность наших дней, надо обладать, помимо дара наблюдательности, и коммунистическим мировоззрением. Чтобы знать движение жизни и постигнуть психику людей нашей эпохи, чтобы увидеть новые силы в недрах нашего общества и их творческие, преобразующие деяния, надо стоять на высоте эпохи, быть прозорливым диалектиком. К сожалению, среди наших литераторов есть люди, которые находятся еще во власти старых понятий, предрассудков и милых воспоминаний. Вот почему некоторые из них или угромо молчат, или весьма нехорошо попадают впросак. Это — не случайные ошибки, это — порок, свойственный людям, далеким от марксистско-ленинского строя мысли. Отсюда преклонение перед старыми фетишами, умиление перед чуждыми нашему духу тенденциями, пренебрежение к социалистическому искусству, склонность к буржуазно-демократическим иллюзиям. Но сила и величие нашей литературы состоит именно в ее партийности — в высокой идейности ее содержания. Этим же определяется ее новое качество, оригинальность и пластичность. Конечно советская литература едина, но не однородна. Есть, между прочим, и сейчас люди, которые убеждены, что идейность и партийность убивают искусство — делают его тенденциозным и утилитарным. Художественное слово, по их мнению, должно быть совершенно свободно от всяких партийных предначертаний, оно должно быть абсолютно независимо и объективно. Только при этом условии оно будет предельно правдиво и выразительно. Эти отрывки давно угасшего натурализма отражают иллюзии и настроения некоторых, правда, незначительной части писательской интеллигенции. Но ведь всем известно, что как бы художник ни был объективен и свободен в своем творчестве, он, в конечном счете, всегда воплощает в образе ту или иную «гантибалову клятву». Ведь образ — это пластическое воплощение идеи, это оружие поэта в борьбе за свой идеал.

Ленинско-сталинское учение — это философия нашей эпохи, это самый совершенный ме-

год познания жизни. Это — не катехизис, а универсальное знание, усвоение которого требует постоянной работы. Ведь еще Ленин завещал когда-то: «Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей, во-первых—учиться, во-вторых — учиться, и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом». Только при этих условиях возможно глубокое понимание действительности, только при этих условиях можно во-время находить основные темы современности.

Правду жизни можно воспринять по-разному: с какой точки зрения на нее посмотреть. Детали, оторванные от целого, не отражают подлинной правды. Жизнь — это сложное единство, и это единство надо уметь не только переживать, но и постигать.

В дни великих событий, какие переживает наша страна, когда люди и вся наша жизнь ежедневно и ежечасно находятся в вихре сложнейших коллизий, писатель должен чувствовать величайшую ответственность за свою творческую работу. Каждый его образ, каждое его слово должны утверждать нашу правду, вдохновлять людей на подвиги, возвышать и укреплять их дух, пробуждать гордость за свой народ, за честь принадлежать к этому народу, за то, что они выполняют историческую миссию освободителей человечества от кровавого насилия и тиранического мракобесия. Вот почему писателю надлежит быть на большой идейно-политической высоте. Ленинско-сталинское учение — единственно верный путь в будущее, единственный источник света, который озаряет сложное движение настоящего. Обладая этим источником света, писатель не будет во власти непосредственных переживаний и эмпирических впечатлений, а глубоко, всесторонне будет постигать типическую суть нашей действительности и воплощать ее в нетленных образах.

БИБЛИОГРАФИЯ

ВЕЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ*

Под скромным названием «Из боевого прошлого русской армии» вышел в свет сборник замечательных военно-исторических документов, представляющих живой интерес для самого широкого читателя. В книге помещены извлеченные из архивов приказы, донесения, рапорты военачальников и даже отрывки из частных писем офицеров противника, охватывающие почти двухсотлетний боевой путь русской армии, от Северной войны, блестяще выигранной Петром I, до героической обороны Севастополя в 1854—1855 гг. Они красноречиво свидетельствуют о военном искусстве русских военачальников, о доблести и героизме солдат. Со времени написания новейшего из этих документов минуло почти столетие, но «пыль веков» не помрачила их неувядаемой свежести. Правдивые сказания о минувшей судьбе родной земли, как и те победы, о которых в них повествуется, являются вечными памятниками славы русского оружия.

Издавна присущи нашему народу отвага, героизм, непоколебимая стойкость. Вера в победу и неиссякаемые силы родного народа не покидали русских полководцев и армию в трудные моменты, когда внезапно вторгшийся враг наносил сильнейшие удары и одерживал временные победы. Те великолепные черты мужественного характера, которыми в современной войне воины Красной Армии удивляют мир, имеют свои корни в далекой истории нашей родины.

Неуклонно возрастающим пафосом наступательного порыва проникнуты действия русских войск в Северной войне 1700—1721 гг. Документам этой эпохи отведена первая глава книги. Война между Швецией, с одной стороны, и союзом России, Польши, Саксонии и Дании — с другой, для России была войной за возврат исконных русских земель на Балтийском побережье. Петр I положил начало новой эпохе в жизни русской армии, он создал русский победоносный флот. Война со шведами началась для русских поражением под Нарвой, однако уже через два года Петр I, реорганизовав свою армию и усилив ее вооружение, одержал крупную

победу под Нотебургом. За ней последовал ряд превосходных операций русских на суше и на море, увенчанный блистательной победой под Полтавой, где были совершенно разгромлены считавшиеся тогда лучшими в Европе шведские войска, руководимые прославленным военачальником Карлом XII. Из приводимых документов ясно видно, с какой самоотверженностью, боевым пылом и сознанием долга выполняла русская армия, от полководца до солдата, возложенную на нее историей задачу укрепления мощи своего отечества.

Глава вторая посвящена Семилетней войне 1756—1762 гг. Как свидетельствуют документы, ряд значительных побед русской армии над войсками Фридриха II и его армией, считавшейся им непобедимой, взятие русскими войсками Берлина стало возможным в результате огромного морального и тактического превосходства русской армии над прусской. «Русского солдата недостаточно убить, его надо еще повалить», — сказал испытавший на себе наступательную силу русской армии Фридрих II. Большой интерес представляют приводимые в книге письма немецких офицеров, участвовавших в сражении при Цорндорфе и на опыте убедившихся в том, что против русских гренадер «никто устоять не может».

С искренним волнением читаются собранные в третьей главе реляции (донесения) великого Суворова о его многочисленных сражениях и походах: о победе под Туртукаем, о взятии Кинбурна, о штурме Измаила и о беспримерном переходе через Сен-Готард. Эти реляции о сражениях, являющихся образцами воинского искусства, написаны пером самого полководца. Даже на их стиле, лаконичном, строгом, стремительном, полном поэтического пафоса, видна печать суворовского гения. Каждое короткое донесение Суворова настолько всесторонне и выпукло обрисовывает события, что перед глазами оживает художественная картина битвы. Вот как, например, изображен им один из моментов штурма Измаила:

«День бледно освещал уже предметы: все колонны наши, преодолев и неприятельский огонь и все трудности, были уже внутри крепости, но отверженный неприятель от крепостного вала

* «Из боевого прошлого русской армии». Документы о доблести и героизме русских солдат и офицеров. Под редакцией проф. Коробкова. ОГИЗ, Госполитиздат, 1944.

упорно и твердо защищался, каждый шаг надлежало приобрести новым его поражением. Многие тысячи неприятеля пали от победоносного нашего оружия, а гибель его как будто возрождала в нем новые силы, но сильная отчаянность его укрепляла.

... Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, чрез шесть часов с половиною, с помощью божиею, наконец решился в новую России славу. Мужество начальников, ревность и расторопность штаб-офицеров и беспримерная храбрость солдат одержали над многочисленным неприятелем, отчаянно защищавшимся, совершенную поверхность, и в час пополудни победа украсила оружие наше новыми лаврами».

Давая точное описание хода боя во всей его последовательности, действий отдельных частей и групп, одним художественным штрихом очертив условия местности и погоды, в которых протекал бой, Суворов в каждом из донесений уделяет первое место подвигам особо отличившихся офицеров и солдат, расторопность и храбрость которых «восприняли верх в побеждении горделивого неприятеля».

Не менее волнующий материалы, составившие раздел, посвященный Отечественной войне 1812 года. Русская армия, руководимая другим великим полководцем, Михаилом Кутузовым, сочетая оборонительные и наступательные действия с невиданным дотоле искусством, положила предел завоеваниям Наполеона и истребила его великолепную армию. Вдохновенные слова Кутузова, обращенные им к своим войскам, полны несокрушимой веры в победу, в патриотизм родного народа, в высокие моральные качества воинов. «После таковых чрезвычайных успехов, — пишет он, — одерживаемых нами ежедневно и повсюду над неприятелем, остается только быстро его преследовать, и тогда может быть земля русская, которую он мечтал поработить, усееся костями его. И так мы будем преследовать неутомимо. Настают зима, вьюги и морозы, вам ли бояться их, дети севера. Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена отечества, о которую все сокрушается. Пусть всякий помнит Суворова, он научал сносить и голод и холод, когда дело шло о победе и о славе русского народа. Идем вперед, с нами бог, перед нами разбитый неприятель. Да будет за нами тишина и спокойствие». И в памятный день освобождения страны и перехода границы Кутузов напутствует своих доблестных воинов:

«... Потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйствах и неистовстве, уничтожающих солдата... Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем... не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России».

О непревзойденной доблести русских солдат и матросов во время одиннадцатимесячной обороны Севастополя (1854—1855 гг.) рассказывают документы в последней главе книги. В мрачное царствование Николая I Россия не была подготовлена к войне, но подвиги героев-севастопольцев, стойко и мужественно защищавших родину, навеки остались в памяти благодарного народа как символ его непобедимости и стойкости.

«Русские, — писал один из иностранцев, современников севастопольской обороны, — невзирая на свои великие потери, показали беспримерную храбрость, причиной которой является истинная цель благороднейшая, нежели та, которая заставляет драться за славу». Участник и свидетель обороны Лев Толстой в своих «Севастопольских рассказах», говоря об условиях, в которых сражались защитники Севастополя, подчеркнул, что «из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина». Этой побудительной причиной была любовь к родине. Составители сборника поступили правильно, включая, наряду с приказами знаменитых руководителей обороны адмиралов Корнилова и Нахимова, документы, раскрывающие патриотические подвиги севастопольских женщин, вдов убитых матросов — Дарьи Ткач, Варвары Велижевой и других.

В книге получили освещение наиболее значительные кампании XVIII и первой половины XIX вв. Они оказали большое влияние на исторический путь России и во многом определили как боевой характер русского воина, так и его моральный облик. Красная Армия, победоносно завершившая вместе с союзными войсками разгром самого жестокого врага мирного человечества — фашистской Германии, унаследовала и достойно преумножила те лучшие боевые традиции и благородные моральные качества, которые великие русские полководцы воспитывали всегда в своих войсках.

А. Макаров

★

КНИГА — СВИДЕТЕЛЬ*

Многими, трудными дорогами и тропами побед отмечены походы Красной Армии в годы Отечественной войны. Славный путь ее не был легким, но от начала до конца, даже в самую тяжелую пору, он был триумфальным. Ярость, святое ожесточение сопровождали

каждый шаг советских воинов. Не в одном только логове зверя, в Берлине, Красная Армия водрузила знамя победы. Еще прежде оно алоло на бесчисленных путях наступления, колыхаось оно и на Херсонесском мысу, и в осажденной Одессе, и в какой-нибудь безвестной бухточке Каркинитского залива. Эти пути — тоже дороги побед, и они не будут забыты. Ими исчерчены наши домашние, изветшавшие от упот-

* Л. Соболев. «Дорогами побед». Гослитиздат, М., 1944 г.

ребления географические карты, они живут в нас, как неистребимые факты сознания. В великие дни торжества правого дела, перед лицом поверженного врага, своевременно будет оглянуться в недавнее прошлое, когда еще только мерцала заря окончательной победы.

Вновь пережить, переувствовать это помогают нам писатель Леонид Соболев, свидетель и участник многих великопепных побед нашего оружия. Небольшая книга его очерков называется «Дорогами побед», она полна предощущением грядущего торжества, «сладостного мига победы». Книга возникла в апреле-мае 1944 года, по свежим следам событий, когда еще дымилась камни освобожденной Одессы, Севастополя, Крыма. Прошел год, но записи Соболева не потускнели, не потерялись среди других корреспондентских зарисовок, набросков, которыми богата литература Отечественной войны. В книге Соболева живет наблюдательный художник, это усиливает к ней интерес. Правда жизни украшает ее походный язык. В книге такого жанра мы не вправе, конечно, искать широких картин, углубленных характеристик, строгого, гармонического соответствия частей, — не та была обстановка, в которой книга возникла. Но в ней есть драгоценные подробности, есть мысль, наблюдательность, живой пафос, лирика чувств и разнообразие изобразительных средств. Встречаются в ней и крупинки юмора, без которого и на войне русскому человеку все чего-то нехватает.

Крым, Черное море нашли в Соболеве своего певца, патриота. Соболев влюблен в землю родины, он очарован ее красотой, ее солнцем, и эту свою влюбленность он передает горячо, пылко. Немало живых страниц найдется в его очерках, полных неподдельного восторга перед освободителями и ненависти к врагу, в которой читатель уловит интонацию отвращения и брезгливости к захватчикам. Разнообразны дороги побед в описании Соболева и разнообразны содержание и рисунок его книги. В увиденное и пережитое вклиниваются воспоминания и картины событий, происходивших два, два с половиной года назад на той же самой земле, в тех же самых памятных местах. От этого очерки Соболева имеют как бы две плоскости, пересекающиеся в едином психологическом восприятии. Так, например, на улицах освобожденной, вздохнувшей полной грудью Одессы 1944 года в памяти писателя возникают эпизоды героической обороны 1941 года — и тридцатимесячной разлуки как будто и не было; на подступах к Севастополю, в огне и грохоте решающего штурма, автор мысленно переносится в величаво трагические месяцы блокады города русской славы — и опять разлуки как будто не было.

Трудно сказать, о ком и о чем Соболев пишет всего влюбленнее. Раскрываем главу «Гнилое море — Сиваш». В соленых холодных водах неприятного залива, изборожденного своими старческими морщинами землю прекрасной Таврии, под страшным огнем неприятельской артиллерии, готовится поистине сверхчеловеческая по труду подготовка прорыва наших войск

на полуостров. Соболев знает, что дело историков описать во всех подробностях этот подвиг, и он поэтому ограничивается кратким выразительным рассказом о строительстве сталинградцами-саперами переправ. Чтобы орудия не уходили колесами по ступицу в жидкую лиманную грязь, саперы «сочинили» особые сани-плоты на полозьях и волоком, людской силой, на ноябрьском ветру, долгими часами перетаскивали на них орудия. «Коня не хотели ступить в ледяную воду Сиваша; едва войдя в нее и чувствуя, как ноги уходят в вязкий ил, конь вырывался и выскакивал на берег, храпя и кося глазом на опасную и мутную гладь, затягивающую в себя. Тогда саперы связывали коню ноги, клали его на сани и волоком перетаскивали в Крым лежащего коня». Когда вода заплескивала сани, русский солдат «бережно подымал коню голову, оберегая его от мертвой воды Гнилого моря...» Если бы в книге, сейчас же вслед за этим, не сообщалось, что немцы сбросили на строительные переправы до сорока тысяч бомб, что все дно Сиваша было изрыто воронками, то строки о саперах, о конях и о санях на воде могли бы показаться заимствованными из старинных хроникаров, из описаний Геродота, — таким седым эпическим ветром веет от них, посвященных трудам наших братьев, людям сталинской закалки, сталинского эпоса. Знаменательно, что об этом подвиге на Сиваше никто тогда не знал, ибо, как говорит Соболев, «война принуждала к тайне».

Тайна окружала и действия черноморских торпедных катеров, когда Крым еще был под пятой оккупантов. Неведомо откуда, ночами появлялись они на разбойничьих путях фашистских транспортов и топили, топили их. Писатель-моряк Соболев с особенным наслаждением описывает отвагу и выучку своих друзей краснофлотцев. Умнее просто, ясно и поучительно рассказать о какой-либо морской операции составляет отличительную черту Соболева, автора популярной книги «Морская душа». Он пишет: «Чтобы понять подвиг черноморских катерников, надо знать, что такое торпедный катер. Эта стремительно несущаяся по воде скорлупка, футляр для торпед, приспособлена для короткого плавания, для быстрого удара; вся она открыта, все люди на ней — в воде от брызг и волны...» И вот несколько таких корабликов, приспособленных для короткого плавания, под командованием капитана 2-го ранга Проценко совершают длительные боевые рейсы с Кавказа до Карканитского залива в густом тумане при волне до шести баллов (ради скрытности). Это тоже дорожки побед. Следы их сгладило море, но в памяти они неизгладимы. Запомним то, что свидетельствует Соболев: и черноморские катерники, и сивашские саперы опрокинули все представления о человеческой выносливости.

А. Соболев экономен в словах, но щедр в выражениях своих чувств, в своем восхищении перед подвигами народа, единодушно ополчившегося на захватчиков. Он не может и не хочет сдержаться, чтобы время от времени не высказать своего отношения к тому, чему свидетелем

он стал. «Торжественное раздумье волновало мое сердце», — говорит он при виде священных развалин Севастополя. Руины города-героя вопиют в его душе о возмездии. Он по праву пишет о других так, как если бы это был он сам: «Если бы я поддался чувству, признается он, я стал бы на колени и земным поклоном поклонился бы великому городу, мученику двух осад, огромной могиле тысяч героев, братьев моих по морю, чести, оружию». Такие слова сблизжают людей. Однако писательская реплика «если бы я поддался чувству» воспринимается как обычная дань форме, как словесный оборот, легко ложающийся на бумагу. В том-то и дело, что писатель всем складом своего повествования действительно преклоняет свою голову перед севастопольцами, свиващими, моряками, братьями его по морю, чести, оружию.

Морю Соболев дарит лучшие свои думы. Всюду оно перед ним. Прекрасна неоглядная даль моря. Она манит взор художника, жаждущего мира и мирного труда. Но идет война. Красоту природы тоже надо отстоять и сохранить. «Одно из прекраснейших в мире зрелищ» — Черное море возвращено родине победами. Прекрасно море в руках народа-победителя, народа-хозяина, народа-государственника. Природа, история, современность сливаются в представлении Соболева в одно целое. «Голубым, фиолетовым дрожащим маревом распахнулось за каменной аркой море, высокое как небо и неотделимое от него. Бесконечная даль — даль пространства, времени, славы — расстилась передо мной. Боевые походы славян, предков наших и современников, ожили в волшебных переливах голубизны. На валках дубовых челнах, на высоких деревянных кораблях, белеющих громадами парусов, на стройных стальных крейсерах, несомые вперед и вперед ударами грубых весел, свежим брамсельным ветром, рокочущим пеннем турбин, — плыла по Черному морю слава русского флота, плыла в века, в бесконечность грядущих времен, бессмертная, великолепная и огромная, как само Черное море».

Море у Соболева заселенное, теплое, человеческое. На его берегах стоят города, крепости, обороняют их советские люди. Славой овевала себя в Отечественную войну красавица Одесса. В час опасности и тревоги на ее улицах, окраины и берега море выплеснуло отважную, лихую морскую пехоту. Одесса живет в сердце писателя, участника ее обороны, как первая любовь. Она была первым городом, который сумел не только задержать, но и надолго остановить огромные полчища врага, ослепленного легкими успехами в Европе. Шестнадцать девять дней Одесса оттягивала на себя двадцать дивизий врага, половину румынской армии перемолола она в боях «и всю бы уничтожила, — пишет Соболев, — если бы Крыму не угрожала опасность». Победа генерала Антонеску была пирровой. Но, в отличие от эпирского полководца царя Пирра, его румынский последыш не обладал ни мужеством, ни честью, чтобы повторить его слова: «Если я одержу еще одну такую

победу, я погиб». Впрочем, Красная Армия и не нуждалась в том, чтобы румынский наймит Гитлера их произнес: самоослепленного врага приятнее бить. Рассказав о некоторых батальных и бытовых эпизодах обороны, Соболев мимоходом останавливается на интересных выводах, которым находчиво дает определение «логики Отечественной войны». Сущность ее вытекает из природы советского строя, основанного на братстве, дружбе, взаимопомощи. Замечательно, что на бушлатах моряков, встреченных Соболевым в первые дни освобожденной Одессы, он увидел севастопольские медали, а на гимнастерках красноармейцев, штурмовавших Севастополь на самом трудном участке, — медали Сталинграда. «Это не совпадение, — подчеркивает автор. — Это логика Отечественной войны. Города-герои отдают друг другу старые долги. Одесса научила Севастополь, как держаться против огромных сил врага. Героический пример Севастополя научил Сталинград стоять до конца. Там, в Сталинграде, оборона наша обернулась наступлением. Города-герои пошли на запад, — и севастопольцы пришли к Одессе, сталинградцы — к Севастополю. Уходя из Одессы, мы, конечно, не могли еще понимать, что такое Одесса в истории Отечественной войны. Но зарождение победы было здесь, в Одессе».

Такова логически безукоризненная схема, которую горячо, убежденно пропагандирует писатель-патриот Соболев.

Нельзя правдиво писать о войне с фашистами, не преследуя их ненавистью, сарказмом, не издеваясь над ними. Они того заслужили. Соболев — свидетель их злодеяний. Вот один из многих кусков неприкрашенной действительности, схваченной писателем на лету. Сам по себе он ничем не поражает и не нов, потому что типичен для «нации господ», но интересно отношение к нему писателя, интересно его меткое клеймящее слово. Автор натякается на улице на первого убитого немца: «Он лежал в пыли и ничтожестве, навзничь, в зеленом своем лягушачьем одеянии. В левой его руке был зажат автомат, в правой — курица...» При виде такого зрелища писатель отмечает: «мы с удивлением рассматривали эту карикатуру, неожиданно воплотившуюся в действительность». Характеристика постигне убийственная, разящая. «Пусти фашиста сейчас на волю, верни его в волчью стаю (где они, эти стаи сейчас!) — Н. З.), он нес бы нам новое зло... Крепче держите пойманных палачей, друзья!» — восклицает Соболев по поводу другого, плененного немца, глядя на его ефрейторскую морду с подстриженными усиками. «Это не месть, — говорит Соболев, — это страшнее мести. Мы просто очищаем нашу землю и наше море от племени убийц».

Никогда не остынет интерес к тому, что запечатлел в своих очерках Соболев. Дорогами побед прошли миллионы советских людей. Читая эту небольшую книгу, они будут вспоминать себя, свои пути к победе. Твердая, как алмаз, их вера в неизбежность победы была так-

же верой, убеждением советского писателя Соболева. Победители правильно почувствуют и патетику и возвышенный лиризм писателя. Стоя на высоком холме разрушенного Севастополя в час его освобождения, когда все вдруг смолкло, Соболев испытал острое, как укол, чувство своего родства с народом-победителем. «Торжественная и могучая тишина истории плывет над развалинами... Дыхание веков проносится над городом, унося в будущее двойную славу Севастополя, славу двух оборон. И в отблеске этой славы я вдруг ощутил собственное

бессмертие. Оно лежало на моей груди круглой пластинкой бронзы на светлозеленой ленте. Я был один здесь на горе: я снял с груди свое бессмертие и поцеловал его — севастопольскую медаль, которой родина приобщила меня к бессмертной славе бессмертного города».

Словами одного старинного изречения хотелось бы выразить содержание книги Соболева: «Живых созываю, о мертвых грущу, молнии разбиваю».

Н. Замошкин

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, **А. Н. Толстой**,
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А 13108. 10 печ. листов. Подписано к печати 12/VI-45 г. Тираж 31.000. Зак. 842.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

